НЁМАН

4/2015
АПРЕЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

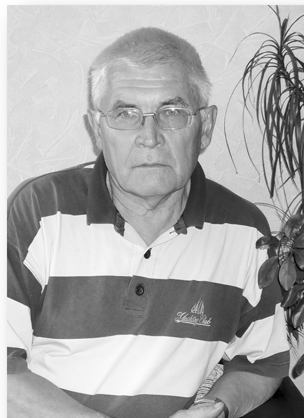
Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Таргонская*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 06.04.2015. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 18,99. Тираж 2259. Заказ .

Цена номера в розницу 21 400 руб.

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов
*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*



АЛЕКСАНДР АТРУШКЕВИЧ

Тайна зеркального карпа

Повесть

Глава первая

Объявление в газете. Битва титанов. Правильное питание — залог успеха.

В субботу на последней странице городской газеты «Ведомости», под рубрикой «Наш калейдоскоп», среди прочей разности была напечатана заметка следующего содержания:

«Готовясь ко дню рождения, Надежда Михайловна Линова, программист корпорации «Пальмовый берег», купила на привокзальной площади зеркального карпа. Каково же было ее удивление, когда в рыбьем желудке сверкнул всеми цветами радуги золотой перстень, украшенный великолепным бриллиантом. И что удивительно — перстенек точно подошел имениннице. Вот так подарок!»

А дело было так. Еще в четверг Надежда Михайловна, а проще, учитывая возраст, — Надежда, Надя, Надюша, в обеденный перерыв успела сбегать к железнодорожному вокзалу, где у небольшого рынка шла бойкая торговля живой рыбой. Можно было выбрать амура, но Наде почему-то среди прочих приглянулся именно этот солидный карп. Молодые девушки не всегда делают правильный выбор, зачастую руководствуясь не разумом, а чувством. Хорошо бы одно с другим соединить да кое-чего добавить, тогда, быть может, в итоге мы бы получили умопомрачительный эффект. Хотя, уже с другой стороны, намешав столько разношерстных компонентов в одно блюдо, легко и быстро можно сделать его неудобоваримым. Как советовал один хороший портной из Бобруйска: надо думать...

Итак, трехкилограммовый красавец перекочевал из садка сначала на весы, а затем в полиэтиленовый пакет. И все было хорошо, все замечательно было бы и дальше, но буквально через пять минут с помощью ужимок и прыжков, используя в качестве ударного инструмента хвост, рыба в клочья раздербанила полиэтиленовую тару и выпрыгнула на асфальт. «Что-то здесь не то, вернее, не так...» — решила девушка, присев на корточки у пляшущей рыбы. Вы понимаете, что оставить карпа одного под ногами случайных прохожих нельзя, это кончится неизвестно чем. Вполне вероятно, что карп спокойно уплывет в неизвестном направлении. Не мне вам рассказывать... Запасного пакета, как назло, не было. Ситуация казалась неразрешимой, но Надежда, пользуясь советами граждан и собственной интуицией, с третьей попытки все-таки сумела ухватить рыбину за хвост. Но и карп наш был не из тех, кто сдается без боя: он сделал двойное сальто и опять оказался на свободе. Кошмар длился уже минут пять, плавно перетекая в веселый уличный аттракцион. Наиболее продвинутые граждане из наблюдателей даже крутили головами, пытаясь понять, где установлена скрытая камера. Толпа вокруг девушки

и рыбы росла на глазах; будто из-под земли вдруг появились дети: они смеялись, визжали, орали, придавая спектаклю достойное звуковое оформление. Но карп, как заговоренный, в руки не давался. Не знаю, помните ли вы скульптуру грека Александра Родосского «Борьба Лаокоона со змеями»? В этой жестокой борьбе отец семейства Лаокоон потерял — о горе нам! — своих двух сыновей. Конечно, зеркальный карп — это не змея, спорить не стану. Но что-то весьма и весьма похожее на картинку из далекого 200-го года до нашей эры наблюдалось в этот день и на привокзальной площади. Я всегда верил и верю — человек в борьбе с природой, несмотря на все трудности, караулящие его в пути, должен стремиться к победе. По крайней мере, бороться до конца. Эту же мысль проводил в жизнь и знаменитый естествоиспытатель Иван Мичурин: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Видимо, вспомнив заветы ботаника, Надежда все-таки сумела обуздать неугомонную рыбу, исхитрилась подхватить ее под жабры.

Карп был увесистый, и тащить его в руке было тяжело, тем более что пришлось держать его несколько в стороне, чтобы не измазюкаться окончательно. Бесспорно кошмар, вне всякого сомнения — ужас, но как по-другому можно было решить эту головоломку? Не готовы сказать? То-то и оно-то... И еще запомните: все мучения, как, впрочем, и радости, когда-нибудь да заканчиваются. Так что хотел карп этого или нет, но добрался он, в конце концов, до «Пальмового берега». Хотя, смею предположить, мечтал он попасть совсем в другое место, в привычную для него среду обитания. Но оставим бедную рыбу в покое и заодно успокоим разволновавшуюся гражданку Линову, которая из-за этого карпа истрепала все нервы. Не совсем тихо было после обеда в офисе, завистники обсуждали и девушку, и карпа, но... Вы понимаете, коллектив не мог остаться безучастным, наблюдая за плавающей в умывальнике рыбой.

В этот же день при вскрытии карпа и был обнаружен перстень. Газета «Ведомости» была не совсем права: перстень подошел с трудом, и лишь на мизинец. Но подошел! Надя не удержалась, ведь сами понимаете цену событию, и тут же позвонила Светке, давней подружке, присутствие которой на дне рождения было уже оговорено. В отличие от Линовой, у Светланы Шеремет был законный муж.

— Слышь, Свет, тут такое дело... — пустилась в объяснения счастливая обладательница перстня, — купила я к завтрашнему ужину карпа. Рыба как рыба... Только больно прыткая... А в ней золотое изделие с камнем... Ты все поняла?

Шеремет ничего не поняла, и что из услышанной путаницы можно было понять? Ясно было одно: дело требует ее немедленного вмешательства. Часа не прошло, как подруги, примостившись на кухоньке, под кофе и сигаретку, во всех подробностях обсуждали занимательную историю жизни и смерти вчера еще незнакомого им карпа.

— Ты понимаешь, я на него сначала и смотреть не хотела. Амур, признаюсь, мне как-то ближе своим обликом. Запала на одного... И тут будто кто-то за руку дернул... И внятно, вот как мы с тобой сейчас говорим, слышу вроде бы чей-то голос: «Бери карпа. Не пожалеешь». А как перстень увидала, сразу все поняла...

— Что поняла? Что? — заволновалась Светлана.

— Как что? Телепатия! Передача мысли на расстояние.

Долго еще слышались на кухне восклицания и аханья, и не раз еще Надя во все разрастающихся подробностях вспоминала знаменательный момент выбора зеркальной рыбы. Но осталось совершенно неясным то, чьи мысли сумела уловить в околоземном пространстве простая девушка. Да, много еще непознанного в этом мире, много тайн скрывает от глаз людских природа.

Светлана попросила показать уже подготовленного к запеканию героя дня, потрогала его хвост залакированным зеленым ногтем, под цвет глаз, вздохнула, видимо, от души жалея так рано ушедшего из жизни карпа. «Мог бы еще пожить... Мог...» — только и сказала она.

Случай в самом деле необычайный. Кто станет спорить?

Чего только в жизни не бывает: люди выигрывают по лотерее сумасшедшие суммы, и в долларах, и в рублях. Мимоходом купил с утра в киоске билетик и к вечеру уже богатей-миллионщик — хочешь, деньги в банк неси, хочешь, в подушку прячь. Выбор всегда существует. Но все это почему-то случается где-то и с кем-то, порой даже с деклассированными бомжами, но только не с нами. Почему? Знал бы ответ, так давно бы имел недвижимость в городе Сочи. Так вот, на фоне всего сказанного ситуация выглядела не совсем справедливой. Одним, вернее, одной, перстень с бриллиантом — дураку необразованному ясно, что это бриллиант, а другим — только со стороны поглядеть...

Где и когда новость услышал корреспондент газеты «Ведомости» Владимир Червоный, тайна за семью печатями. Не любят газетчики делиться своими профессиональными секретами. Но нам известно, что именно его информация прошла в рубрике «Калейдоскоп», а сейчас он уже пришел взять полноценное интервью у гражданки Линовой.

«Так, значит, это и есть наш пресловутый перстенек?» — уже раз в третий спрашивал представитель прессы, беседуя по душам с Надеждой в кабинете заведующего отделом, который начальство любезно предоставило для интервью. Резануло по ушам не к месту употребленное журналистом местоимение «наш», но думается, что это просто случайная оговорка.

Когда официальная часть интервью закончилась и раскрасневшаяся от эмоционального рассказа девушка пришла в себя, то дотошный газетчик все никак не хотел угомониться: читатель всегда требует деталей и подробностей.

Где и когда вами была приобретена данная рыба? Ее полное видовое название? Стоимость за килограмм живого веса? Запомнили ли вы номер машины, с которой велась торговля? — и это даже не весь перечень задаваемых вопросов. Да, ничего не скажешь, Червоный был действительно одним из опытнейших журналистов городской газеты «Ведомости».

— У вокзала... номера не помните... хорошо... хорошо... дело поправимое... — проборматывал он информацию, не спуская с Нади цепких гипнотических глаз. — Читатели хотят знать правду и только правду, — напоследок заверил он именинницу, ибо именно сегодня — ведь вы не забыли? — у Надежды Михайловны Линовой, согласно паспорту, и был день рождения.

— Счастья вам на рыбьем поприще, — пожелал он напоследок, галантно раскланялся и удалился.

Если уж вдаваться в детали, то и мы будем скрупулезно точны. Ровно через четыре минуты Владимир Червоный уже звонил по мобильнику жене:

— Тамара, слушай меня внимательно. Все делай, как говорю. Вопросов не задавай. Детали потом. — Здесь он слегка передохнул, собираясь с мыслями, и телеграфным текстом передал следующее указание: — Все дела в сторону. Идешь на привокзальную площадь. У вещевого рынка с машины продают рыбу. Бери поштучно двадцать карпов. Еще двадцать возьму я. Поняла? Нельзя терять ни минуты... Нет, завом не ставят... Тут дело похлеще... — на этом разговор оборвался.

Забегая несколько вперед, сообщу, что речную рыбу семья Червоных ела изо дня в день чуть ли не целый месяц. И хотя карп по природе своей вовсе безобидная тварь, а в жареном виде вовсе неплоха, сильно невзлюбил ее журналист, даже при одном упоминании этого вида в случайном разговоре Чер-

воного прямо передергивало. Как тут не поверишь мудрецам, что от любви до ненависти один шаг. Все верно, все так...

Семья Светланы Шеремет тоже попыталась перейти на рыбную диету, но ничего хорошего из этого не получилось. Во всем должна быть мера. По-моему, один-два дня в неделю вполне достаточно для рыбных блюд.

Нужно будет упомянуть еще один крайне интересный факт. Уже вечером этого же дня в Интернет выложили видеоролик «Борьба девушки с карпом». Видимо, кто-то в толпе времени даром не терял, ушами на ветру не хлопал, а взял и все виденное и слышанное записал на телефон. Умно? Кто бы спорил... И я вам скажу, что этот ролик к 24-м часам следующего дня просмотрело более ста тысяч интернетпользователей самой разной национальности, разного вероисповедания и цвета кожи. И девушка, и карп получили за свое выступление (шкала десятибалльная) высшую оценку.

Глава вторая

День рождения не выбирают. Нервы, как и прочие внутренние органы, надо беречь. Если есть бриллиант, то у него должен быть владелец. Вопросы множатся, как амебы.

К шести часам вечера на квартире именинницы собралась небольшая компания: только самые близкие друзья. Кроме семейства Шеремет присутствовали две институтские подруги — Тая и Лида, и Михаил Абакумов. Кто такой и откуда появился, так же как и вы, поинтересовалась держащая ситуацию под контролем Света. Прижав подругу к холодильнику блюдом с запеченным карпом, она задала только один вопрос: «Кто он?» На что Надежда, а это настораживало, ответила неопределенно, даже можно сказать, туманно: «Так, один инженер...»

Вы понимаете, что инженеров в городе пруд пруди, так что, всех их надо приглашать откушать карпа? Ясно как белый день, что инженер прибыл с букетом роз на данную квартиру не случайно. А если даже предположить обратное, то еще философ Энгельс лет сто назад сказал: «Случайность — это непознанная закономерность». Есть над чем поразмыслить, есть что сопоставить — между представителями двух полов неясности быть не должно.

Стреляло шампанское, звучали в адрес именинницы здравицы и тосты. Гости от души веселились, праздник удался, оттого и на сердце у юбилярши было спокойно и светло. Михаил Абакумов, завладев вниманием, даже прочел стихи собственного сочинения: «Ты молода, и жизнь твоя полна. Так пей ее, как пьешь бокал вина!»

Стихи женской половине семейства Шеремет не понравились, она тронула локтем уплетавшего карпа мужа: «Жизнь достойно надо прожить, а не пропьянствовать. Ты как думаешь?» На что супруг ответил, что она не совсем справедлива к чтецу, стихи, мол, хорошие. Сказал и полез с рюмкой через стол чокаться с инженером.

Надюша веселилась без оглядки: много внимания уделила карпу, демонстрировала перстень, тормошила подруг. Абакумов по очереди кружил дам, рассказывал всякие потешные истории. Пили не много, но в конце Света все-таки умудрилась испортить вечер: то ли от «полировки» шампанским, то ли от нервов, обозвав мужа законченным дуралеем, хлопнула дверью, напоследок пожелав растерявшейся компании: «Пропадите вы пропадом вместе с вашей чертовой рыбой». Обидные слова были сказаны и возымели свое негативное

действие. Как проколотый воздушный шарик, сдулось хорошее настроение. Тая и Лида, убрав на кухню тарелки, тоже засобирались. Леня Шеремет еще раньше побежал вслед за женой, стараясь, чтобы конфликт между рыбой и человеком не перерос в семейный. Абакумов, как истинный джентльмен, вызвался проводить девушек. Квартира, еще полчаса назад наполненная веселыми голосами, опустела...

Надежда вымыла посуду, погрустила полчасика, рассматривая в свете торшера бриллиант. Смотреть на камень было приятно, он, казалось, испускал целительные лучи, которые незаметно теснили из души беспокойство и раздражение. Обида на Светку забылась (с кем не бывает, ну, перебрала чуток...), отлетели в сторону мысли о некупленных босоножках, вытеснили эти целительные лучи и многое другое, что порой мешает нам чувствовать простоту жизни. На душе стало легко и спокойно.

Утром Линову разбудил настойчивый звонок в дверь. Звонок прямо-таки надрывался, как сошедший с ума будильник, рождая в еще сонной голове всякие осколочные мысли. Случается такое: еще трубку не поднял или дверь на стук не открыл, а уже знаешь — неприятности у ворот. Надя бросила взгляд на часы — было около восьми. Кто в такую рань мог явиться? Кому там неймется, не спится? Пока щелкал зубами замок, решила: кроме Светы, быть некому: вчера она к тому же в нервической спешке сумочку на вешалке забыла.

В дверном проеме стоял довольно представительный мужчина лет пятидесяти, в сером в полоску костюме. Зеленый галстук подчеркивал серьезность намерений визитера. Волосы цвета воронова крыла были аккуратно расчесаны на пробор. Усы придавали лицу дружелюбный вид, но в глазах читались строгость и желание порядка.

— Линова Надежда Михайловна?

Надя кивнула. Затем, осознав оплошность, поинтересовалась в свою очередь: в чем, собственно, дело? На каком основании...

— Вы только не волнуйтесь. Все будет хорошо, — заверил незнакомец. — И тут же, притопнув туфлями, представился: — Вячеслав Константинович Шолохов, в миру художник. А дело, моя милая девушка, в том, что это мой перстень рыба проглотила. Мой... Вот с этого безымянного пальца... Факты, как говорится, налицо... Вот в чем вопрос, моя милая, вот где собака у нас зарыта-запрятана...

Надюша растерялась, мысли в голове метались, как потревоженные осы. Что делать? Как поступить? Радость, еще вчера переполнявшая душу до краев, медленно, но неумолимо, растекалась в окружающем пространстве, словно вода из рассохшейся за зиму бочки. И здесь Надежда Линова совершила еще одну ошибку, слава Богу — не роковую, — она пригласила незнакомца в квартиру. Не мне вам говорить, что подобные поступки в большинстве случаев плохо кончаются. Вы только представьте: может быть, этот совершенно незнакомый человек всего только насильник и серийный маньяк? Где гарантии? Но не будем уподобляться пророчицам-воронам, перестанем каркать, лучше послушаем, как дальше будут развиваться события.

Молодая девушка, несомненно, поступила опрометчиво. Но что сделано, то уже сделано: гражданин, назвавшийся Вячеславом Константиновичем, прошел в комнату. Замечу, что он тщательно вытер ноги о коврик у дверей, и этот факт, вне всякого сомнения, нас слегка успокаивает. Непохоже, чтобы человек, следящий за порядком и чистотой, был разбойником или проходимцем. От сердца слегка отлегло...

— Вы извините за беспорядок. Рано еще совсем. Спала...

— Бывает, бывает, — понимающе закивал головой визитер. — Дело молодое. Как не понять?

Надя, между нами говоря, не знала, что делать и как быть. Взять и с ходу-с лету отдать бриллиант незнакомцу? Нельзя же не вернуть чужую вещь, тем более что хозяин рядом. Это она понимала хорошо, но так же хорошо понимала, что отдавать в чужие руки, вот так, с бухты-барахты, вообще ничего нельзя. Вот этот парадокс и вносил в мысли сумятицу.

Позволю, пока то да се, урвать у читателя минутку. Личность, как правило, в своих решениях опирается на субъективное понимание вопроса. Одни скажут: отдайте найденное, верните хозяину вещь, чужого нам и даром не надо, своего бы добра под шумок не потерять. И они будут правы. Несомненно правы... Другие, более приземленные граждане, дают такой совет: гоните всяких просителей и ходоков прочь поганой метлой. И вообще, никому ничего не давайте. Вас разорить пытаются аферисты да проходимцы, а вы... Вы всем верите. Зарубите себе на носу: никому ничего... Как понять ситуацию? Чей совет лучше? Сразу не ответишь? Что ж, нас в советники не брали, наше мнение — нуль, а потому придется Надежде Михайловне решать этот вопрос самой. Вы еще только одно поймите, Надя не какая-то среднестатистическая личность женского пола: со средним весом, средним интеллектом и средней зарплатой, она живая и симпатичная девушка. У нее в наличии доброе сердце и душа. Возьмешь ее за руку и слышишь: пульс стучит, как молоточек: тук, тук, тук... Ладошка узенькая, пальчики длинные, и что другого дороже, теплая рука, родная.. Не девушка, а чистое золото. Вы уж мне поверьте... А потому за ней будет последнее слово: как она скажет, так и будет.

— Может быть, кофе, Вячеслав Константинович?

— Благодарю покорно. А вот ежели стаканчик чаю предложите, не откажусь.

Мерно тикал будильник, время, не понять почему, тянулось, как резиновое. Надежда Михайловна чувствовала себя скованно, говорить было не о чем, но и молчать было невыносимо. Отхлебывая чай, художник похвалил хозяйкины плюшки, утверждая, что они ничуть не хуже магазинных. Затем неизвестно для чего стал расспрашивать о работе и досуге. Надя отвечала односложно: да, нет... О каких таких предметах могла идти речь, когда ее волновал только один-единственный вопрос: что делать?

Чай допили. Вячеслав Константинович сразу посерьезнел, поправил галстук и, постукивая костяшками пальцев о стол, перешел к основному:

— Колечко-то в хозяйские руки надо вернуть. Ведь живем мы тихо и мирно, согласно Кодексу? Не правда ли?

Надя машинально кивнула и тут же испугалась. Кодекс даже в мыслях она нарушать не собиралась, но пока тянулось чаепитие, решила, что сейчас, вот сейчас, она не отдаст перстень в чужие руки ни за какие коврижки. Не надо мне ваших хваленых аргументов — не отдам и все! Потом видно будет, потом разберемся... Светка придет, вместе решим...

У Шеремет был сильный характер, и Надежда Михайловна в минуты неопределенности и смуты всегда находила в подруге опору: «Во всем разберемся, все разложим по полочкам, Света поможет».

— Перстенек... перстенек... — бубнил о своем добре Вячеслав Константинович.

— У меня его сейчас нет, я перстень у своей сестры оставила. Чего, думаю, с такой ценной вещью по городу туда-сюда мотаться? Совсем незачем. Нам такие эксперименты ни к чему. Потому и оставила... — складно излагала ситуацию Надя. Ей было немножко стыдно, ну, чуть-чуть, но как бы вы поступили на ее месте?

— Забрать надо. Немедленно забрать! Можно на такси... Надо же что-то делать! — художник явно нервничал.

— Заберу, — заверила Надежда. — Днем съезжу и заберу. Сейчас не могу, подруга с мужем вот-вот должны прийти. Уже выехали...

От вас секретов нет, потому знайте: перстень с бриллиантом, завернутый в бумажную салфетку, был запрятан в черной, на высокой шпильке туфельке. Туфелька, в свою очередь, лежала в коробке. Коробка хранилась в шкафу. Данная ситуация, чуть ли не один к одному, повторяла историю с висящим на дубе сундуком Кощея Бессмертного, в котором хранилась шкатулка, в ней было упрятано яйцо, а в яйце... Что было в яйце, вы сами прекрасно знаете, потому не будем углубляться в фольклор, вернемся к реальности.

Надежда Михайловна, это уже ясно читателю, вдохновенно врала, но простит ее Бог, она говорила, говорила и в какой-то момент уже сама ни на йоту не сомневалась в сказанном. Ведь бывает такое? Поверил ей и гражданин Шолохов. Договорились, что Вячеслав Константинович зайдет за перстнем вечером, где-то после шести. На прощанье он поцеловал руку хозяйке, заглянул в глаза и пожелал счастья. Вроде бы мелочь, а приятно...

Дверь за художником захлопнулась. Надя осталась одна. Мысли плодились, множились. Перстня было очень жаль. Девушка уже к нему привыкла. Ведь не секрет, что к хорошей жизни, к дорогим и качественным вещам быстро привыкаешь. Подведем итоги: хотя художник Шолохов выглядел на полноценную пятерку, доверия у Надюши он не вызывал. Говорит, что пишет картины маслом, что ж поверим, пусть себе и дальше занимается творчеством. Кто против? Мы — за! Только пусть объяснит, где он карпа встретил, на каких таких жизненных перекрестках? Он что, у него в домашнем аквариуме жил? А потом на базар сам пошел? Пусть докажет... От последней мысли Надежда даже улыбнулась. Не век же девушке грустить.

Услышав про художника, Светлана, тут же забыла все вчерашние обиды и дала четкое указание: «Еду. Жди. Дверь никому не открывай».

Глава третья

Не квартира, а какой-то проходной двор. Федот, да не тот. Светлана Шеремет в роли дознавателя.

Шеремет ворвалась в квартиру, как тайфун. Она внимательно осмотрела все подсобные помещения, даже заглянула в платяной шкаф. И только после этого вопросительно кивнула подруге. Надя обстоятельно пересказала утреннее происшествие.

— Так, так, — резюмировала Светлана, в данный момент принявшая на себя роль следователя, — явно аферист. Ты у него, конечно, документы не проверяла? Так я и знала. Этаким макаром тебя первый встречный вокруг пальца обведет. И когда тебя только жизнь уму-разуму научит?

Надюша промолчала. Легко сказать: жизнь научит... Она бы с радостью ходила на уроки мудрости, дурочкой последней надо быть, чтобы такой шанс упустить. Только как-то неясно, где конкретно эта учеба, про которую Светка все время твердит, а где сама жизнь? Заметим, что Шеремет, в силу ряда обстоятельств, имела немалое влияние на подругу. Во-первых, она была старше ее на три года, что в таком возрасте немаловажно, а во-вторых...

Вы уже догадались, что значит это весомое «во-вторых»? Нет? У Светланы был в активе муж и богатый жизненный опыт. Конечно, иметь богатого

мужа и незначительный жизненный опыт, может быть, даже иногда и лучше, но сегодня говорим о том, что имеем.

Требовалось наметить дальнейший план действий. Вы знаете: одна голова хороша, а две женские куда лучше. Обеими этими головами предлагались разнообразные и вполне жизненные варианты, вплоть до обмена квартиры, но чуть погодя все они по разным причинам рассыпались в пух и прах.

— Бриллиант твой! Твой! — убеждала подругу Шеремет. — Ты знаешь, сколько он стоит? Тыщи! А ты первому встречному дверь нараспашку... Хотите — берите, хотите — не берите... И когда ты, Надька, научишься жить?

Шеремет, конечно, перегибала палку, слов «хотите, берите...» Надя не говорила. Вы сами разговор слышали. И этой непонятной учебой (где? чему? когда?) не надо молодую девушку с толку сбивать, юную голову бреднями морочить. Легко сказать: жизнь научит... Где уверенность? Где гарантии? А вдруг откажется эта жизнь, откажется возиться с несмышленым товарищем, будь он хоть мужского, хоть женского пола? Тогда что же получается: в светлое будущее, которое у горизонта маячит, необразованным простофилей маршировать? Я думаю, что главный аргумент в этом споре — время. Оно и научит, оно и рассудит. Поживем — увидим. По этому вопросу и поспорить бы не грех, да времени в обрез. По случаю напомните, поговорим...

План был составлен еще только вчерне, когда в дверь позвонили. Надя от неожиданности чуть не выронила из рук цветастую кофейную чашечку. Кого там черт принес?

— Он? — зашептала Света. — Художник?

Надя в недоумении втянула голову в плечи. Она бы вообще спрятала ее, как страус, только не в песок, а, к примеру, под подушку. Но от жизни не спрячешься, это аксиома. Шеремет на цыпочках, с трудом сохраняя равновесие — сложному движению мешала узкая юбка, прокралась к входной двери. Звонок грозил порвать натянутые как струны нервы.

Если Светлана Шеремет лисьим шагом, но бесстрашно шла навстречу неизвестному, то Надежда Линова с некоторого времени стала сильно пугаться всего этого перезвона. Не знаю, как бы вы себя чувствовали, сидя рядом с бриллиантом, если бы к вам в квартиру ежечасно лезли разные люди. Радости, согласитесь, в этом мало.

Света, махнув рукой подруге — мол, не высовывайся, — распахнула дверь. На пороге стояла невысокая полная женщина неопределенного возраста, в ярком клетчатом платье. Растрепанные короткие волосы были безнадежно испорчены перекисью.

— Чем обязаны? — гостья была встречена несколько недружелюбно.

— Вы гражданка Линова Нэ Мэ? — в свою очередь поинтересовалась блондинка.

— Предположим, я, — выдержав паузу, представилась Шеремет.

Здесь женщина, будто вспомнив про невыключенный утюг, схватилась за голову, вконец взъерошив и без того неухоженную прическу.

— Только вы меня можете спасти! Милая... Христом Богом молю, — рыская по сторонам глазами, запричитала визитерша. Вмиг оценив обстановку, она, как танк, начала теснить противника.

Шеремет временно отступила, но не более чем на пару шагов. Не забывайте, что в свое время отступал даже командующий русской армией Михаил Илларионович Кутузов. И что из этого получилось? Да, Шеремет отступила, но инициативу она противнику не отдала.

— В чем дело? — в голосе Светланы уже звучали металлические нотки. — Есть что сказать — говорите! Нет — до свидания!

— Голубка... Мужнин подарок... Как на духу... Развод... Бриллиант... Счастья нет... Все что хотите... Землей клянусь... — как хороший репер выдала текст блондинка.

Ситуация не прояснялась, а наоборот, превращалась в подобие гордиева узла. И еще: габариты блондинки намного превышали параметры Светы, поэтому держать оборону было непросто.

— Чего вы от нас хотите? Что вам надо? Говорите!

Женщина взялась рассказывать о своей беде. Она суетливо хваталась то за голову, то за сердце, пару раз ей даже удалось захватить Шеремет в объятия. С помощью этих греко-римских приемов борьбы она сумела отвоевать еще порядочный кусок площади. Из сбивчивого, лишенного логики объяснения стало ясно, что Мария Борисовна Горелова еще на прошлой неделе, давая рыбам корм (крашеная блондинка работала в рыбхозе), ненароком скормила карпу — будь он трижды проклят! — перстень с бриллиантом. Именно его и нашла в желудке рыбы, как правильно написала уважаемая газета, гражданка Линова. В подтверждение своих слов женщина выхватила из-за пазухи измятые «Ведомости» и ткнула пальцем в очерченную красным фломастером заметку.

— Мой перстень, мой! — сквозь плач выдавила из себя женщина-рыбовод и рухнула на колени.

Что бы вы сделали на месте вконец измотанной неравной борьбой Светы Шеремет? Я теряюсь, думаю, и вы с ходу не дадите правильный совет. А Света поступила еще как мудро: подхватила гражданку Горелову под руку и подняла с пола. Повела в кухню и усадила за стол. Привела из комнаты Надю. Объяснять никому ничего не стала, видимо, точный план действий уже полностью сложился в ее голове.

— Рисуйте свой перстень, — протянула она чистый лист бумаги блондинке. — Вот вам ручка. Рисуйте!

Горелова, как она уже призналась, не была художником, но все же взялась за исполнение эскиза. Надя не сводила глаз с чистого листа, на котором Мария Борисовна, покусывая губу, пыталась изобразить проглоченное карпом ювелирное украшение.

Надя была несколько подавлена происходящей сумятицей: совершенно чужие люди, став в некую очередь, требуют у нее раз за разом ставший уже родным перстень. Умом можно тронуться. Бриллиант один, а претендентов уже двое. Не может такого быть, чтобы карпы что ни день глотали драгоценности. И вообще, слегка настораживает безалаберное отношение простых белорусов к бриллиантам, что-то здесь не то... Напрашивается неутешительный вывод, что кто-то из двоих врет, пытаясь присвоить не принадлежащую ему вещь. Стыд и позор... Вот тебе и двадцать первый век... Ждали его, как манны небесной, мол, придет новое столетие и общество переменится, самосознание вырастет, все ладком да порядком у нас с вами будет. И дождались... Вот тебе времена, вот тебе нравы!

Наконец эскиз был закончен. Света протянула листок с рисунком подруге. Та отрицательно покачала головой — отсебятина. Шеремет и сама видела, и подобия схожести нет, но следствию требовался процесс опознания. Она делала то, что должна была делать.

А предположим, спросите вы, блондинка-рыбовод нарисовала бы перстень один к одному. Что тогда, прощай бриллиант? Что сказать вам в ответ? Надо лучше знать характер Шеремет, ведь недаром говорилось, что за плечами миловидной девушки богатый жизненный опыт. А он говорит сам за себя, без слов и жестов.

— Нами найден не ваш перстень, — пустилась в объяснения Светлана. — У вашего площадка круглая, а у нашего квадратная. Покажи, Надь... И я думаю, почти уверена, что вашу рыбу еще не поймали. Следите за газетными публикациями.

Надя, прикрывшись спиной, достала из туфли перстень. Света, соблюдая дистанцию, продемонстрировала погрустневшей гражданке Гореловой внешний вид золотого изделия. Она четко контролировала ситуацию и была готова ко всем неожиданностям.

— Голубушка... Может, еще найдете... Мужнин подарок... По гроб жизни... Ночи без сна... — на этот раз в реперской скороговорке явно не хватало эмоциональной наполненности. Текст был почти один к одному, а души уже не чувствовалось. Души не было...

Как-то сразу успокоившись, рыбовод Мария Борисовна нацарапала на листке, чуть пониже отображенного перстня, домашний адрес и сотовый телефон для связи. Что-то невнятно бормоча и ловко пятясь, она ретировалась в дверь.

— Кошмар! Какой-то кошмар! — подвела итог событиям впечатлительная хозяйка квартиры.

— Как пчелы на мед... Зря мы ей перстень показали, зря... Но иначе не выпроводишь... Хуже, если эта аферистка в паре с художником работает. Сейчас тот заявится. Думать будем, хорошо думать...

— Может, в милицию?

— Сами разберемся, не маленькие, — заверила Шеремет. — И давай еще о том подумаем, как его в деньги обратить. С деньгами жить не только проще, но и веселей.

Для Нади верной подругой был выработан целый кодекс поведения: дверь никому не открывать; из квартиры без надобности не выходить; на улице с незнакомцами в контакт не вступать; никому ничего не рассказывать и никого не слушать.

— А если? — заикнулась Надя.

— Что если? Ты же не девочка... Если — то будешь век свой куковать без перстня. Вот такой у нас сегодня расклад.

С художником Шолоховым разобрались в пять минут. Он пробовал давить на психику, утверждая, что поведение девушек — это произвол, пробовал взывать к совести, но Светлана сразу поставила его на место. Сначала рисовать перстень художник просто отказался: мол, не хочу и все. Долго сидел, обхватив голову руками, вероятно, с помощью экстрасенсорики стараясь увидеть сквозь толщу времени предмет, потом все-таки взял ручку, но нарисовал такое, что даже видавшая виды Шеремет заулыбалась.

С этой же улыбкой она посоветовала приунывшему мужчине поискать перстень где-нибудь в другом рыбном месте, может быть, он уже нашелся.

— Наш перстенек — это не ваш перстенек. Вы понимаете?

Но мужчина по фамилии Шолохов (уж не родственник ли писателю?) подобного произвола понимать не желал. Шеремет с какого-то момента он полностью игнорировал, все свои жалостливые слова предназначал только хозяйке квартиры.

— Вы ведь обещали, — корил он ее. — Стыдно, девушка, лгать старшим. Ведь я вам верил...

Надежде Михайловне действительно было стыдно. За свои двадцать с хвостиком (уж если на дне рождения умолчали, то здесь точность вообще неуместна) она не попадала в подобные передряги. И если бы не Света, бриллиант, наверное, все-таки пришлось бы отдать.

Но кроме тяжелого объяснения с художником, чему вы сами были свидетелями, имел место еще один нелицеприятный разговор, о котором Надюша ничего подруге не рассказывала. Тайны есть у каждого из живущих, а у молодых девушек, думаю я, даже не одно тайное событие хранится в душе, опечатанное семью печатями.

Как все до невозможности усложнилось в нашей истории. Казалось бы, чего проще — распотрошил рыбу, нашел бриллиант да и живи себе припеваючи всю оставшуюся жизнь. Но вы запомните: беда, как, впрочем, и счастье, заходят к нам в дом, разрешения не спрашивая. Прошло только три дня с роковой пятницы, а попробуй разберись, кто виноват, и вообще, кто есть кто. И как в такой ситуации не растеряться бедной девушке, как ей остаться спокойной и хладнокровной, когда человек, неделю назад признававшийся вам в любви, из-за бриллианта отказывается от своих слов?

В два часа дня, когда Света поехала отметиться и дать ценные указания семье, в квартиру Линовой позвонили. Звонок был один, короткий. Так звонил только Абакумов, и Надя, несмотря на строжайший запрет со стороны подруги, дверь тут же отперла. Это был действительно Михаил. В руке он держал головками вниз букет гладиолусов. Проходить в комнату наотрез отказался и, размахивая цветами, принялся выяснять отношения. Надя не понимала, что такое надо выяснять, какая между ними неясность? Еще вчера все было хорошо. Что сейчас? Вы, наверное, уже заметили, что Надежда часто терялась в неординарных ситуациях? Что поделаешь, люди очень разные населяют наш земной шар. По крайней мере, тихие и скромные мне больше по душе, чем шумные и нахрапистые. Все это, как говорится, на любителя: одному пиво, другому раки. Но от общих рассуждений давайте все-таки вернемся к нашим героям, застрявшим в маленьком коридорчике.

Михаил Абакумов начал издалека: говорил о каких-то принципах, о преграде, которая китайской стеной разделила настоящую любовь и богатство. Конечно, инженер ремонтно-строительного управления не может каждый день раздаривать бриллианты направо и налево. Он, слава Богу, живет на одну зарплату. Это они себе могут позволить все. Но он любит. И пусть эта отверженная любовь будет для нее вечным укором, каиновой печатью на фибрах души. Что из всего сказанного поняла девушка? Я, скажу честно, и сам толком не пойму всей этой обличительной белиберды.

— Ты пожалеешь, Надежда, ты о многом пожалеешь. Но против совести я идти не могу. Будь счастлива. Я ухожу навсегда, — с последними словами Абакумов, так и не вручив девушке гладиолусы, покинул квартиру.

А теперь скажите мне, много ли чего вы поняли из сумбурной речи разволновавшегося Миши Абакумова? Одно ясно как белый день — весь сыр-бор разгорелся, конечно, из-за бриллианта. Здесь и к гадалке не надо ходить. Точно так решила и Надежда. Решить-то решила, а дальше что?

Глава четвертая

Не бойтесь вещих снов. Анонимный букет. Цивилизованный гном. Следственный комитет закрывает дело.

Ночью Надежде Михайловне приснился непонятный сон. Вернее, понять его можно было, но что он пророчил, было не совсем ясно. Сначала Света Шеремет, почему-то в топлес, с огромной медной трубой на плече, регулировала в районе площади Ленина дорожное движение. Надя — вот чудеса! —

даже знала точное название музыкального инструмента — геликон. Светлана задудела в свою трубу и махнула рукой — машины стали как вкопанные. Всякое движение вмиг прекратилось, пешеходы замерли, птицы повисли под облаками. В наступившей тишине хорошо был слышен усиленный дыханием геликона голос: «Двери не открывай! Никому! Тебя нет!» Затем картинка сменилась: Миша Абакумов в подземном переходе играл что-то жалостливое на баяне, перед ним на земле лежала кепка, в которую люди, не все и не часто, бросали денежки. Почему-то возле уличного музыканта начала расти толпа. Миша поправил бабочку — черный атлас у белого воротничка — и объявил следующий номер: для Надежды Михайловны, жительницы солнечной Беларуси, исполняем песню «Позабыт, позаброшен...». Но взамен заявленной он стал петь популярный в прошлом шлягер «Разлука». Когда Абакумов дошел до слов «все пташки-канарейки так жалобно поют, и нам с тобой, мой милый, венчаться не дают...», Надюша разрыдалась. Так ей жалко стало влюбленных. Что ни говорите, а хорошее сердце у девушки... Хорошее... Но тут оказалось, что уже не инженер Абакумов исполняет музыкальный номер, а сам Филипп Киркоров. Однако, приглядевшись, Надя поняла, что это типичный оптический обман, что-то сродни миражу пустыни. Песню пел ее хороший знакомый Вячеслав Константинович Шолохов, тот самый, что заходил на днях попить чайку. Он был в черкеске, голову венчал испачканный краской, а может быть, и кровью, высокий белый колпак с кисточкой; на бедре, на длинной цепочке болтался то ли кортик, то ли коротенькая сабелька. Исполнительского мастерства явно не хватало, и художник, путая лады, заиграл лезгинку. Окружающая толпа бросилась в пляс. Сам же художник, отбивая чечетку, прошелся по кругу и полез в платяной шкаф, где, как вы знаете, прятался от людских глаз бриллиант. Было заметно, что человек, хоть и имеет при себе холодное оружие, сильно чего-то опасается, по тому, как он постоянно крутил головой, стараясь предупредить возможные неприятности. Потом, видимо, найдя то, что искал, начал потихоньку пятиться, замазывая синей краской меловые следы от туфель. «Комар носа не подточит, — подмигнул он Наде. — Все путем, все шито-крыто...» Большая серая ворона, минуту назад вылетевшая из шкафа, устав нарезать круги у потолка, присела на люстру и скрипучим голосом прокаркала: «Алмаз... алмаз...» Информация о драгоценном камне, видимо, понравилась собравшимся на концерт зрителям — вокруг захлопали и засвистели. Шкаф на глазах сморщился, уменьшился в размерах и превратился в обычный сейф. Художник Шолохов, попыхивая трубкой с головой Мефистофеля, не слушая сторонних советов, взвалил сейф на плечи и, шатаясь, побрел к окну. Надя, на правах хозяйки квартиры, попросила художника опрометчивых поступков не совершать: у нее седьмой этаж, к тому же, в шкафу, который сейчас превратился в сейф, все ее вещи, уже завтра ей будет не в чем выйти на работу. Уж лучше она отдаст бриллиант, так будет для всех спокойнее. Но художник, жадничая, дельного совета не послушал и швырнул сейф прямо в окошко, затем сам, перекрестившись, бросился следом. Зазвенело, посыпалось на пол разбитое стекло. Осколки сыпались нескончаемым радужным дождем, сыпались и звенели, звенели и сыпались... И чтобы прервать этот невыносимый для слуха звон, рука Надежды нащупала мобильник. Пора было собираться на работу.

А там, в стенах офиса «Пальмовый берег» ее ждал сюрприз. На рабочем столе, в поллитровой стеклянной банке с этикеткой «Томатный соус», стоял букет ромашек. Вот так чудеса!

Надя сначала их даже не заметила, на работу она, как обычно, слегка опаздывала, потому последние метры перед финишем прошла «на рысях».

Отдышавшись, она перед монитором компьютера обнаружила бело-желтый букетик. А еще, обозревая панораму, Надя перехватила насмешливый взгляд Ксюши Роговой. Ксюха, конечно же, что-то знала, но с ней Линова в последнее время была в натянутых отношениях. Ясное дело, причины были, но не будем читателя утомлять офисными разборками. Не очень это интересно, да вдобавок возникает эта неприязнь совершенно ниоткуда: кто-то что-то сказал, а кто-то передал... Вот и вся интрига, одним словом, ерунда на постном масле. Но обидно, Надя против Ксюши ничего не имеет, хотя та, источник информации вызывает доверие, говорила...

Эх, ромашки, ромашки... Надежда Михайловна со всеми в отделе, ну, почти со всеми, была в приятельских отношениях. Она нравилась мужской половине «Пальмового», но чтобы цветы... Такого раньше не наблюдалось.

Рабочий день шел как обычно, ни шатко ни валко. Два раза звонила Шеремет, сообщила, что через знакомых нашла ювелира и тот обещал решить все их вопросы. Договорились о встрече: в шесть у ювелирной мастерской на улице Победы.

Надюша, перебирая варианты, знала одно: сама она в этом жизненном лабиринте вовек бы не разобралась. Во всех этих вопросах не столько характер главную роль играет, сколько жизненный опыт. А его мы приобретаем, просто живя на белом свете. Так что все у Надежды Михайловны еще было впереди, дорога жизни лишь только вильнула куда-то в сторону от родительского порога, но вдали уже хорошо просматривалась и быстрая речка с обрывистыми берегами, и чернеющий на горизонте лес.

В отдел тянулись с разными вопросами досель незнакомые люди. Не секрет для нас, что интересовала их Надя, умы общественности не оставляла безучастной и судьба зеркального карпа. Шепот за спиной уже вызывал аллергическую реакцию: хотелось только одного — покоя. Поверим древним грекам: тяжело бремя славы.

Люська Захарова перехватила Надю в коридоре.

— Ну, девка, ты даешь! Хвалю! Всем этим мымрам нос утерла. А как здорово придумала — бриллиантик сунуть в карпа. Я бы нипочем не допетрила. А кто он, магнат российский? Ну скажи, Надька, — заканючила она. — Я никому, ни за что... — А у меня все больше мужики по торговой части... Что-то вроде бизнесменов...

Захарова болтала, вовсе даже не нуждаясь в каких бы то ни было пояснениях и уточнениях со стороны. Люся знала все о всех, пусть даже мы немного принизим ее статус, — знала почти все о каждом. Должность секретаря главы корпорации господина Жука обязывала. Были в этот день еще интересные встречи и разговоры, но чтобы не утомлять читателя, о них мы рассказывать не станем. Опять же, озвучивать женские тайны, пусть даже не особо весомые, не наша с вами задача. Современная девушка без тайны — это... В голову ничего не приходит, как только сравнить миловидное создание с коммунизмом без электрификации. Ленин бы страшно расстроился и ни за что бы такой вариант не одобрил.

Шеремет покрутила пальцем у виска, а Надя всего-то опоздала на двадцать минут. Причины? Расскажем и о них, скрывать тут нечего. Лишь только Линова выскочила из «Пальмового» на улицу, как тут же прицепился к ней со своими разговорами рыжий малый из отдела маркетинга по фамилии Литош. Надя с ним до этого и пяти слов не сказала: так, здравствуй — до свидания. Начал что-то про высокую политику плести (кому это инте-

ресно?), затем почему-то охаял разом (непонятно, чем эти теплые страны ему досадили?) Грецию и Португалию, а потом пошел городить такое, что Надежду даже в краску бросило. Рыжий Литош, цепко удерживая ее за руку, заявил, что именно он принес в дар полевые цветы ромашки, и вообще, он любит Надежду Михайловну всю свою сознательную жизнь, а потому готов хоть сегодня вступить с ней в законный брак. И никаких брачных контрактов им не надо, эти заумные договоренности лишь порождают в ячейке общества, которой является семья, недопонимание, помноженное на недоверие. «Будем жить-поживать да добро наживать»,— этой фразой будущий жених подвел итог под своим предложением руки и сердца.

И этот бред бедная девушка вынуждена была слушать. Правильное воспитание, дополненное хорошим образованием, не позволяло ей с бухты-барахты послать Литоша на все четыре стороны. Надежда, щадя чужие чувства, сказала, что подумает, — мол, такие вопросы на ходу не решаются. Сказала и быстренько шмыгнула в троллейбус, потому как настырный маркетолог предложил обсудить проблему уже не на ходу, а сидя за чашечкой кофе в съемной квартире. Можно поселиться в однокомнатных апартаментах на сутки, а можно и на часик-два. Желание клиента — закон для бизнеса. Заманчивое предложение молодого человека Надежду Михайловну оставило совершенно равнодушной, а это, вы сами знаете, что означает. Нет, нет и нет, боже нас упаси от таких контактов и контрактов. Это мысли не мои, а Нади, именно так она думала, когда пробивала на компостере разовый талон на поездку в электротранспорте. Вы сами свидетели, что девушка понемножку, не торопясь и думая, как птенец перьями, уже обрастала жизненным опытом.

Ювелир являл собою что-то совершенно древнее и маленькое, сродни сказочному гному. Борода и очки на крючковатом носу явно говорили нам о его высокой квалификации. Звали мастера, как он потом представился, Лев Иванович.

— Ну-с, милые мои, показывайте свой товарец, поглядим, пощупаем... Давненько я не брал... — на чистейшем русском языке заговорил гном, не поясняя, кого или что он уже давно не держал в руках.

Надюша перстень с пальчика загодя сняла, ибо Шеремет четко знала: сдавать бриллиант с руки — признак плохого тона. И потому, порывшись в сумочке, немножко затягивая время, чтобы успокоить расшатанные за последние дни нервы, она выложила драгоценность на маленький поднос, который заботливо подсунул девушке оценщик.

Лев Иванович, словно оправдывая данное при рождении имя, бросился на перстень, как изголодавшийся африканский лев на антилопу. Хорошо бы весь этот процесс просмотреть в замедленной съемке, вот бы было интересно! Он дул на камень, щупал, тер красной тряпицей, потом опять дул, одним словом, манипуляциям не было конца. Глаза горели неземным огнем, очки съехали на самый кончик носа, по лысому черепу пробегали волны морщин, отражая мыслительный процесс, уши шевелились,— в общем, было на что посмотреть, чему удивиться. Наблюдать за работой увлеченного человека всегда интересно.

— Хорош! Без единого пятнышка! — бормотал он. — Чистейшей воды! Несомненно, из Индии...

Надя в какой-то момент даже подумала, не сошел ли ювелир Лев Иванович с ума, но потом решила, если он до сих пор этого не сделал, то и сегодня такого не должно случиться. Опыта общения с душевнобольными людьми

у Надежды еще не было, Бог миловал. Но, как говорится: от тюрьмы да от сумы не зарекайся.

И еще отвлеку вас лишь на минутку. Один маститый писатель, обстановка крайне располагала, сказал мне такое, что мурашки по спине забегали. Передам слово в слово, как запомнил: «Чем больше живу, тем более убеждаюсь, что половина людей, населяющих земной шар, сумасшедшие. — А потом вообще меня ошарашил: — А среди пишущей братии, чистую правду сегодня тебе скажу, из трех два не того». Так оно, наверное, и есть, лауреату Госпремии надо верить. Ну, может быть, чуть-чуть сомневаться в сказанном... Ведь большие писатели всегда склонны к гротеску и преувеличению, я все-таки думаю, что указанный процент несколько завышен.

Но вернемся в ювелирную мастерскую, к любезному Льву Ивановичу. Пока мы с вами беседовали, мастер изучал алмазные грани через стекло огромной лупы. Вдруг повисшую тишину расколол похожий на раскат грома дикий хохот. Вот здесь уже Светлана Шеремет решила — старик от перенапряжения точно умом тронулся. Ведь бриллианты, свидетели тому записи очевидцев, способны сделать с людьми и не такое.

— Кто вам сказал, что это алмаз? Чушь! Обычная обманка. Ничего ценного. Металл пойдет как лом, так, на пудру-помаду должно хватить. Я сослепу решил — чудо-камень, карат десять минимум. Давненько со мной такого не случалось... Нюх стал терять. Да и где сегодня настоящие камушки упрятаны, где? — Не дождавшись точного ответа от растерявшихся девушек, гном продолжил свои воспоминания. — Помню, вызвали меня туда, куда надо. Гольштейна из треста столовых и ресторанов замели, так надо было с его камушками разобраться. И что вы думаете, мои птички, — так он обозвал двух нахохлившихся девушек, которые в момент вопроса вовсе не думали о руководителе упомянутого треста товарище Гольштейне, — в экспроприированных ценностях были шедевры, определенно были. Один алмазик, назовем его так, на целое состояние тянул — карат девяносто. Впечатляет? Не камень, а слеза ангела...

Прервать разговорчивого ювелира было непросто, вставить слово невозможно. Воспоминания лились рекой. Память у гнома была феноменальная.

— Обманка-с, милые мои, обманка-с. Но повода для грусти нет. Каждый ошибиться может... Ежели такой зубр, как я, первоначально сплоховал, то в вашем натуральном возрасте ошибки не только возможны, они прос-ти-тельны! — Последнее слово ювелир растянул, чтобы за этот мимолетный отрезок времени извлечь из цепкой памяти еще один удивительный факт. — Помните знаменитый алмаз «Павлиний глаз»? Так вот, по России три его фальшивых двойника гуляло. Три! Граф Бурцев...

Лев Иванович и дальше бы с удовольствием рассказывал свои занимательные байки, к старости многие становятся излишне болтливыми, ведь так хочется поделиться с окружающими пусть не нажитым добром, так хотя бы виденным и слышанным. Но Светлана сумела вклиниться в монолог: «Торопит молодость, ни секунды свободного времени... в общем, цейтнот». Девушки попрощались с гномом и, как говорил А. С. Пушкин, «вышли вон». А я, признаюсь, не прочь бы послушать умного человека, может быть, разговорившись, и выдал бы Лев Иванович Поцелуйко миру один из своих бережно хранимых в закромах мозга секретов быстрого и легкого обогащения. Но что не слышали, о том и рассказывать не станем.

Для Надежды все виденное и слышанное смешалось, обратившись в одну нескончаемую пытку. То алмаз, то не алмаз, то богатство, то нищета... Одни крайности, нет полутонов, полутеней нет... Доколе? Надюша, безо всякого

сомнения, сгущала краски. Про нищету работающему человеку рассуждать еще рано, насчет окраски ситуации — картинка тоже не совсем так выглядит. Быть не может, чтобы полутонов не было... Они есть, они в наличии, только человек, под влиянием обстоятельств, их наблюдать не желает. Я верю, что Надежда Михайловна, успокоив нервную систему рюмочкой ликера, есть початая бутылка в шкафчике на кухне, увидит окружающий мир в нужном ракурсе и правильной расцветке.

Но до квартиры надо было еще добраться, а сделать это порой непросто. Вот и сейчас, буквально минуту назад, все описываемые страсти-мордасти чуть не закончились трагедией. Выйдя из ювелирной мастерской, Надя, думая незнамо о чем, стала переходить улицу в неположенном месте и чуть не угодила под машину. Могу назвать даже ее марку — «Фольксваген Поло», дизельный вариант. И добавлю что знаю: вечером водитель вышеупомянутой немецкой автомашины, чуть не совершивший наезд на пешехода, с целью успокоения нервов выпил немного больше, чем обычно. Результат не заставил себя ждать: семейный скандал слышали соседи и сверху, и снизу. А всего-то было сказано одно неосторожное слово: «обманка», а негативные последствия множатся, как муха дрозофила в благоприятной среде агар-агара. Вот каким боком могут повернуться бриллиантовые страсти по отношению к простым труженикам.

Светлана Шеремет, как законопослушная гражданка, мешать дорожному движению не стала, а, перейдя по «зебре» проезжую часть, хотя и с трудом, но догнала подружку.

— Ну что ты, Надь... Все ерунда. Руки, ноги на месте? На месте. Причин для расстройства не наблюдается. Ведь так?

— Я что? Я ничего... — всхлипнула владелица уже не бриллиантового перстня. — Это все они... Лезут, лезут, как тараканы... Не человек им нужен, им алмазы подавай...

Шеремет посадила Надюшу в маршрутку, прощаясь, что-то шепнула ей на ушко, одним словом — успокоила. И с сознанием выполненного долга, ведь дело с бриллиантом уже закрыто и положено в архив на полку, застучала каблучками в сторону дома. Эти несколько суматошных дней для Светланы Шеремет тоже не прошли бесследно. Она слегка перетряхнула свой жизненный багаж, кое-что забраковала, а что-то, как хорошая хозяйка, протерла и поставила на видное место. Чтобы вещь всегда была под рукой.

События, которые в этот же, казалось бы, нескончаемый день, имели место в квартире за номером 77, владелицей которой значилась гражданка Н. М. Линова, интереса особого не представляют. А если хорошо подумать, то назвать наблюдаемое событиями можно лишь с большой натяжкой.

Надежда Михайловна, провернув ключом замок, вошла в комнату и села на диван. В каком-то непонятном оцепенении просидела она часа два или около того. А потом, очнувшись от летаргии и отбросив в сторону обрывки кусачих мыслей, занялась обязательными домашними делами. Легла она поздно, а перед сном читала сказки Андерсена. Легкие и добрые датские истории вносили в душу мажорную тональность, настраивали на позитив. Надежда всегда брала в руки эту книжку в преддверии принятия какого-либо важного решения. Тихонько шелестели страницы, словно отсчитывая убегавшие минутки, и вдруг створка окна распахнулась и в комнате запахло зимой, потянуло ледяным ветром. И Надя, она бы подтвердила это под присягой, явно услышала срывающийся мальчишеский голос: «Герда! Милая моя Герда! Где же это ты была так долго? Как здесь холодно, пустынно...»

Глава пятая

Пути распространения слухов неисповедимы. Как приятно бродить по парку, не правда ли? Решить и сделать — это не одно и то же.

Не понять, откуда просочилась информация о визите в ювелирную мастерскую, но «Пальмовый берег» уже вовсю перемывал кое-кому косточки. Хотя я точно знаю, Лев Иванович Поцелуйко ко всему этому никакого отношения не имел, он слыхом не слыхивал об этой заморской корпорации. Полевых цветов — ни васильков, ни ромашек, на рабочем столе Надежды Линовой не наблюдалось. Ксюха Роговая нарочито громко болтала по телефону, рассказывая кому-то о фальшивых алмазах и потерявших стыд и совесть фальшивомонетчиках. Без экстрасенсов ясно, в чей огород был брошен камень. Ни с того ни с сего позвонила Люся Захарова, представилась официально: мол, беспокоит секретарь главы корпорации... К 11.00 явиться в кабинет к господину Жуку. В конце добавила только одно: «Ну, ты и чудишь...»

Разговор состоялся нелицеприятный. В начальственном кабинете Надя никогда не была, да, собственно, что ей в этих громадных апартаментах делать? Между президентом корпорации «Пальмовый берег» и простым программистом нет прямой связи, между ними стоит целый ряд инстанций, которые населяют люди, составляющие так называемое промежуточное звено. Конечно, связь иного рода, какая иногда случается между мужчиной и женщиной быть могла, допускаем такую вероятность, но в нашем случае ничего подобного не наблюдалось.

Василий Яковлевич явно что-то недоговаривал, но и без того было ясно, что Линовой он крайне недоволен. Получалось, что как к специалисту, и более того, как к женщине, у него претензий не было и нет. Но это не значит, что их нет вообще.

— Зря вы, Линова, такими делами занимаетесь. Поверьте мне, зря. — Василий Яковлевич даже осуждающе поцокал языком. — Золото, камни фальшивые... Зачем вам все это надо? Зарплаты не хватает? Не поверю... Знаете, чем вся эта кутерьма алмазная пахнет? По глазам вижу, что знаете, — как-то уж больно по-отечески увещевал подчиненную директор. — Пятно легко на репутации поставить, а может, даже на биографию оно может трансполироваться, — сделал он далеко идущий прогноз, — а смыть его моющими средствами не получится, здесь, вполне возможно, кровь потребуется. Эх, молодость, молодость...

На этой полной трагизма фразе и закончилась экзекуция. Никак иначе эту беседу и назвать нельзя. Жительница деревушки Домреми Жанна д'Арк начала свой легендарный путь на белом коне во главе французского войска, а закончила на костре инквизиции в городе Руане. Остался от героини один пепел, да и тот недруги развеяли над рекой Сеной. Что мы наблюдаем? Взлет и падение отмеченного божьей искрой человека. Нечто подобное проглядывает и в судьбе Надежды Линовой, только явно масштаб мельче и события не такие глобальные.

Надежда Михайловна думала, как ей и посоветовал господин Жук, до конца рабочего дня. Она перебирала в уме дни последней недели, как перебирают четки, прикидывала так и сяк возможные варианты, но еще больше запутывалась в хитросплетении событий. Настырный художник Шолохов, плачущая рыбовод Горелова, инженер Миша Абакумов, рыжий маркетолог Литош, схожий с гномом ювелир Лев Иванович — все они, включая рыбу семейства карповых, чего-то от Надежды Михайловны хотели, чего-то доби-

вались. Если короче, то мешали ей спокойно жить и плодотворно работать. Цепь непонятных событий по рукам и ногам опутывала бедную девушку, лишала ее опоры, туманное будущее пугало, ибо там, в кисейном мраке, таились еще большие беды и напасти. Жить в таких условиях было невозможно, жизнь уже не казалась кошмаром, это было светопреставление. «Ну почему, почему она выбрала этого толстого... противного карпа? Почему? Взяла бы амура, и все бы пошло другой дорогой: все несчастья выпали на долю совсем тебе не знакомого человека». Так думала Надежда, но добрая душа все же вставила свое слово: «Таким образом, можно все заботы со своих плеч перевалить на чужие. Это будет не совсем правильно. Перстень нашла я, мне и выкручиваться». Надя решила и в дальнейшем действовать согласно совести, будь что будет. Добрые дела, пусть даже не воплощенные еще в жизнь, привносят внутреннее спокойствие. Ясная цель, опирающаяся на верно принятое решение, залог успеха.

Покинув «Пальмовый берег», Надя не воспользовалась общественным транспортом, а пошла в сторону городского парка культуры и отдыха. Интересно, что может молодая симпатичная девушка искать среди тенистых аллей? Отдыхать на лавочке, под сенью кленов и лип, конечно, приятно и полезно, если только не начнут приставать всякие нетрезвые личности... Тут уж не до жиру, быть бы живу... Краски слегка сгущены, но картинка, написанная даже разведенной акварелью на упомянутый сюжет, зачастую выглядит безобразно. Девушка и хулиган — это уже не отдых души и сердца, а нечто... А вот на второй вопрос: где в этом парке нашла себе пристанище культура, ответить не готовы? Подумаем вместе... Она, конечно, есть, как жить без культуры? Но почему упомянули ее отдельно от отдыха, через разделительный союз «и»? Заметьте, филологи знают, где какую буковку поставить, где убрать, чтобы все было тип-топ. Получается, что, овладевая культурой, человеку отдохнуть невозможно... Или, наоборот, предаваясь пассивному или активному отдыху, о культуре надо начисто забыть. Парадокс? Даже у меня голова кругом идет от этих девичьих неоперившихся мыслей...

Солнышко потихоньку катилось вниз по небосводу, день клонился к вечеру, а он, этот летний теплый вечерок, таил в себе массу приятных сердцу удовольствий. В парке было многолюдно: кружились карусели, чертили небо гигантские стрелы, мчались по горкам вагончики, набитые визжащим народом... Все вокруг, не теряя времени и особо не задумываясь о будущем, веселились как могли. И я, со своей стороны, одобряю такое поведение. Чего голову ломать, что там, за горизонтом поджидает нас на дороге жизни? До этой мифической черты, которая якобы разделяет земное и воздушное пространство, еще попробуй добраться... Жить надо сегодня, сейчас, сию минуту. Городские жители (согласно статистике: 65 % белорусов, 30 % русских, по одному проценту евреев, армян и др.) не были отягощены философскими выкладками древних греков («лови мгновенье», «пользуйся днем, меньше всего веря грядущему»), но, опираясь на врожденную интуицию и хитрость, согласно мудрым советам и проводили свой досуг. Нашему народу не откажешь в благоразумии.

А Надежде на этом празднике жизни было грустно. Очень грустно... Выгибающей спину дорожкой она вышла на набережную. По реке, под песню Михаила Танича «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду...» прогуливался в волнах белый пароходик. Вдоль парапета, лелея мечту о Золотой Рыбке, стояли с удочками рыбаки. Влюбленные парочки и даже другие — случайно встретившиеся молодые люди уже не стояли, сверля глазами уносимые течением поплавки, а прогуливались, созерцая велико-

лепную игру предзакатного солнца в диковинных, похожих на перья павлина облаках. По лестнице, убегающей вверх по крутому травянистому склону, Надя вышла к пешеходному мосту через речку. На противоположной стороне, вправо и влево от дамбы, служащей опорой мосту, желтые полосы песка были заполнены любителями пляжного отдыха. Народ сновал по мосту в обоих направлениях: кто-то уже накупался, а кто-то после рабочего дня только мечтал о такой целительной для тела и души процедуре. Левый берег, с пляжами и тянущейся за ними многокилометровой лесопарковой зоной, был низкий, пойменный. На правом крутом берегу блестели в лучах заходящего солнца купола маленькой старинной часовни. За нею, сквозь зелень деревьев, проглядывали белокаменные своды огромного Петропавловского собора. Из-за зеленого мысика, закрывающего вид на изгибающуюся вправо реку, трудяга буксир тащил огромную баржу, груженную песком. Надя не спеша дошла до середины моста, чуток постояла, с интересом наблюдая бегущую где-то там, далеко под ногами воду... Сердце учащенно билось: один шаг — и тебя, вернее, не тебя, живую, красивую и умную, а твое обезображенное маской смерти тело понесет вниз по течению быстрая река. Один шаг...

Итак, на середине моста стояла мучимая сомнениями девушка, ставшая нам за эти дни не только близкой, а можно даже сказать, родной. Схожесть мыслей, склонность к определенному образу жизни, общность в оценке добра и зла непременно способствуют сближению и дальнейшей дружбе. Надя, словно завороженная, смотрела на тихо струящуюся, окрашенную алой кровавой краской воду. Багряное солнце, умирая, скатывалось за горизонт. Рычащий от злости буксир уже проплыл значительное расстояние и вот-вот готов был нырнуть под фермы моста. Где-то вверху суетливо носилась, отчаянно крича, белая чайка.

Мысли Надежды Михайловны, момент стоит того, чтобы назвать девушку по имени отчеству, не только роились, как пчелы, весь драматизм состоял еще в том, что они кусались! А пчела — это вам не комар, от нее рукой не отмахнешься... Да, Надя делала все, что было в ее силах, она боролась, она старалась... «Хорошо, — сказала девушка себе, — давай сосчитаем плюсы и минусы, как учат знатоки: котлеты и мухи должны быть разделены». В плюсах оказался перстень, к сожалению, не выдержавший проверки на ценность, еще там значились невыясненные до конца отношения с Мишей Абакумовым, в том же списке оказалась и подруга — Света Шеремет вновь зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Вам мало? Добавим сюда же приобретенный жизненный опыт. Но вот кошмар: в минусы каким-то непостижимым образом просачивались, прокрадывались, проникали те же или то же.

Откуда ни возьмись по реке пробежал шквалик, рябя местами уже снулую воду. И Надя решилась... Только не надо попусту за нее волноваться, девушка была молода, симпатична, и главное, хотела жить. Она хотела жить спокойно и долго, по возможности, с милым сердцу человеком. Любить и быть любимой... Кто откажется от подобной перспективы? Идиотом надо быть, чтобы польститься на нечто другое... Конечно, девушка многого не понимала, чего-то не знала, но зарубите себе на носу — молодости, в отличие от старости, простительны огрехи. Время учит, а потому позволяет внести в жизнь требуемую корректировку. Надя, перейдя Рубикон дня рождения, стала не только на год старше, но и значительно умнее. Если вы в последнем слове сомневаетесь, то заменю его быстренько целой фразой: «Надежда стала серьезнее относиться к некоторым вещам». И вот сейчас, в данную минуту, решение в ее голове уже полностью созрело, оформилось и пересмотру не подлежало. Надя уже знала, что делать... Но как трудно порой сделать первый шаг, коего

решение ваше требует, как трудно... За каждым поступком стоит характер, а он не у всех смертных выкован из железа. Встречаются материалы и полегче, помягче... Потому часто человек поступает не так, как требуется или предписано, а как легче и проще, а порой и как душа пожелает.

Надя раскрыла сумочку, достала перстень, примерила его на мизинец, который он еще сегодня утром украшал, не зная ни горя, ни беды. Покрутила ладошкой так и этак — что ж, совсем неплохо смотрится, а потом сняла его и, размахнувшись, забросила далеко в речку. Сверкнув камушком напоследок, перстень описал в воздухе большую дугу и без прощальных слов ушел под воду. Что ж, с глаз долой — из сердца вон.

Надежда Михайловна, наша Наденька, совершив этот не совсем простой поступок, вздохнула, и в этом вздохе чувствовался уже не дух сожаления и неуверенности, а дух облегчения и свободы. А потом... Потом она извлекла из сумочки зеркальце, и хотя окрестности уже тонули в сумерках, она что надо в том волшебном зеркальце рассмотрела, поправила растрепавшиеся волосы и как человек, завершивший важное и ответственное дело, со спокойной душой пошла навстречу новой жизни. Ведь там, впереди, на неведомых дорогах, проселках и перекрестках, ее ждали еще сотни вопросов, но некоторые из них она намеревалась решить уже в самое ближайшее время.

На этом мы прощаемся с Надеждой. Упомяну только, ведь судьба девушки, я думаю, небезынтересна и вам, что гражданка Линова через некоторое время ответит коротким «да» на вопрос: «Согласны ли вы взять в мужья гражданина Абакумова?» И еще один интересный факт: не далее как 7 июля сего года, ровно в семь часов вечера, упомянутый инженер, с сумкой в руке и связкой книг у ног, стоял на коврике, звоня в квартиру номер семьдесят семь (цифра семь со всех сторон хорошее число). Эта картинка хорошо была видна через дверной глазок от соседей. Хочется верить, что данный брак будет удачным. Дай Бог...

Читатель вправе поинтересоваться, как сложилась дальнейшая жизнь граждан, что в качестве статистов мелькнули на страницах нашего рассказа. Где они сегодня обитают, чем занимаются и о чем мечтают? Так вот, как это ни удивительно, но каждый получил в жизни то, к чему так отчаянно стремился. Встреча с бриллиантом, пусть и ненастоящим, сказалась на судьбе каждого из наших знакомцев. Видимо, свойство непонятным образом усложнять жизнь присуще всем без исключения — как драгоценным, так и поделочным — камням.

Художник Вячеслав Константинович Шолохов оказался на самом деле не мастером живописи, а директором краеведческого музея в одном из райцентров области. Возглавлял он данное учреждение всего три года (данные комиссии министерства культуры), но — вот они чудеса наяву — за этот, совсем не продолжительный по вселенским меркам срок, он сумел полностью заменить выставочную экспозицию. Замены, конечно, необходимы, кто бы спорил, но то, что обнаружила упомянутая компетентная комиссия, повергло научных специалистов в состояние, близкое к шоку. Картины русских и советских художников, включая знаменитое полотно передвижника Ивана Шишкина «Полесье», черным по белому записано в следственном деле, были заменены на копии. И я уж добавлю от себя — неважного качества. С нумизматической коллекцией, включающей в себя раритеты времен Петра и Елизаветы, тоже произошло нечто странное — на месте вышеупомянутых редкостей оказались подделки, купленные на базаре в Киеве. Во всем музее, это уже утверждал следователь по фамилии Чучваго, ведущий это

дело, не осталось ни одной старой вещи, за исключением примуса «Рекорд» и томпакового самовара, подделать которые Шолохов не мог или просто не захотел. Итог плачевен... Вещи, как снег весной, испарились в окружающем пространстве.... Сам аферист, согласно статье 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь, был осужден на пять лет лишения свободы. И что интересно, находясь в колонии общего режима, заключенный Шолохов уже через год был зачислен в штат клуба на должность художника-оформителя. Растяжка с надписью «На свободу с чистой совестью», украшающая стену в столовой, выполнена его рукой.

Рыбовод Горелова, вы, конечно, не забыли нервную блондинку Марию Борисовну, тоже не избежала перемен на жизненном пути. Она изменилась, ведь все течет и меняется, но, к сожалению, далеко не в лучшую сторону. Стала какой-то грубой, заносчивой и чаще обычного позволяла себе недолив пива. В книге замечаний и предложений буфета при бане № 1 по улице Советской, 22 эти нарушения посетителями отмечены на прошнурованных страницах неоднократно. Но, не понять почему, руководство никаких карательных мер к нарушительнице правил торговли не принимает. О чем это говорит? Я человек прямой, потому скажу просто: «А черт его знает! Все они — одна шайка-лейка». Светлана Шеремет, близкая подружка нашей Надюши, в положенное время родила второго ребенка — чудную девочку, назвала малышку Анной и вплотную занялась ее воспитанием.

Зачем мы все это рассказываем? Так уж интересна читателю судьба этих ничем не примечательных людей? Но, может быть, вы что-то поймете, когда рассказ подойдет к концу, а сюжет к финалу. Читатель многого не знает, хотя порой, согласно природной смекалке, кое о чем догадывается. Автор просто обязан знать о своих героях если не всю подноготную, то почти... Обязан! У него, как и у известного вам корреспондента газеты «Ведомости» Владимира Червоного, тоже есть свои секреты, имеется и сеть доверенных лиц, делящихся нужной информацией. Как сказал мой хороший знакомый второму, менее знакомому: «Вы еще на свободе не потому, что ничего противоправного не совершили, а потому, что у нас еще по вашему вопросу не собрано достаточно компромата».

Глава шестая

Кое-что из жизни пресноводных рыб. Печатное слово — в массы.

Щука жила в реке, как утверждали старожилы, около пяти лет. Она удачно охотилась, правильно выбирала места для зимовки и нереста. В уме ей нельзя было отказать... Дважды на своем рыбьем веку она избавлялась от, казалось бы, верной смерти. В первый раз, уже почти у самого берега, ей удалось выплюнуть блесну и уйти, после чего напуганная до смерти рыба чуть ли не сутки отлеживалась в осоковой протоке. И уже весной этого года она чуть не попала в бредень к браконьерам, но вовремя среагировала — опыт накапливается с годами — и перепрыгнула через сеть.

Вот и сегодня, как обычно, щука вышла на охоту, но толку от этой затеи не наблюдалось. Голод не тетка, и если волка кормят ноги, то щуку хвост да плавники. Отчаявшись подкараулить добычу в заливе, среди кувшинок и водорослей, она решила сплавать в дальнюю протоку, где нагуливали жирок стайки мальков. Молодость опрометчива, потому, была уверена щука, в конце концов, вопрос с обедом решится положительно.

Тут прямо перед носом мелькнула золотистая рыбешка, челюсти сомкнулись, и перстень, знакомый вам перстень с белым камнем, оказался в желудке у хищницы. Что сказать? И на старуху бывает проруха. Но щука, не зная нашей истории и толком не понимая, что проглотила, чувствуя один только неуемный голод, поплыла дальше, больше доверяя инстинкту, чем разуму. Начнешь забивать голову разными мыслями, ляжешь спать на голодный желудок...

События, о которых мы вам рассказали, имели место быть в нашем городе несколько лет назад. Происходящее среди общественности не вызвало особого резонанса: все мы живые люди, потому что-то теряем, а что-то находим. Удача часто переменчива: то перстень с алмазом в руках, то обманка глаз слепит. «Найдешь — не радуйся, потеряешь — не плачь», — учит человека уму-разуму народная мудрость.

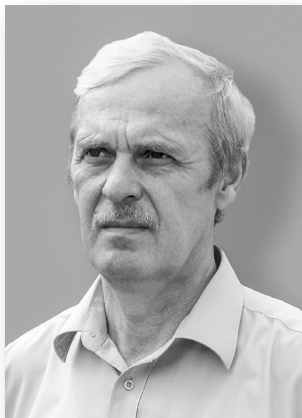
Чем обычно заполнена городская газета? Да так, вроде винегрета, всего понемножку: пару статеек о производстве, полосу надо и сельскому хозяйству отдать, читатель хочет знать, как там наши буренки живут-поживают, правильно ли себя ведут животноводы? Ведь мы понимаем, трудовую дисциплину народ порой нарушает, случается, потребляет на рабочем месте... Но давайте бросим камень в того, кто у нас без греха. Затрудняетесь с выбором? Тогда пойдем дальше: очень интересно обывателю узнать, как предприятия разной формы собственности выполняют план по производству или, что важнее, по сбыту продукции? Хороша городская газета «Ведомости», всем хороша. Ничего плохого нельзя сказать и о журналистах. Деловые, проворные, коня, может быть, на ходу уже не остановят, просто откажутся из принципа: пошел, мол, ваш конь вместе с вами куда предписано... Не то время, не то место... Зато интересную информацию хоть из-под земли на божий свет выроют, читателя не обидят. Вот и в последнем номере газеты неплохая подборка под рубрикой «Калейдоскоп». Хотя информация, так мне показалось, уж больно знакомая. Что-то подобное я уже где-то читал, или чудится мне? Не понять... А вам, возможно, она покажется и небезынтересной.

«Используя свой выходной день для активного отдыха, слесарь-сантехник объединения «Голд Тревел» Дмитрий Захаров на спиннинг, используя в качестве наживки воблер марки «титаник», поймал щуку весом более семи килограммов. Каково же было удивление удачливого рыбака, когда в желудке щуки сверкнул неповторимой палитрой золотой перстень, украшенный великолепным бриллиантом. И что удивительно, перстень в самый раз подошел на палец счастливцу. Интересно будет узнать, что слесарь Захаров выполняет свою дневную норму на 107—112 процентов».

Слегка настораживает тот факт, что, став обладателем бриллианта, слесарь Дима резко снизил трудовые показатели. Главный инженер объединения товарищ Цибульский в приватном разговоре на эту тему даже заметил: «Перстень-расперстень, это мы понимаем. Но почему воды второй день в туалете нет, этого я понять никак не могу. Чертовщина какая-то».

И еще напоследок скажу, положа руку на сердце: а щуку все-таки жаль. Жаль рыбу, могла бы еще в свое удовольствие пожить да повеселиться...





АЛЕСЬ ПИСАРИК

И слова заветные найду

Слово земляка

На стене тюремной нацарапал,
Написал поэт Михась Чарот:
«Паверце, я не вінаваты...»
Этой строчки завиток корявый,
Этот голос за сердце берет.

Совесть он оглохшую задел,
Как Христа кровавое паренье,
Разбудил ее и залетел
В душу моего стихотворенья.

К своему народу я приду,
Распрямив изломанные крылья,
И слова заветные найду,
Чтобы очи небеса открыли.

Выйду из туманов лжи и зла,
Позабуду о тоске и страхе —
С речью, что свободна и светла,
В белой, словно ландыши, рубахе...

Возвращение с войны

Была б твоя двадцатая весна...
Такое солнце!
Так бездонна высь,
Так безмятежна...
Слышишь, как она
Всей бездной неба крикнула:
«Вернись!»
Повеял ветер. Остудил слезу.
Глухое небо.
Мертвая прохлада.
...Твою медаль
На память ей везу.
А ей тебя,
Тебя — живого — надо.

Любовь не слышит, в чем ее вина...
Пласты земли
Теплом тебя укрыли.
Была б твоя двадцатая весна,
Но не взлетишь ты в синеву
На крыльях...

Пока враждой
Земные дышат дали,
Возить нам эти
Тяжкие медали.

Перевод с белорусского Риммы КАЗАКОВОЙ.

Сестра Хатыни

Леониду Реутскому

Певучая деревня Березянка*
Красавицами славилась окрест.
Сейчас о ней
Осталось лишь сказанье —
Нет больше там
Ни песен, ни невест.

Следы от хат
Травой позарастали,
В кустах вздыхает ветер тяжело.
Он помнит всех,
Чьи песни там звучали,
Чей плач на небо
Пламя унесло.

В дрожащем свете лет,
Как черный сколок,
Был тот рассвет,
Сровнявший все огнем...
Со всех фронтов
Десятки похоронок
Искали деревеньку ту потом.

Шуршали у невидимых дверей,
Но их не ждал
Плач вдов и матерей.
Рыдала тишина...
Та тишина
Мне и поныне
В снах моих слышна...

Перевод с белорусского Ивана БУРСОВА.

---

* Деревня в Пуховичском районе, одна из многочисленных деревень Беларуси, разделивших участь Хатыни.

* * *

Слово крепло и силу вбирало.
Эту силу давала земля.
«Не добра — доброты в мире мало», —
Говорила так мама моя.

Доля — долей!
Душа б не дремала!
Ты с любовью да с верой живи!
Век жестокий,
всего ему мало:
Слез и горя — стоит на крови!

Перевод с белорусского Елены СВЕЧНИКОВОЙ.

* * *

Малые детки — малые бедки,
Вырастут — в клочья порвут!
Помнится боль деревенской соседки...
Матери в горе не врут.

Замужем дочь,
Подрастает и внучек —
Ангел-хранитель семьи,
С радостью детские книжки читает,
Слушает песни мои.

Он не такой, как родители.
Лучше!
Слаще румянец щеки!
И улыбается он, словно лучик
Солнца с Господней руки...

Мишка!
Мишутка!
Почти медвежонок!
Сколько в глазенках тепла!
Ласковы маки несмелых ручонок,
Речь задушевно мила...

Вишен от бабушек полные горсти...
Сказочно небо вдали...
Папа и мама — они словно гости,
Что-то купили, ушли.

Взрослые дети за пазухой носят
Горечи давних обид,
С милых старушечек
Жалостью спросят
Так, что в глазах зарябит!

Дети умнее родителей стали,
Сами в тревогах до пят.
Где бы душою они ни страдали —
Матери ночью не спят.

Время нужду забывать.
А невзгоды —
В наших умах и руках...
Сколько же нужно любви и свободы
Тем, кто парит в облаках?

С юмором на устах

У поэтов женушки —
Лучше в мире нет.
Сказочные Золушки
Вдохновенных лет.

Женушки,
как солнышки,
Коль стихи не врут,
Музами в книжонушки
Некогда войдут...

И чем дальше женушки —
Звонче боль строки:
Золотые зернышки
У такой тоски!

* * *

Разлука — сердец утешенье.
Любовь занята ворожбой,
И если не просит прощенья —
Смирись с непокорной судьбой.

Найди в себе силы поверить,
Что песня любви —
не одна.
Кому свои чувства доверить —
Подскажут стихи и весна...





ЛАРИСА КАЛУЖЕНИНА

Последняя командировка

Повесть

Алекс

Мой дед, граф Константин Шереметьев, был назначен в Минск советником по культуре французского посольства в декабре 1992 года. В нашем МИДе эту должность обычно занимают не карьерные дипломаты, а, как дед, люди науки. Он лингвист и антрополог, окончил кучу всяких заведений: Сорбонну, Высшую школу социальных наук и Школу восточных языков, знает их, наверное, целую дюжину, при том, что его мать, а моя прабабка Анна Керстен, была наполовину шведкой и в семье по-шведски говорили. Так что дед кроме восточных языков, русского и французского знал, конечно, и этот язык, и еще английский, итальянский и немецкий. А когда служил в Греции, это была его первая командировка, женился на моей бабке Лулу и освоил еще и новогреческий. На древнегреческом языке он еще в коллеже писал стихи, а на латыни даже сочинил поэму, что-то в духе Расина, но она в семье не сохранилась.

О русских моих предках рода Шереметьевых можно было бы много порассказать, хотя к моменту моего рождения в начале 80-х семейная хроника уже перешла в область преданий, почти мифов, иногда и трагических, если учесть, какие там, в России, события развернулись после 17-го года. Говорилось, например, об одной из моих прабабок-графинь, что ее загрызли волки. Дело было на севере России в 20-х годах, в страшной пустынной местности. Она возвращалась с почты в каком-то городке в ту деревню, куда ее выслали из Петербурга. По пути на нее напала волчья стая и загрызла насмерть. А про другую я слышал, что муж ее погиб в Гражданскую войну, но она также не пожелала эмигрировать, и ее выслали в область под названием *Ка-зах-стан*, где она вскоре умерла от голода. Две ее дочери, четырех и шести лет, так и потерялись где-то.

А вот Коста, так я зову моего деда, родился уже во Франции в семье эмигрантов. Он не отрекся от своих корней, которыми так гордился в ранней юности, но, по его же выражению, стал заядлым космополитом. Сознательно воспитал в себе космополитизм и при этом морщился, добавляя что-то про «нерациональность этих русских». Но стоило только моему отцу, американцу из Бостона, начать костерить Советы, как он упорно называл такую далекую и загадочную для меня, ребенка, страну где-то на востоке, как дед сразу же раздувался, как гусь, и так же, совсем по-птичьи, горделиво вскинув подбородок, что-то шипел ему в ответ. Что, я не понимал, но ту пропасть, которая разделяет их, таких дорогих мне людей, даже ребенком ощущал очень сильно.

Родители мои развелись в 91-м, когда мне было десять лет. Я был полнее сверстников, и дед укорял мою мать Катрин моей полнотой, потому что она вечно таскала меня на руках, и Лулу тоже. Лет до трех меня вообще редко спу-

скали на землю, без конца пичкали сладостями, особенно финиками, которые я любил до самозабвения. Наворачиваю их охотно и теперь, хотя не с такой страстью, но это уже не играет особой роли. Годам к семнадцати я сделался плотным, широкоплечим крепышом, таким же остаюсь и сейчас, когда мне больше тридцати. Лулу как-то сравнила меня со стариной Роденом, на что Коста только фыркнул в ответ и улыбнулся, но так, про себя, не очень-то свою иронию выпячивая. Сказалась старая дипломатическая закалка, а может, он просто не захотел спорить с Лулу, ведь она давно не его жена, дед с ней в застарелом разводе. Был женат на Моник, француженке, и у меня есть тетка, Жанна Симон, на год моложе меня. Но когда в декабре 92-го года Коста очутился в Минске, он уже давно жил один. Вообще-то вначале его собирались послать в Нью-Йорк в одну из комиссий ООН, но потом всплыл какой-то Киев. Развалился огромный Советский Союз, и открылось сразу много дипвакансий в новых странах. В конце концов он попал в Беларусь, в Минск. Думаю, деда подвело легкомыслие и отчасти снобизм, из-за чего, кстати, он никогда не ладил с моим отцом. Дед считал его банальным богачом и придурком, который ни одного языка, кроме своего техасского, не знает и знать никогда не будет. И какое ему было дело до того, что отец живет на Восточном побережье, не в Техасе, а в Бостоне.

А тогда Коста отбыл в совершенно незнакомую страну и засел там на несколько лет. И вот представьте себе картину. Начало декабря. Какие-то пяти- и девятиэтажные коробки. Снег метет вдоль набережной какой-то речки, ветер завывает сквозь щели в окнах гостиницы. Гостиница над рекой, этажей двадцать, считается лучшей в городе, а сквозь щели дует и завывает. На обед подают какую-то жирную, дурно зажаренную свинину и рядом на тарелке жуткий обрубок, соленый огурец — овощи на гарнир. Хорошо, что дед не отравился, но поначалу сильно похудел, а потом, наоборот, стал полнеть. Со временем он перезнакомился с кучей народа, он же экстраверт, общительный до невозможности. Но все та же свинина, всюду и везде, и чарка водки. Именно так, водки. Сорок градусов. И никакого вина.

И теперь представьте: долгие годы дед просидел в Стамбуле. Старинный центр франкофонной культуры. Пьер Лоти и все такое. Хорошая кухня, французские рестораны, много образованных по-европейски людей — турецкая элита. Теплое море. Почти Прованс! И вдруг этот холодный кошмар, холодный во всех смыслах. Лулу говорила, что когда он приехал в свой первый отпуск (с Лулу они общаются всю жизнь, главным образом, я думаю, из-за меня), то она только ахнула. Усы топорщатся, похудел и говорит, что все неимоверно. Неимоверно! Да! Но отступать некуда. Ему пятьдесят семь, и любая карьера имеет свой финал. Но чтобы такой! О-ля-ля! И самое плохое — они живут в каком-то придуманном, нереальном мире. Полное отсутствие рационализма, совсем как у русских эмигрантов в Париже. Словом, то, с чем он боролся в себе всю жизнь. Растят картошку на своих участках за городом и ходят в лес за грибами и ягодами, как древние славяне. И во всем виновата Европа, в смысле, в их бедности. И неблагодарность. И подозрительность. А как часто его просто пытаются использовать для своих мелких делишек.

В то время эти события меня задевали мало. Я был молчун и, по выражению Коста, *увалень*, рос вещью в себе. Летом обычно гостил то у отца в Штатах, то в Греции, где у Коста и Лулу, не как в Париже, просто квартиры, а целый особняк на полуострове. Они его, правда, при разводе поделили, но он такой огромный, что внизу, в холле, можно по-настоящему гонять в футбол. Греческий язык мне никогда особо не нравился, я на нем так тол-

ком и не заговорил. Зато по-английски могу болтать с друзьями целыми часами, люблю американское кино и все такое. Дед всегда сокрушался, что мне больше нравилась математика, а не языки, и я не стал дипломатом, как Жанна Симон, как он сам. Тетка моя после Сорбонны тоже подалась в МИД. Отправилась в Центральную Африку. И как не страшно! Все эти гады ползучие, и говорят, обезьяны там жутко наглые, только что не изобьют, стоит только зазеваться. А у меня строительный бизнес, и говорят, что я трудоголик. То есть, что это скорее психическое состояние, чем любовь к труду. Не знаю. Не люблю копаться в таких вещах. Отец мной доволен, для меня это многое значит. Живу в собственных апартаментах, и не где-то на окраине, а в 16-м аррондисмане, но это только начало. Точно знаю: у меня будет свой дом. Именно так. Свой дом у парка Монсо, в районе Курсель. Любимый мой квартал, самое лучшее на свете место.

Катрин

Отец всегда был от меня далек-далек. Мы все зовем его просто — Коста. А ведь он граф, настоящий русский граф из рода Шереметьевых, Константин Петрович, ваше сиятельство. Так странно, ведь и я по идее — графиня, но расскажи я об этом в моем кружке, тем ребятам, с которыми мы дружили еще в лицее, все бы только пожали плечами. Никого не интересовали такие вещи, ни прошлое, ни будущее, мы жили настоящим. Помню, у нас была девчонка, мы звали ее Бетти, хотя официально она была Беатрис, но кто станет выговаривать такую напыщенность, правда? Так вот она первая вышла замуж, сразу после лицея, и это меня потрясло. Потому что па и Лулу, вернее, больше все-таки па, чем Лулу, сразу после лицея отправили меня на факультет философии в Сорбонну, где я пропыхтела по инерции несколько семестров, пока не сообразила, что проживаю чью-то чужую жизнь. Но была так старательна, так аккуратна в свои восемнадцать лет, так хотела нравиться всем. Отцу тоже, разумеется. Но больше всего своим сверстникам, потому что все-таки не была француженкой, а русской, гречанкой, шведкой, да кем хотите, у моих предков богатое прошлое, что ни говори. Я же всегда хотела быть своей в нашем кружке, в лицее, в университете, везде, но, увы, никогда до конца ею не была. Но это, знаете, на каком-то другом, подсознательном уровне, мои ощущения. Ведь внешне ничего заметно не было. Мы, французы, никакие не шовинисты, как о нас говорят. Мы просто любим свою страну, гордимся ею. И любое сравнение с другими хромает. Мы — это мы.

А Чарльз-Шарло, он так отчаянно катил тогда на своем съемном мопеде по авеню Фош, высматривая меня в безумном автомобильном потоке и то обгонял мой мини-рено, то скользил рядом, если позволяло движение. Я еще подумала: ну что за тип, явно иностранец, и рыжий. А он и был американец из Бостона, и уж для него-то я была стопроцентной француженкой, настоящей парижанкой. Стоял конец мая, каштаны давно отцвели, и была жуткая жара в тот год. Мы без конца ели мороженое, пили ледяные коктейли в каких-то барах, о которых я раньше и не подозревала, что они существуют, и катались на русских горках в пригороде, да, на русских горках, с ума сойти! Он был одет почти как клошар, дырка в левом кармане джинсов, и если туда попадала мелочь, она обязательно вываливалась на мостовую. Мы смеялись. Боже, сколько же мы смеялись с ним в тот май, просто заливались от хохота! Где-нибудь в кино, на самом патетическом

месте, вдруг оба прыскали со смеху. На месте публики я бы нас просто избила, честное слово.

Отец был с Моник в Стамбуле, Лулу укатила в Грецию. Она всегда укатывала на родину в летнее время. Говорила, что на полуострове совсем не такая несносная жара, как в Париже. Короче, я оставалась одна, и наша с ней квартира была в полном моем распоряжении. Хотя я уже заказала билет до Афин на начало июня, но не стала его выкупать, и можно сказать, что весь тот безумный месяц мы прожили с Шарло, как два ангела, лишь изредка опускаясь на землю с четвертого этажа, парили, ни о чем не задумываясь, не рассуждая, пока, наконец, я не очнулась в аэропорту: вот его самолет, он выруливает на взлетную полосу, сейчас взлетит. Все. Конец. Быстро вернулась домой, сложила вещи и улетела в Грецию к Лулу, где через несколько недель поняла, что жду ребенка. Меня не тошнило, а кожа сделалась такой белой, почти прозрачной. Лулу спросила меня, не собираюсь ли я сообщить о беременности будущему отцу ребенка. Но я была вялая, как рыба, почти все время проводила в гамаке на террасе, мне было все равно. Тогда она сама позвонила в Бостон, и оказалось, что отец Шарло богат как Крез. Шарло не желал со мной расставаться, и они дружно назначили свадьбу на сентябрь.

С Коста мы увиделись накануне родов. Па потрепал меня по щеке и сказал, что все будет хорошо, он все уладит и к весне я смогу вернуться на факультет. Но как же он ошибся, бедный па! Пока Алексу не исполнилось три года, я жила в Бостоне. Там и узнала, что у меня родилась сестра Жанна Симон, на двадцать лет моложе меня, и это меня повеселило. Потому что особого веселья в Америке не было. Потом я какое-то время жила в Руане, со вторым мужем. Всего их у меня было четыре, а Пино, моя последняя любовь, он, собственно, не муж, а скорее добрый друг. Живет в Террачине, это с полсотни километров к югу от Рима, недалеко от побережья. Мы болтаем по скайпу часами, но видимся нечасто. У Пино когда-то был бизнес в России, парфюмерия «Пупа» и другая косметика, которую он поставлял. В 70-е годы русские покупали много разных товаров на нефтедоллары, из Италии, Франции, но больше всего из Финляндии, кажется, и Пино рассказывал, люди давились за ними в магазинах, стояли в очередях часами. Он тогда неплохо заработал на поставках, но сейчас у него ревматизм, он говорит: эти русские зимы, с ума сойти! Его брюзжание меня веселит. Он очень мил, Пино. Когда осенью я приезжаю в Италию, мы валяемся в специальных кабинках на пляже, где можно загорать чуть не круглый год, загораем, пьем вино, и нам хорошо вместе.

Алекс, мой сын, меня радует. Спокойный, рассудительный мальчик и хороший бизнесмен. У него настоящее дело, не какая-нибудь мелочевка, как у многих его сверстников. Правда, он много работает, я бы даже сказала, слишком много. По этому поводу у нас идет постоянная война. Но боевые действия скрыты. Мы не кричим, не выясняем отношений, и уж точно в минуту гнева не уничтожаем все, что попадет под руку, включая портреты близких людей, как это любил делать мой первый муж, а его отец, будто не соображая, что это не просто изображения на полотне, а еще и дорогие вещи, вложение капитала. Такая бездна денег и уходит в пустоту! Нет, мы не воюем, скорее, ведем беседы. Не торопясь и чаще по сотовому. В сотовом он у меня под номером один. Лулу номер два. А па... У па никогда не было номера, пока он жил в этой глуши, в Минске, так, кажется? Я правильно произношу? Скверная тогда получилась история. Но как любит повторять моя мать, Коста словно создан для скверных историй. Это судьба.

Коста

Я говорил им: самая большая ваша беда в том, что у вас нет правильного понятия о *сути* вещей. Гостеприимство вовсе не кусок сала на столе, а культура — не только посещение филармонии или чтение книг. Культура должна быть созидательной, а не созерцательной только, не потребительской. Это, в первую очередь, атмосфера повседневной жизни, ее красота. Но о какой красоте может идти речь, если большинство живет на сотню долларов в месяц. Жизнь там, во Франции, здесь — выживание.

Часто, особенно в первые месяцы в Минске, я ощущал себя заложником чьих-то чужих политических амбиций. Я был в отчаянии, не находил себе места, метался. Внешне это проявлялось в том, что я, всегда такой открытый любому общению, замкнулся. Мне было сложно удержаться от негодования, даже раздражения. Все было ужасно. Решительно все.

Иногда ночью, просыпаясь в своем неуютном, бессмысленно-казенном номере отеля, спрашивал себя: зачем? Зачем я, ученый-лингвист, этнограф, антрополог, нахожусь в этой незнакомой стране, которой исполнилось чуть больше года. И этот ребенок, это грудное существо уже несет на себе (неизбывно!) следы прошлого, грубую, несмываемую печать того государства, которое мой дорогой зять именовал презрительно «советами», произнося это слово всегда по-русски, хотя и с жутким своим акцентом.

Так прошло полтора года. Подспудно вызревали некоторые решения. Я обратил внимание, что точные науки здесь пребывают на довольно высоком уровне. Оттого, пояснили мне, что в СССР лучшие умы были сосредоточены в секторе обороны, то есть в военной сфере. Математика, химия, ядерная физика преподавались неплохо, но что касается гуманитарных наук, здесь все было донельзя запущено. Научный коммунизм — странный, не до конца понятный мне предмет, вдалбливался в головы студентов на протяжении всех пяти лет обучения с невероятным упорством. Мы во Франции, еще в XVIII веке за четыре года насытились революцией, свергли Робеспьера и вернулись к нормальной жизни. Здесь же последние 70 лет люди жили в атмосфере, немыслимой для свободного человека, успокаивая себя тем, что политика не их дело. Я понял, что понадобится несколько поколений, прежде чем что-то изменится. А пока вокруг все только и твердили о том, что нужен порядок и твердая рука. И в этом было мое главное разочарование в себе, своей наивности. Во Франции мы привыкли считать славян узниками, которым нужна свобода, что они только и мечтают вырваться из тотального режима. Как мы заблуждались!

К счастью, я всегда отдавал себе отчет в том, что сила жизненного водоворота — величина неизвестная, и противостоять ей можно только избегая глубокого погружения в действительность. Я не привык углубляться в проблемы, во все эти разводы, рождения, смерти, даже в собственные болезни, всегда сглаживал их, обыгрывая слишком грустные или веселые моменты. В ранней молодости, когда душа моя еще была проста, я решил для себя, что должен быть *безупречен*. Как ни странно, даже впоследствии это неплохо сочеталось с эпохой глобального эгоизма и глобального сомнения в существовании Творца, с чем я постоянно сталкивался повсюду: в Европе, на Ближнем Востоке и в других странах, не говоря уже о Штатах с их вечным житейским шоу. Всемирное компьютерное безумие, доминирование низовой культуры, бесконечные локальные войны, падения валютных курсов, нефтяные конфликты, торговые конфликты, религиозные конфликты... Безумие современного мира всегда казалось мне слишком банальным, чтобы придавать ему хоть какое-то значение. Да, пришло время, когда, по определению Гете, люди перестанут

радовать Бога, но к моему существованию, и более того, к моему «я», это никак не относилось.

И вот здесь, на этой древней земле славян, всех этих *полян, древлян* и *ятвягов*, земле, так обильно, так глубоко пропитанной кровью сотен поколений в бесчисленных войнах, я впервые перестал понимать, что со мной происходит. Так я совершил свою первую грубую ошибку, чего никогда не сделал бы раньше.

Где-то через год после приезда в Минск, благодаря нескольким никак не связанным между собой обстоятельствам, я очутился в Хатыни. Сопровождавшая нашу группу дипломатов из разных посольств (всего-то человек шесть-семь) гид-переводчик старательно и очень, как бы сказать, проникновенно, хотя и на казенном английском, поведала нам о том, что Хатынь — один общий мемориал для всех 628 сожженных немцами во время Второй мировой войны белорусских деревень. Оккупационные войска сжигали их обитателей поголовно: мужчин, женщин, детей, всех. В стране, которую они поспешили переименовать в Белорутению, погиб каждый третий ее житель.

— Здесь, в Хатыни, — рассказывала она, — их просто загнали в самый большой сарай и подожгли. В других местах людей загоняли в церкви, в школы и сжигали там заживо. И бесчисленное количество военнопленных, уничтоженных на этой самой западной, а значит, приграничной земле, где в первые месяцы в окружение попадали даже не полки, а целые армии, и где военнопленным не оказывали никакой помощи, они поголовно гибли от голода, холода, ран и болезней. Гибли целые армии невоюющих, безоружных людей!

Я был сильно смущен, почти раздавлен обилием и ужасом информации, и если бы не замечание гида о том, что в Хатыни плакал даже сам Никсон, совсем бы расхворался: меня бил озноб, я чувствовал себя бесконечно усталым.

— Как! — почти выкрикнул я, — как это для вас мерилом ценности восприятия служит мнение какого-то проходного американского политика? Как это возможно?!

Нет, я не понимал этих людей и решил, что никогда не пойму их. Но я знал, что могу сделать хоть что-то для утверждения благородства, для преодоления пошлости хотя бы в молодом поколении белорусов. Воспитать их настоящими полноправными европейцами, чего они были достойны. Так возникла идея Гуманитарной Академии, где я создал факультет политико-административных наук. Идея носилась в воздухе и не мне одному принадлежала. Но от того, что плод оказался созревшим, дело стало быстро продвигаться вперед. Мы получили финансовую поддержку во Франции, полное одобрение местных властей и принялись за работу.

Как правы древние: никто не заходит так далеко, как тот, кто не знает, куда идет.

Тьерри

Конечно, он был во многом виноват сам. Но мне всегда казалось, что никто из людей не виноват ни в чем, или, если угодно, все виноваты во всем, ведь, в конце концов, все определяет чувство ответственности.

Мы встретились с Коста через несколько лет после его приезда в Минск. Я был назначен в Беларусь, куда прибыл прямиком из Монреаля. К тому времени наше посольство уже переехало из гостиницы в собственный *особняк*, как здесь именуют такого рода строения, и у нас появился отличный повар, месье Кшиштоф Р. Бывший эмигрант, он сбежал от режима Ярузельского

во Францию. Инженер-электронщик через несколько лет упорного труда, возможно, даже неожиданно для самого себя, стал лучшим шефом в парижском «Хилтоне». Но по капризу судьбы, пройдя натурализацию и получив гражданство, снова оказался в Варшаве, уже как шеф-повар посольства Франции, а оттуда был переведен в Беларусь.

К середине 90-х годов бананы и другие тропические фрукты уже перестали удивлять здешних покупателей. Посольство также снабжалось фруктами в изобилии. Получали мы и хорошее мясо, и отличные молочные продукты. Особенно меня восхищала здешняя *ряженка*. Правда, рыба была сплошь охлажденная или замороженная, живую рыбу представлял один только карп, чересчур, на мой взгляд, жирный.

Коста много времени проводил в Академии, где я стал его главным помощником. По вечерам мы иногда засиживались допоздна — четвертьвековая разница в возрасте не помешала нам стать если и не близкими друзьями, то, по крайней мере, союзниками, людьми, которые смотрят в одну сторону, работают в унисон.

Наталья, или *Таша*, как ее называл Коста, крайне редко и неохотно посещала наши вечера, за все время раза четыре-пять, не больше, всегда оставляя за собой шлейф недосказанности, глубокого молчания. Я шутливо укорял Коста, что он совсем как турецкий султан, держит девушку взаперти в своем серале, подальше от чужих глаз, запрещает сторонней публике любоваться ею, ее красотой и незаурядностью. Хотя нет, не это определяло ее суть. Она была *гармонична*. Да, пожалуй, так. И умна.

Коста познакомился с ней на моих глазах, на приеме в одном из посольств, теперь уже не вспомню, в каком именно, но помню месяц — август. Посольские приемы тех лет... Несколько аскетичные, немного забавные, но живые, без привычного налета устоявшихся банальностей. Такие, как, скажем, в Бразилии, где чинное жужжание толпы может быть неожиданно прервано какой-нибудь местной звездой самбы, которая после второго коктейля вдруг выйдет на середину зала и без микрофона, акапелла, исполнит что-нибудь горяченькое, да так, что все станут притопывать в такт и послушно повиливать бедрами.

Наметанным глазом я сразу различил в толпе российского посла, довольно помятого господина из ельцинской команды, капризно отказывающегося от огромного разрезанного арбуза и требующего непременно чаю, а его здесь не было и в помине. И рядом с ним — настойчивый господин, лысоватый, с толстым брюшком, взявший в оборот английского посла, мисс Элен Берджес. О мадемуазель Элен! Наш с Коста постоянный объект для шуточек.

— Говорят, — граф был совершенно серьезен, и только мелкие чертики искрились в глубине глаз, — мадемуазель из Абердина, где после окончания университета трудилась в местном казино в качестве *крупье*?

— Дефицит кадров в Форин Офис? — подхватывал я.

— Нет, она не промах. Только боюсь, экономит на одежде. Не удивлюсь, если узнаю, что это полосатое безобразие куплено на уличной барахолке в Сити.

— О нет! В Сити иногда можно открыть что-нибудь стоящее.

— Тогда откуда?

— Скорее всего, из Парижа, от марокканцев.

— Да, верно. Как я не догадался. Конечно из Парижа, от марокканцев.

И все в таком же духе...

Посланник далекой азиатской страны, маленький, лимонно-желтый господин из страны, ворочающей миллиардами на финансовой оси Токио—Сингапур—Нью-Йорк—Лондон, о чем-то тихо беседует с девушкой, которую

я вижу поначалу в профиль. Но вот она и вовсе повернулась ко мне спиной, и я вижу ее волосы. Огромную пепельную роскошь длинных, ниспадающих волос, струящихся и прекрасных. У меня захватывает дух, и я жду, когда она снова повернется ко мне лицом. Но беседа их длится и длится. Тогда я делаю хитрый обходной маневр, перемещаюсь с бокалом шампанского на другую половину зала, пытаясь разглядеть ее лицо. Мне мешают. Люди с бокалами то и дело закрывают ее, будто уводят, прячут от меня. И тогда, наплевав на все правила, я прямо, без представления, подхожу к ним и здороваюсь возможно более непринужденным тоном. Оба замирают на какую-то секунду, но все же улыбаются мне в ответ. Улыбка дальневосточного посланника напоминает глубокий разрез на плотной, желто-резиновой маске. Но мне плевать. Я вижу *ее* улыбку. Она под стать волосам, очаровательна. Нет, просто прекрасна. И певучий, ровный голос журчит, как ручеек. Сама женственность стоит предо мной, сама совершенная женственность.

В том мире, где я родился и живу, в мире пошатнувшихся устоев и даже освященных традиций, не говоря уже об обычаях, настоящее было и остается в цене. Но теперь этот мир сразу набрасывается на него, как Гаргантюа на жирного гуся, тиражирует и уничтожает, обгладывая до последней косточки не только шкурки, даже перьев не оставляя, и тут же принимается за поиск чего-то нового. Неважно, если это не заканчивается смертью объекта de facto, а какой-нибудь сотой ролью в кино, или сотой пластинкой с песенкой, которую распевают на всех континентах, или очередным, каким по счету, не знает порой и сам автор, бестселлером.

Но Таша не была ни актрисой, ни певицей, ни вообще кем-то из богемы. Она работала в местной Торговой палате. Случайно оказалась на приеме, посланная сюда кем-то из своих руководителей, не пожелавшим тратить августовский вечер на официальное мероприятие.

Я замечаю, Коста смотрит на нас, стоя почти рядом. Все тот же настойчивый толстяк, как оказалось, микробиолог из Академии наук, мучает уже его, без конца восклицая по-русски: «Нет, вы представьте себе! Я проехал на машине всю Европу, и меня ни разу не остановил ни один полицейский! А что творится здесь?!»

— Может, стоит просто лучше научиться вождению именно у себя на родине? — вяло отбивается от него Коста. Но я понимаю, что он весь сосредоточен на нашей группе и наконец подходит к нам. Этот миг, когда впервые пересекаются их с Натальей взгляды... Я помню его и сегодня. Нет, я не любитель накопления чувственных впечатлений, здесь было совсем другое. Я оказался случайным свидетелем взлета двух человеческих душ, движения их друг ко другу, отчего ощутил себя сразу и совершенно ненужным, посторонним, но почему-то и совершенно счастливым человеком.

Коста

Тьерри, мой помощник, прочел мне лекцию о шпаргалках. Он сказал, что недопустимо закрывать глаза на то, что из группы в пятнадцать человек половина, сдавая экзамены, воспользовалась хитро сработанными шпаргалками, это чудовищный обман. Во-вторых, недоучившийся специалист обманет общество. «Ведь вы же объяснили им, профессор, что государство строится постепенно и что люди несут ответственность за все, что в нем происходит, за плохое и хорошее, иначе государство не сможет существовать и будет рано или поздно разрушено. Этих людей необходимо исключить. Они занимают

чужие места». Словом, бил меня моим же оружием. Но я никого не хотел исключать. Третий курс. Три года, потраченных впустую. «Надо быть терпеливым, — убеждал я его. — Тьерри, старина, ведь, в конце концов, они еще дети и видели только слом старого, разорение и упадок. Так легко воспитать послушного робота, который, не протестуя, подчиняется любому приказу. Насколько же сложнее воспитать свободную разумную личность, которая умеет владеть собой. Ты примешь у них экзамены осенью, только и всего. Надеюсь, на этот раз они просто струсят и не принесут на экзамен вот это», — в руках у меня была дивная *гармошка*, как это здесь, оказывается, называют. Сложенные аккуратнейшим образом длинные полоски бумаги, заполненные бисерным почерком. Тьерри улыбнулся, но было понятно, что он недоволен, и между нами возникло что-то более глубокое, чем просто непонимание.

Быть может, в другое время, в других обстоятельствах, я бы поддержал его. Но во мне уже зрел протест, отторжение того непонятного чувства вины, которое я наблюдал здесь у многих, в том числе у Натальи, и которое вольно или невольно заражало и меня. Шутя, я как-то припомнил ей одну из старых голливудских картин, где героиня успокаивает рыдающую подругу: «Ты что, русская, чтобы так убиваться?» И мы посмеялись оба. Но это был грустный смех. Да, тонкость ее восприятия не могла не завораживать. И я, словно путник с завязанными глазами, следовал за ней повсюду, насколько позволяли приличие, моя и ее работа. Та самая роскошь здешней природы, которая тронула даже мисс Берджес, пропевшей целую оду здешней «lovely countryside», открылась мне именно глазами Таша. Иногда мы выбирались подальше от Минска, километров за триста. И однажды на севере, у озера увидели журавля.

— Давай подползем к нему поближе, — прошептала она и, опустившись на землю, легко, по-пластунски поползла к нему. Где-то я уже видел это, в каком-то советском фильме, так же, по-пластунски перемещались солдаты под носом у противника. Но, как дурак, опустился на землю и пополз по мокрому лугу. Мы подобрались совсем близко к нему и затаили дыхание. Он стоял на одной ноге, огромный, белый журавль, великолепная, спокойная птица. Мы наблюдали за ним, затаив дыхание, боясь вспугнуть. В промокших куртках, безнадежно испачканных соком трав и мокрой землей. А он все стоял, не улетая, но вдруг, размахнувшись огромными, мощными крыльями, взлетел и стал подниматься к небу, выше и выше, к облакам, солнцу, и скрылся, наконец, за лесом.

Наталья

Как будто я была сиротой. Его не интересовали ни мои родные, ни друзья, никто. Он никогда не расспрашивал меня о семье, а о том, что моей дочери пошел пятый год, узнал случайно, когда в разговоре я обмолвилась о детском празднике, который на Рождество мы, родители, организовали в детском саду.

— Bien, bien, — пробурчал он, — а моему дорогому внуку недавно исполнилось девятнадцать. И он любит математику. А вот я, боюсь, скоро совсем ее разлюблю. Хотя раньше...

Раньше была Лулу, миниатюрная гречанка. С необычайной гордостью он показывал мне ее портрет: «Талия всего 53 сантиметра. Похожа на Бриджит, тот же типаж, только брюнетка и, как видишь, более самобытна».

Почти тридцать лет разницы в возрасте между нами. Он искоса мерил меня взглядом в ожидании ответной реакции. Но меня математика не заде-

вала. Через три десятка лет, быть может, и я откопаю свою свадебную фотографию и вспомню своего мужа. Такой ненужный, поспешный, студенческий брак. Торжество двух самолюбий. Но Марина, моя морская девочка, моя жемчужинка, она-то настоящая! Совершенно особенный человечек, который учит меня радоваться, переживать, просто любить. Учит меня жить. Чувство вины перед ней. Хорошо, что она еще слишком мала и никогда не видела Коста.

У родителей дом в Сморгони. Отец русский, бывший военный. Мама здешняя, белоруска, или как мы смеемся, белорусская полька. На западе страны много таких. Моя бабушка православная, а молилась всегда по-польски. Но думаю, это не интересно Коста. Он занят только мной. Его интересую только я и никто больше. Так он говорит, всегда подчеркивая мою обособленность, отдельность от окружающего. О его второй жене Моник я узнаю только в Париже.

Алекс

Дед окончательно вернулся в Париж, когда я окончил университет и болтался у отца в Бостоне без всяких занятий. Но, в конце концов, от безделья устаешь больше, чем от работы, и когда Шарло предложил мне совместный бизнес, я очень обрадовался. Работать в представительстве их компании во Франции — считаю, мне здорово повезло с самого начала. Не каждому дается такой блестящий стартовый шанс. Винтовые анкерные сваи, десятки других строительных конструкций, многие из которых оригинальные, запатентованные изобретения. Полсотни лицензий, дочерние компании и фирмы в Старом и Новом Свете, что и говорить, Америка всегда умела строить, ее опыт востребован везде.

Я редко стал бывать у Лулу и почти не видел Коста в первые месяцы своей работы. В тот год мои мысли сосредоточились именно на ней, и только в августе, когда все дружно стали уходить в отпуск и Париж привычно опустел, не город праздных зевак — туристов, которые тучами бродят по Монмартру и вообще по центру в любое время года, а Париж настоящий, мой город, где я родился и живу, короче говоря, только в августе я, наконец, вспомнил о стариках и позвонил Лулу. Но она еще не вернулась из Греции. Зато деда в городе застал, и он что-то неразборчиво пробурчал мне по телефону, что, я так и не понял, и честно скажу, когда подходил к его дому, мне было как-то не по себе. Какие-то странные мысли одолевали, какая-то неясная тревога, и она давила.

Деда я не узнал. Это был тот же Коста, только на сто лет моложе. У него даже искры сыпались из глаз, честное слово. Он лучился, как солнечный свет, но меня встретил прохладно: проходи, садись, что будешь пить, и все такое. В квартире не было особых изменений, как всегда, старинная мебель, горы книг повсюду, на рабочем столе куча бумаг. Мы немного поговорили о моей работе, и я стал прощаться. Он не возражал, не удерживал меня, и я удалился немного обескураженный, а вечером позвонил Жанне Симон. Тетка моя тоже вернулась во Францию, по правде говоря, просто удрала из Африки до срока. С Моник я никогда не имел общих дел, честно сказать, с трудом ее выносил. Но Жанна Симон, она всего на год моложе меня, моя тетушка, с ней мы всегда дружили. Договорились встретиться в бистро на углу их дома.

У нее на лице была какая-то сыпь, она сказала, это от плохой воды. Воды там нет совсем. Местные приходили в посольство за обычной питьевой

водой! И заплакала. Это было ужасно, я стал ее утешать. Я сказал: «Давай посидим, закажем столик у «Максима». Я тебя приглашаю». Но Жанна Симон, надо же ее знать, она все сразу разложила по полочкам. Во-первых, в Париже это уже не самое пафосное место для ужина (и тут же назвала самое пафосное), во-вторых, у нее нет подходящего платья, багаж еще не прибыл. А в-третьих, она проходит курс реабилитации. И в-пятых, и в-десятых... Я вздохнул: «Ну при чем здесь какое-то платье и чертова реабилитация! Просто посидим, поболтаем, расслабимся». Но потом взглянул на нее и понял: нет, она точно будет заканчивать эту свою медицинскую канитель, и уговаривать ее бесполезно. Мы еще выпили по чашке кофе и разбежались. Она бросила в конце небрежно: «Знаешь, Коста влюбился в русскую, и она скоро будет здесь. Моник говорит: «Через мой труп он получит свободу. То есть пусть я вначале умру, тогда он на ней женится в мэрии». И ушла. До меня не сразу дошло, о чем она мне рассказала. Я только подумал тогда совсем тупо: а Лулу? Знает ли об этом Лулу? Почему я так подумал, и сам не знаю. Ведь дед с ней, как я уже говорил, в застарелом разводе.

Моник

Насчет того, что я злоупотребляю виски, это неправда. Это придумал Коста. В конце концов, в Фекаме, откуда я родом, виски никогда не были в почете, или это их бесконечное красное южное вино. Мы любим сидр, об этом все знают. Я с детства видела огромные емкости с бродящим яблочным соком, а однажды в детстве даже зачерпнула втихую из бочки, и меня никто не застукал. Я отпила, точнее, попробовала отпить, но стало так противно! Сок еще не перебродил, я выплюнула его в песок. Голова потом немного покружилась, ведь я была еще совсем крохой, лет пяти, не больше.

В Париже я танцевала. У нас в кордебалете все говорили: ну и щечки у Моник, как два спелых яблочка, а не толстуха. Просто такая здоровенькая, глазастенькая. Как картинка.

Коста — величайшее несчастье моей жизни. Когда мы сошлись, ему было под сорок, и он заворожил меня своим уровнем. Никогда еще я не водилась с таким начитанным, образованным человеком. Я слушала, слушала его часами, бесконечно. А он, мерзавец, мне потом заявил, что нас столкнула... не хочу произносить вслух, ну да ладно, падшие ангелы столкнули в самое смутное время его жизни. Вот она, изюмина. Он думал всегда только о себе. И даже о себе — с иронией. И поэтому я говорю: Коста — величайшее несчастье моей жизни. И всегда им останется. Да! Жанна Симон, она умница, очень организованная, целеустремленная. Но иногда я ловлю ее взгляд. Она смотрит на меня... как бы это объяснить, она как бы сочувствует мне. Нет, не так. Она смотрит, как смотрят на низшее существо, любимое, дорогое, а все-таки не ее круга. Это тяжело. Это даже не передать словами, просто тяжело и все тут. Глаза у нее, как у Коста. Глазки. А у меня до сих пор — глазищи. Красивые. Я несчастлива, да, да, да, несчастлива. Конечно, давно не танцую. Только разве во сне иногда ощущаю такую легкость. Парю над сценой в розовой пачке, как фламинго, и никак не могу приземлиться. Просто оттолкнусь и парю в танце.

У меня небольшой бутик бижутерии на рю Жорж Берже. Доход в основном от туристов. Мне хватает. Но я несчастливая, нет, нет, нет, я не счастлива. Нет!

Жанна Симон

Хотя я и не знала наверняка, увижу ее или нет. Слышала, что она уже в Париже. Коста поселил ее то ли в районе Исси, то ли даже Медона, в каком-то пансионе. К тому времени, как я получила от него приглашение на вечер, сыпь моя уже прошла, и я с радостью согласилась прийти, к тому же хотелось пообщаться с новой его пассией. Меня разбирало любопытство и негодование. В ту субботу, как я ожидала, у отца соберутся пара-тройка старых университетских приятелей или кто-нибудь из министерства. Из-за частых и длительных командировок Коста общаются они урывками, но дружат с юности и дружбе не изменяют.

Мне вдруг пришла в голову замечательная мысль. Я обошла не одну кондитерскую, прежде чем нашла его: восхитительно плебейский тортище, огромный, как колесо, и такой неуклюжий, в коробке с дурацким бантом. Довольная, я потащила его с собой на третий этаж.

Мадемуазель была красива. Отец познакомил нас, мы уселись на софу и начали болтать, будто расстались только вчера. Французский, как я понимаю, она стала учить недавно, и временами ей просто не хватало запаса слов. Тогда она с легкостью переходила на английский, даже не спрашивая, знаю ли я этот язык. И честно скажу, ее английский был гораздо лучше моего. Так мы сидели, продолжая болтать. По виду она была лет на пять старше меня (на шесть лет и восемь месяцев, как оказалось), но это было совсем незаметно. Париж ее восхищал. Но только архитектура. Она говорила: вот целые кварталы прекрасных домов. Целые улицы великолепных зданий. Тысячи, тысячи их, и как они хороши! И площади. И мосты. Но ничего не говорила о *людях*. Будто и не было их. И честное слово, в ее рассказе мумии египетских фараонов из Лувра были самыми живыми из всего увиденного. По крайней мере, мне так показалось. Так она говорила. И никого не было в тот вечер, кроме нас троих, Коста никого больше не пригласил.

Он не участвовал в нашей беседе. Стоял, отвернувшись лицом к эркеру, у него в гостиной замечательный эркер. Был конец сентября. На улице сыро, хотя и тепло, но окна были закрыты. Так он стоял спиной к нам обеим какое-то время, молча глядя на бульвар, а потом, повернувшись, скомандовал мне: помоги с чаем. Я полетела на кухню. Включила чайник, потом возвратилась из кухни с тортом и поставила его на переносной столик. Посередине. Открыла коробку и посмотрела на них. На лицах обоих я прочла мгновенное замешательство. Оба молчали. И вдруг Коста захохотал. Так расхохотался! А после приказал: «Ну, вот и отрежь себе самый большой кусок. Вот с этим цветком». А цветы и вправду были ядовитых оттенков, препротивные. И не дожидаясь, взял нож и отрезал такой кусище, что он не поместился у меня на тарелке, завис с краю. А отец смотрел на меня и улыбался самой приторной из своих профессиональных улыбочек, но все равно такой обаятельной! Как иногда восклицала Моник, заламывая руки: «Ну что я в нем нашла? Ну, усы, улыбка, ну, monsieur le comte, ну и что?!» Но я думаю, просто мой отец был настоящий гурман, без фальши, природный. Наслаждался красотой во всех ее проявлениях. Любил гармонию во всем, и в женщинах особенно. Не знаю, была ли такой его новая русская подружка, но Моник, бедняга, точно не была. А с этой русской Натали мы больше никогда не встречались.

И еще со временем я поняла, насколько все мы связаны между собой. Каждый наш поступок, даже малый, отражается на окружающих, не только в рамках одной семьи или даже страны, а всего огромного мира. Не раство-

ряется в пространстве, а накапливается и суммируется. Добавляет в него дисгармонию или наоборот — красоту и добро. Именно так.

Раздался звонок. Коста удивился, но пошел открывать. У него несколько раз в неделю убирала венгерка, она же и готовила еду. Но была суббота, у венгерки выходной, и он не ожидал никого. А пришла Моник. Как она очутилась у двери Коста, минуя домофон, — ее секрет. Влетела, уселась в кресло. Закурила. Уставилась на Натали. Курила, молча рассматривая ее. Потом перевела взгляд на столик, увидела торт и как захохочет: «Я тоже хочу, отрежьте и мне кусочек!» Я отрезала, и она принялась уплетать его за обе щеки, даже причмокнула разок. А мы вдвоем молчали. Ну и Моник молча ела торт. Потом поднялась и пошла в переднюю. Коста проводил ее до входной двери и быстро вернулся. Уверена — они не сказали друг другу ни словечка. Коста вернулся и сказал, указывая на меня, по-французски: «Жанна Симон, моя дочь. А это была Моник, ее мать и моя жена». И повторил то же самое по-русски. Так я думаю, потому что по-русски знаю всего несколько фраз. Но уверена, он то же самое повторил по-русски. Тут я стала прощаться и пошла в переднюю. Коста не удерживал меня, даже не проводил. Я сама открыла дверь, спустилась вниз. Когда проходила через вестибюль, вдруг так захотелось нажать на кнопку домофона, сказать отцу что-нибудь. Хотя бы два слова. Но что? Я не знала. Ничего толкового не приходило в голову. Хотя можно было сказать: «Па! Я так тебя люблю! И всегда любила, всегда!» Но, конечно, я ничего не сказала и вышла на улицу под дождь.

Тьерри

После отъезда Коста я еще два года оставался в Минске. Факультет разгромили. Точнее, весь университет пал смертью героя в борьбе с политической оппозицией внутри страны, ну и в вечном противостоянии Запада с Востоком. Его перенесли потом куда-то. В Варшаву? Прагу? Меня это уже нисколько не интересовало. Я просто дорабатывал срок своей командировки, занимаясь текущими делами. Знал ли об этом Коста? Разумеется, и там, в Париже, по-видимому, пытался что-то предпринять. Но, казалось, само Провидение было против нас, и все развалилось.

Я наблюдал: они строят *свое* государство. Выстраивают систему права, законодательной, исполнительной власти. Как знают, как умеют. Большинство нации — неплохие работники, трудятся усердно. И это приносит свои плоды. Ведь новые экономики никто особо не ждал. Международное разделение труда, борьба за поделенные рынки, мировая конкуренция. Конечно, им бы туго пришлось. Но как оказалось, белорусы неплохие хозяйственники, краха не произошло, на что многие рассчитывали.

— Ну что же, — сказал я себе, — в конце концов, это *их* земля, и они имеют право жить на ней как хотят. Я же всего сторонний наблюдатель и за все время не очень-то озаботился пониманием сущности нации, ее сердца, мыслей, нервов. Или просто не захотел? Но это уже не имело значения. Мне было скучно. Боже! Какими бесконечно долгими показались мне последние два года в Минске, бесконечно однообразными, томительно серыми. Столько событий происходило в Беларуси, в сопредельных странах, а я изнывал от скуки. Так что возвращение во Францию стало настоящим отдохновением.

Была ранняя весна, холодная, поздняя в том году. А я шел по бульварам под порывами ветра, в бесконечном потоке машин, как ребенок, радуясь красоте окружающих красок, еще по-зимнему четких, холодных, слушал обрыв-

ки фраз, радуясь голосам прохожих, даже запаху бензина. И окончательно пришел в себя, возвратившись в Монпелье, где решил провести отпуск и где уже вовсю бушевало весеннее безумие неба, цвели первые крокусы и светило яркое солнце, которое как будто никогда и не заходит здесь. Мой юг! Моя родина!

В Париже я ненадолго встретился с Коста. Внешне он изменился мало. Немного сутулее стала спина, но и только. Он уже не служил в МИДе, командировка в Минск оказалась последней. Писал книгу. Я увидел огромное количество исправленных страниц, иногда торопливо перечеркнутых, даже надорванных. И как всегда, газеты и журналы, книги. Множество книг. Но ни компьютера, ни даже пишущей машинки. Он писал от руки.

— Los imbeciles, — сказал мне. — И там, и здесь. Я рад, что разделался с ними со всеми.

Он собирался в Грецию после того, как закончит рукопись. Там было спокойнее, и может, добавил, Греция излечит меня от ненависти. И он, кажется, помирился с первой женой. Кажется, так. О Таша ни он, ни я не упомянули ни словом. Я не сказал ему о том, что мы виделись с ней — единственный раз — за неделю до моего отъезда.

Наталья

Неожиданный звонок Тьерри меня удивил. Но и он был удивлен не меньше моего:

— У вас сохранился старый номер телефона? В нашем мире мимолетностей, где, кажется, тронь один кирпичик, и все здание обрушится в бездну? Вот это сюрприз!

Нет, это не была злая ирония, просто он выглядел, да и был, очень усталым. — Последний уикенд в Минске, — заявил, — жена еще полгода назад уехала во Францию, а я, как галерный раб, был прикован к своему сиденью. И вот они, последние два свободных дня. Где мы их проведем?

Странно. Мы так долго не виделись, да и раньше общались мало, но встретились, словно старые друзья после долгой разлуки, и не могли наговориться.

Я уже не работала в Торговой палате. После бегства из Парижа — до срока, сломя голову, — просто не могла жить по-старому. Уволилась и несколько месяцев искала работу. Если бы не мои старики, пришлось бы совсем туго. Жила как-то однобоко, запретив себе любые воспоминания. Неожиданно всплыло место в частной фирме. По зарплате даже не сравнить с госслужбой. Только с дочкой мы теперь общались в основном по выходным, столько приходилось вкалывать. И когда в субботу, после звонка Тьерри, мы встретились с ним в кафе, я, хотя и была увлечена разговором, очень скоро стала поглядывать на часы, а после честно призналась:

— Не хочу оставлять дочку надолго одну, мы и так среди недели почти не видимся.

Тьерри замолчал, потер переносицу — любимый жест — и вдруг сказал:

— А давайте втроем съездим куда-нибудь за город. Есть же здесь интересные места?

И тогда я предложила отправиться в Сморгонь.

— Там живут мои родные, там я училась в школе, прожила первые семнадцать лет.

— Сморгонь? — он слегка скривился. — И чем же она интересна? Я о ней даже не слышал никогда, хотя живу у вас не первый год.

А меня не надо долго упрашивать. Еще в старших классах летом подрабатывала экскурсоводом. Через нас на Минск тогда проезжала тьма интуристов, и я водила экскурсии, поэтому торжественно начала:

— Шестого декабря 1812 года именно в Сморгони, за неделю до выхода французской армии из пределов Российской империи, Наполеон Бонапарт в сопровождении Коленкура, Дюрана, Лобо и польского офицера Вансовича, бросив на произвол судьбы последние 35 тысяч человек, оставшиеся после почти 500-тысячной армии, сел в сани и отбыл в Париж. Спустя четыре месяца он уже шел из Франции во главе новых корпусов на усмирение восставшей Европы. Но впереди был Лейпциг... и Ватерлоо.

Тьерри снова потер переносицу. Посмотрел на меня, улыбнулся. И мы отправились.

Тьерри

Город был небольшой, но странно разбросанный и ужасно скучный. Как объяснила мне Таша, с 1914 по 1917 год здесь проходила линия фронта и от прежнего города не осталось ничего, все было стерто с лица земли непрерывными обстрелами артиллерии, только остов полуразрушенного костела виднелся среди руин. Родители ее жили в частном доме. Здесь было множество таких деревянных домишек с лужайками перед входом. Сейчас там белели остатки мокрого снега, было сыро и неуютно. Мы побродили по уцелевшему старому парку, зашли в заново отстроенный костел. Несколько пожилых женщин сидели в углу на скамьях, по-видимому, ожидая начала службы. Делать было решительно нечего.

«Что же, достойное завершение всего, — подумал я. — Может быть, для нее жизнь городка и была наполнена своим смыслом, но что делать здесь мне?» И вспомнил, как когда-то давно, совсем юнцом, прилетел к дальним родственникам в Монреаль и так же бесцельно слонялся по городу, и в конце концов, от одиночества, неприкаянности, в одной из забегаловок единственный раз в жизни надрался так, что провел ночь в полиции. Просто не мог вспомнить ни адреса, где остановился, ничего. Да еще и подрался с кем-то. Тоже весьма странный поступок для парня из приличной семьи, у которого дед и вовсе — барон, из рода Фонсколомб.

— На месте Наполеона, я бы тоже побыстрее удрал отсюда, — сказал я Таша.

Она провожала меня до гостиницы. Мы зашли в ресторан внизу — я пригласил ее на ужин. Скользнув взглядом по меню, она отложила его в сторону:

— Боюсь, вам не понравится. Но других ресторанов нет. Есть еще несколько кафе, но... — И добавила с каким-то окончательным отчаянием: — Может, поужинаем у родителей? Мама вкусно готовит.

«До чего же все-таки безответственный народ», — подумал я. Но ее вид, такой разочарованный и виноватый, ее неизменная красота и обаяние заставили меня только молча кивнуть. Да и что это меняло.

Дядя Жора

Крестница моя, Наташка, кинулась ко мне со всех ног: «Дядя Жора! Заходите!» Захожу. Спрашиваю как обычно: «Драку заказывали?» Никто не улыбается, сидят как засватанные, гоняют по тарелкам сопливые грибы. И среди

них замечаю: иностранец. И сразу видно: принципиальный. Ну, ладно. Сажусь. У них суп, котлеты и... все. Даже сразу не понял. Говорю: «Матвеевна, чем гостя угощаешь?!» Сидит, краснеет, молчит. Матвеевна наша местная интеллигенция. Преподает английский язык в школе. Палыч соответственно физику и рисование. С Палычем мы служили во флоте. Белорусов всегда было много на линкоре «Минск», из них вообще моряки хорошие получаются, даром, что живут без морей. Но тогда и служба была — ого! Служба! После вернулись оба в Сморгонь. Я сам из-под Рязани, но увязался за Палычем, приехали в его родные места. Отстроились, завели хозяйство. Дети уже вон какие, уже и внуки. По субботам Ирка меня к ним отпускает спокойно.

Во-первых, я мужик с понятием. Это ей крупно повезло. Те, которые без понятия, пьют, как перед концом света. Во-вторых, я же никогда не пьянею. В-третьих, уже скоро и выпить не с кем будет. У Палыча гастрит и остеохондроз. Но тут вижу: сидят, как засватанные, и собираются чай пить. Я возмутился про себя, а вслух сказал: «Айн момент». Сбегал домой (это через дом), поставил на стол, говорю: «Битте!» Матвеевна делает страшные глаза, но рюмки ставит. Я разливаю, и тут гость (он оказывается французом) возвышает голос: «Вас ист дас?» По-русски, конечно, спрашивает. Хотя говорит плохо, но все-таки понять можно: «Это водка? Я водку не пью». Отвечаю: «Обижаете, геноссе. Чистейший самогон высшей очистки. Из картофеля». Он не понимает: «Кальвадос?» Я говорю: «За встречу!» Выпиваем все. У него глаза на лоб. Я сразу наливаю вторую: «Запейте, лучше пойдет!» Пьет послушно, но тут же начинает икать. Сидит, икает, бедняга. Ик да ик. Никак не остановится. Даю ему по спине разок. У меня вес 110 кэгэ и рост. Но я легонько так хлопнул. Икать перестает. Закусываем. Опять суп горячий, опять котлеты. Ест с аппетитом. Я снова наливаю, и тут входит Ирина Ивановна, собственной персоной. Вижу, злая как змея. Зырк на стол — все замечает моментально. Боцман! Но потом видит француза и начинает стесняться. Садимся. Опять все выпиваем. Закусываем. Настраиваюсь на душевную беседу. И тут Ирка моя, она в прошлом зав. швейным ателье, а теперь сидит на участке, двадцать соток, его же и обработать надо, но в модах до сих пор разбирается. Короче, тут она неожиданно бросает гостю обвинение:

— Не пойму, — говорит, — хоть убейте. Это еще при Брежневе было. Приезжает ваш президент к нам из Парижа. Его в аэропорту детки с цветами встречают. Так он потом в интервью заявляет: на девочках были колготки *не в тон* пальтишкам... Ну, вы можете себе представить?! Чтобы мужик, ну, то есть, мужчина, такое заявил? В голове не укладывается!

Наташка что-то французу переводит, смягчает, наверное. Хорошая девчонка, не везет ей только с мужиками. А этот гость, ничего, головой качает. Я смотрю, он не простой, не хилый, он жилистый такой. Сидит — уи, уи. Я Ирку осаживаю взглядом, Матвеевна нам чайку наливает, мы сидим, пьем, и чай тоже, и прекрасно общаемся. Запеваем. «Славное море священный Байкал». «Черное море мое». «Касіў Ясь канюшыну». И так далее. Но француз голову клонит, клонит, на ходу засыпает. Потом — бац. Отключается. Мы его укладываем, честь по чести. А сами еще сидим. Я тост предлагаю: за маршала, за славного нашего полководца Жукова. Выпиваем. Ну и напоследок Палыч поднимает чарку за дружбу и взаимопонимание между народами. Ирка морщится, но пьет, и все чокаются, пьют, жаль, француз в отключке, не слышит.

На другой день ведем его с Палычем в мою баньку. Парим, веничком отбиваем. Не сопротивляется. «Зер гуд, — говорит, — карашо и спасибо». Мы с Палычем опохмеляемся, но ему не даем. Он за рулем, а путь не близкий. После пообедали. Простились душевно. Смотрю, он сидит за столом, рот

до ушей, аж светится, такой умытый, довольный. Все вспоминал про какой-то Монреаль, смеялся. Но это нам без разницы, что там за Монреаль. Главное, человеку в Сморгони хорошо. Это ж сразу видно.

Наталья

Маринка проспала всю дорогу до Минска у меня на коленях. Мы с ней были на заднем сиденье, но я видела, как Тьерри посматривал на нас время от времени и улыбался. И уже высадив обеих у нашего подъезда, вдруг подхватил дочку на руки, расцеловал, а потом сгреб в охапку и меня, и так сильно сжал в объятиях, что только косточки хрустнули. Пошел к машине, не оглядываясь, сел и уехал.

Алекс

Книга Коста прошла незамеченной. Правда, для него удар оказался смягчен тем, что он продолжал сидеть в Греции, на полуострове, в своем особняке. Они его опять с Лулу объединили, и ба сказала мне по телефону, что Коста купается в море, хотя уже конец октября, но он упрямый, говорит, ему это на пользу.

В Париже даже его старинные друзья как-то кривились, говоря о книге: совсем на него не похоже. Что за мораль в наш век, какой такой клептокапитализм, несчастные молодые нации на востоке Европы, кому это надо? Так что провалилась книга закономерно. Просто оказалась *никому* не нужна, хотя дед и утверждал в предисловии, что на свете всегда будет существовать гармония для тех, кто ее *достоин*. И о своей родословной написал, о графе Борисе Петровиче Шереметьеве, том самом, что привез знаменитую икону Богоматери из Модены в Москву. Шереметьевы и Петр I. И весь XIX век, какие они были щедрые благотворители, храбрые воины. «Но смешно, — писал, — кичиться своим происхождением. Мы же не породистые скаковые лошади, мы люди. Высота рода скорее огромная ответственность и должна выражаться не во внешнем, а во внутреннем благородстве, и сколь часто мы встречаем совсем простых, на первый взгляд, людей, высокородных в истинном смысле слова. О революции большевиков тоже написал, и много еще о чем, 500 страниц, вот это объем! Я, признаюсь, и половины не осилил.

А потом он заболел воспалением легких, перекупался, и если бы не Лулу, точно бы умер.

Я выбрался в Грецию только на Рождество. И как-то так получилось в тот год, все у него собрались: и Жанна Симон, моя мать Катрин, ну и конечно, Лулу, как всегда, рядом и на посту. Дед страшно исхудал, вся одежда на нем болталась, но он ничего не хотел слышать ни о каких одеждах, ходил в старье. Женщины совещались вместе, что делать, со всем соглашается, но *ничего* не желает, *ничем* не интересуется. Даже ест машинально, и то, когда заставляют. Совсем как ребенок, и такой же беззащитный. Целыми днями сидит молча с газетой на коленях. Конечно, ничего не читает. Газета просто так, на коленях и все. Ясно же, что депрессуха, но как ее лечить? Не таблетками же, в самом деле. Ведь он их терпеть не может.

— Он мне сказал, — Лулу заламывала руки, — что если еще хотя бы *один* доктор переступит порог дома, я его больше никогда не увижу. Он просто исчезнет, и все на этом. Даже вещички собирать не станет. Отправится куда

глаза глядят. Но ведь это же верная смерть! Он не хочет жить и меня втягивает в эту воронку, как в пропасть!

И они все шептались, плакали и не знали, что предпринять. Да, невесело было у нас в доме, что и говорить. А вокруг кипело Рождество. В Греции его так здорово отмечают. Все веселые, жарят на вертелах мясо, какие-то гирлянды на улицах, гуляния, в церквах торжественные службы.

Раньше у нас на полуострове церковь тоже была, но уже который год стояла заброшенная, никто туда не ходил. А тут появился новый священник, здание подновили, подкрасили, и на праздник все сбежались посмотреть: интересно же! Лулу тоже была, сказала, молилась о Коста, чтобы он поправился.

Перед отъездом Жанна Симон всех нас удивила. Рассказала, что оставила МИД и сейчас проходит какие-то курсы медсестер, а потом снова уедет в Африку, но уже от движения «Врачи без границ». Едут с двумя испанками из Сарагосы. Познакомились по Интернету. Кто кого в это дело втравил, я так и не понял. Просила не говорить Моник, а то беднягу хватит удар. Как-нибудь сама потом осторожно расскажет. Но никто не собирался Моник что-то рассказывать. В конце концов, это *их* семейное дело. А Коста в том его положении было глубоко плевать, на Африку в том числе.

Коста

Нет, я больше не хочу участвовать в вашей суете. Вся моя жизнь, все последние пятнадцать лет, вдруг предстали передо мной единой цепью закономерных, последовательных событий, так что дух захватывало от этой закономерности. Я был слеп. Я был глух. Но меня вели. Упорно. Ненавязчиво. Сострадательно. К чему? И показалось: вот-вот, сию минуту я узнаю это, схвачу *это*, я *удержу*! Но что?

И я уехал из Парижа. Город вдруг перестал быть *моим*. И что мне было за дело до того, чем останется это место для большинства в наступившем веке — большим музеем, огромным кабаре или вовсе парком развлечений? И это при всей рассудочности, рациональности парижан, французов в целом.

Диоген в бочке, бочка — его вселенная, и он ее гражданин. Но что стало с моим миром? Что такое теперь был *мой* мир?

Когда из души уходит все возвышенное, в ней назревает глухая тревога. Прежде, когда я стоял на земле обеими ногами, не думал о том, насколько хрупкой может оказаться ее поверхность. А она стала проваливаться прямо на глазах. Я стал зависать в невесомом пространстве, стал умирать постепенно.

Земля Греции. Ее воды. Они не захотели поглотить меня, всякий раз выбрасывали на берег. Я стал уплывать далеко. Думал о ней. Стал думать о Таша постоянно. Не знаю, слышала ли Лулу мои мысли, умела ли их разгадать?

О книге не думал вовсе. Был уверен, ее еще прочтут. Еще сделают бестселлером. Препротивное словцо, правда? Хотя... Размышлять всерьез о печатном произведении в век, когда любая информация может быть бесконечно размножена в виртуальном пространстве? Но что-то упорно говорило мне: книга будет жить. Мой бостонский зять еще поставит ее в своем кабинете на видном месте.

Да, суета. Смешная. Нелепая. Навязчивая.

Однажды, уже в Греции, вышел из дома под звезды и увидел ночное южное небо, все усыпанное созвездиями, гроздьями чужих миров, бесконечно удаленных и прекрасных, и вдруг осознал всю избыточность предыдущего

существования. Того, что привык считать в каждую проживаемую минуту жизни несомненным и весомым. Того, что оказалось совершенно *лишним*. И ударился о ничто, как о прозрачную дверь, на которую налетаешь с размаху, не видя, и падаешь, падаешь на землю.

Стал просыпаться в слезах. Мокрая от слез подушка — вещественная улика. Довести себя до нервного срыва. Как это по-славянски, язвила мысль. Бедный Диоген, несчастный странник. Но ведь должен же быть выход! И был сон. Я видел себя ребенком, и мать рядом. У нее были такие же длинные, пепельные косы, как у Таша. Надо же, так совпало. Разные лица, но вот эта пепельная корона волос, любимая до боли, до самозабвения. Мать пела мне что-то, укачивая. Я был крохотный, но помню это. Вообще, помню себя очень рано, и это странные воспоминания. Помню песню. Ее руку, теплую и мягкую. Я зарывался в нее всем лицом и в волосы ее, когда она распускала их перед сном. Подробности детской жизни существуют как отдельные вспышки, но так ярко. В них не было отца, но мать царила безраздельно. Ее запах. Ее голубое, в пышных складках, муаровое платье. Как я любил ее, оказывается, все годы после того, как она ушла от меня. От нас. Умерла. Мне было всего двенадцать. И как отчаянно не понимал, что люблю именно *ее*, а не других женщин. И только Наталья... Только с ней вдруг понял: хочу сына! У меня должен быть *сын*! Но инерция предыдущего состояния... Как отзвук давней, забытой ноты, которая назойливо продолжает звучать в памяти. И обида. Я не сумел преодолеть. Ловушка собственного характера. Какая мерзкая, тяжелая вещь!

Я попросил Алекса отвезти ее в аэропорт, когда после визита Моник она вдруг сказала, что не останется со мной ни на один день, ни на один час. Прекрасно! Я не удерживал ее. После спросил у внука: о чем вы беседовали по дороге? Он сказал: о макроэкономике. Она вначале молчала, а потом, может быть, спровоцированная каким-то его вопросом, вдруг стала рассуждать о мировом кризисе в экономике и о Соросе, как он чуть не завалил английский фунт, а сейчас вовсю шуршит в России. Но из Беларуси его попросту *выгнали*!

Нет, это было уже слишком! «Странная женщина. Собственно говоря, чужая», — подумал я тогда. И еще долго, по инерции, пока писал книгу, думал о ней рассеянно, мимоходом, обманывая себя. Только в Греции осознал, что потерял ее, никогда больше не увижу.

Игумен Софроний

Путешествия с духовной миссией вещь хорошая: везде встречаешь добрых людей, видишь прекрасные места. Только забот игумена они у меня не отнимают. Наоборот. Наш монастырь один из самых крупных на Святой Горе, а по площади так и самый крупный. У каждого из нас, монашествующих, свои трудности. Одна из них у меня вот эта — вынужденное отсутствие. Приходится потом наверстывать упущенные дела, восполнять пробелы. Это совсем непросто.

Человек — существо духовное. Часто слышу, спрашивают: авва, что делать, чтобы спастись? Люди не хотят слушать общие слова из катехизиса. Просят у нас, монашествующих, как у одаренных дарами Святого Духа, конкретных ответов конкретному человеку.

По приезде из Беларуси мне доложили об этом старике. Тысячи людей, а вот о нем рассказали отдельно. Бывает на службах. Сидит всегда в дальнем

углу. Не крестится. Может, и молиться не умеет — непонятно. Наверное, спит! — говорят. Всю службу, бывает, глаз не подымет. Тихо сидит себе в конце притвора.

— Ну, спит, не спит, — говорю, — это сон особый. Он все слышит. С Господом разговаривает.

В первые дни по приезде я сильно был занят. Потом принял его. Человек приятный. Профессор. Грамотный, вежливый. Действительно, случай не частый, но все так и оказалось. Свои ощущения он в точности так и описал. Молитв, разумеется, не помнит. Крещен в детстве. Всю жизнь провел вне церкви. Верит ли в Бога? Улыбнулся:

— Сам не знаю. Здесь, на Афоне, да, безусловно, здесь это кожей чувствую, не только умом.

— Вы причащались? — спросил его.

— Нет.

— Ну, перед отъездом обязательно примите Причастие.

Он согласился. И вдруг вижу: переменился в лице, смотрит на мой письменный стол, будто призрака увидел. На столе сверху пачка фотографий.

— Вот, — говорю, — фотографии из поездки в Беларусь. Хорошая страна, миролюбивая. И народ благочестивый. Хорошее впечатление производит.

— Вы *там* были? — спрашивает еле слышно.

— Был, — говорю, — целых две недели. Недавно вернулся, — пододвинул ему пачку, — смотрите. Он внимательно просмотрел каждую фотографию и молча простился. А я не стал человека мучить расспросами. Ни к чему это, любопытство мирское. Сказали, уехал через несколько дней. Причастие принял. Это главное.

Да, время наше, по виду хотя и мирное, но тяжелое. В Европе сейчас много бывших христиан. Почему? Вот и к нам на Афон приезжают, говорят: нас не удовлетворяет то христианство, которое мы знали до сих пор, наша душа им не насыщалась. А сколько таких людей, которые и вовсе о душе не помышляют. Главного в человеке понимать и знать не хотят — его бессмертную душу. Такое вот духовное схождение с рельсов наблюдаем. Слово придумали: антропоцентризм. В пику, стало быть, христоцентризму. Чему и удивляться, что приходится добавлять тогда и другие слова: терроризм, наркомания, о сексе уже и не говорю. А люди, которые живут с Христом, считаются отсталыми. Вот и у нас в Греции политики ошибку допустили, запретили священникам-духовникам приходить в школы, исповедовать учеников. Психолог может идти, актер, любой человек науки. Священник нет.

Мне в Беларуси часто задавали вопрос: «Отчего у вас в Греции этот кризис»? Отвечаю: «Пощечину от Бога терпим. Расплачиваемся скорбями за отступление от Господа». Вот у них в стране на религию целых семьдесят лет велись гонения. Сколько тогда появилось мучеников за веру, сколько исповедников! И сейчас они за свою страну молятся. По их молитвам и по великой Божьей милости там сильное духовное возрождение идет: строят церкви, монастыри открывают, на службах тысячи людей. Может, страна сейчас и небогатая, и на капитализм свернули, от России отделились, но главное богатство — благодать Святого Духа у них есть. Да и такие серьезные перемены душа народа без Бога понести не может. И мы здесь, на Афоне, молимся за всех, и за белорусов в том числе. И Богородица, Первая после Первого, Игуменья наша Главная, нас вдохновляет, помогает молиться.

Я братии всегда повторяю слова Григория Богослова: молиться надо чаще, чем дышать. И не требуйте от меня благословения на послушания,

которые надо исполнять во время службы вне храма. Молитва главное. А если правильно молимся, Бог управит и другие дела. Со службы можно уйти только когда храм загорится».

Алекс

Та, знакомая моего деда, Натали, так, кажется, ее звали, на меня произвела большое впечатление. Таких красавиц редко встретишь. И появилась мысль отправиться в Минск. К тому же Коста уверял когда-то, что в городе полно красивых женщин, просто как цветник какой-нибудь. С другой стороны, Лулу на меня насела крепко: когда женишься? Когда внуков своих увижу? Я говорю: «Ба! Не внуков, а правнуков». Она только кривится: «Не валяй дурака, понимаешь прекрасно, о чем разговор». Короче говоря, в конце апреля я на недельку решил отлучиться. Заказал билет и, никому ни слова не сказав, очутился за три тысячи километров от Парижа.

Гостиница, которую я высмотрел еще в Интернете, была так себе. Кровать, тумбочка с настольной лампой, старый телек. Зато высоко, вся главная улица как на ладони. Вышел в город пообедать, прогулялся и понял, что дед не соврал. Столько вокруг симпатичных девчонок. Сам город тоже понравился, улицы широкие, река красивая. Но пообедал плохо. А вместо мороженого вообще какой-то кусок холодного жира принесли. Вечером познакомился с соседом из номера напротив. Итальянец Лука. Переписывался по Интернету с какой-то Светланой и приехал на личное свидание. Если судить по фото, очень приятная мадемуазель, только не ясно, какого роста. «Ну, Лука, — говорю, — повезло тебе. Я бы тоже не прочь с кем-нибудь завести здесь знакомство». Но он не отреагировал. Понятно, что со своими подружками меня знакомить не входило в его планы. Я не стал форсировать ситуацию. И потекли дни. Брожу по музеям, паркам, даже в синематеку сходил: шел французский фильм с субтитрами, старый, еще с Филиппом Нуаре. Выхожу из кино, недалеко ратуша, скверик. Сажусь в сквере на скамейку, потягиваю пиво. Девушка сидит на скамейке напротив, смотрю, ничего себе. Я подошел, извинился по-английски (здесь многие его понимают), спросил разрешения присесть рядом. Она не возражала. Я обрадовался, наконец повезло. Минут через пять, смотрю, появляется парень, высокий, хвост длинный из волос, резинкой перетянут, идет прямо на нас. Здоровается с девушкой. Я встаю, думаю, сейчас она нас будет знакомить. Но девушка молча стоит в стороне. А парень размахнулся и как заедет мне в челюсть! Я упал. Не столько от самого удара, сколько от неожиданности. А их и след простыл. Ушли оба, обнявшись. Вот это номер! Вечером я у Луки спрашиваю: «Ну, объясни ты мне, как же мне здесь с кем-то познакомиться и в живых остаться?» Лука смеется: чего проще! Топай на дискотеку в ночной клуб.

Я сориентировался по справочнику, выбрал клуб недалеко от гостиницы, и правильно сделал. Еле оттуда притащился. Девушек там, и правда, хватало, я много танцевал. Но в конце какой-то придурок стал поливать всех пеной, как на пожаре. Пенная вечеринка! Я стоял рядом, и он меня основательно окатил. Mon Dieu! У меня сразу глаза воспалились, а мне на самолет через день. Пришлось даже обратиться к врачу на следующее утро. Дали лекарство закапывать в глаза. Но все равно, когда в Варшаве пересаживался на другой самолет, щеголял с красными, как у кролика, глазами. И тут-то все и случилось. Стали сгружать вещи на транспортер для досмотра, смотрю, какая-то девчонка глазеет на мою багажную бирку. А там надпись: *Шереметьев*. Как

у меня в паспорте. Это Коста настоял, чтобы у меня была его фамилия. Короче, потом она не выдержала, подошла и говорит: «Привет! У нас с вами фамилии одинаковые. Я Лайза Шереметефф из Филадельфии. Гощу в Европе, лечу в Лиссабон через Париж».

Вот так-то. Оказалось, она моя да-а-а-льняя-предальняя кузина из Филадельфийских Шереметьевых. Кому сказать, не поверят. Какие приключения в жизни бывают. Я смотрю: кольца на пальце нет. Проболтали весь рейс до Парижа. Так я со своей будущей женой и познакомился. Чудеса, правда?

Тьерри

То, что Коста решил навсегда остаться в Греции, меня, признаюсь, удивило. Несколько лет, прошедших после нашей последней встречи в Париже, я проработал в нашем посольстве во Вьетнаме. Удивительная, нежная страна, но меня тянуло в Европу. К тому же Жаклин плохо переносила влажный тропический климат и тоже скучала по Франции, по Тулузе, откуда она родом. Так что, когда я узнал, что в Тулузском университете на кафедре по моей специальности открылась вакансия, решил посоветоваться с графом. Оставить службу я не решался, но мне хотелось преподавать. К сорока годам надо было делать выбор.

Бастовали авиадиспетчеры, на этот раз греческие, а не наши. Я добирался до места с большими задержками, был утомлен и раздражен, и не раз пожалел, что пустился в это путешествие. Но греческая зима — ветреная, солнечная, совсем такая, как у нас на юге, только еще теплее, — хорошо подействовала на меня, я взбодрился.

Дом Коста на побережье мне понравился. Большинство здешних вилл зимой пустовали. Их хозяева приезжали на отдых только летом. Сам поселок, совсем небольшой, тоже поначалу показался заброшенным и безлюдным. Но вечером, когда мы вышли на главную улицу, я увидел множество людей: взрослые и дети, старики, влюбленные парочки, мамаши с колясками — жизнь бурлила.

Как определить духовную перемену в человеке? Увидеть невидимое глазу? Поначалу я просто почувствовал, что общаюсь с другим Коста. Он движется, ест, пьет, говорит, и те же усы, уже седые, и тысячи житейских мелочей, которые его окружают. Но он не прежний. Другой.

Я католик. Наша семья с давней католической традицией. Для меня тот же Лурд — не просто место на географической карте. Но до практического, так сказать, богословия, мне, конечно же, очень далеко. Поэтому поначалу я даже насторожился, ожидая подвоха. Честно сказать, просто не был готов к откровенности с этим новым, незнакомым мне человеком. Думаю, так бы и уехал. Но однажды вечером, когда мы шли по берегу моря, он неожиданно заговорил сам. Об архимандрите Софронии, игумене одного из монастырей на Афоне.

— Понимаешь, — сказал, — чуть ли не впервые в жизни я столкнулся со зрелым человеком. Духовно зрелым. Такая завораживающая, совершенная *зрелость*, хотя по возрасту он еще не был очень стар. И почувствовал себя рядом с ним не то подростком-недоучкой, не то сущим дикарем. Нет, его превосходство не было основано на каких-то известных житейских амбициях. Просто в его глазах я прочел до конца непонятную мне тогда внутреннюю зрелось, глубокий внутренний свет. Не сам монастырь, не строения, возведенные почти вручную, по кирпичу, над пропастями. А эта зрелость, этот

свет... Он рос у ног великих подвижников, афонских старцев. Стал во главе монастыря, едва перешагнув юношеский рубеж. Их было всего восемнадцать человек поначалу...

И тогда же появилось чувство *пути*. Все личное, эгоистичное, земное, все, что питало раньше мою жизнь, отодвинулось, перестало волновать. Но не как раньше, несколько лет назад, когда я едва не погиб, медленно умирал. В конце концов, такое страдание, в нем нет *благодарности*, верно? А мне есть за что быть благодарным. И знаешь, моментами надо всем такое восхитительное чувство *свободы*. Той самой, с которой сказано: «*Истина* сделает вас свободными». И посмотрел на меня с улыбкой, едва ли не застенчиво. Я же почувствовал себя почти Понтием Пилатом, едва не спросил у него, что же такое для него — истина, но, разумеется, промолчал.

Мы вернулись на виллу, и все время за ужином я поглядывал на него. И видел опять: да, он ест, пьет, говорит, и тысячи житейских мелочей его окружают. Но он — другой. Это было восхитительно, и странно, и необычно. Мне еще больше захотелось поговорить с ним о моем будущем. Мои сомнения он отверг сразу. Конечно, стоит преподавать. «Зажечь свечу», — так он это определил. «Мы не можем преодолеть кошмар нашего мира. Но мы можем зажечь свою свечу *для других*. I'Esprit souffle au il vent», — добавил. А наутро принес мне одну из последних французских газет: «Вот, почитай». В статье один из наших уважаемых университетских мэтров всерьез рассуждал о том, что система образования, построенная на *запоминании*, утратила смысл и стала малоэффективной. Если специалисту нужна какая-то формула, он просто отыщет ее в Сети. Эти знания всегда с нами, всегда рядом. Так что человек, который загружал себя фактическими знаниями в течение нескольких лет, и тот, кому разрешено принести сотовый на экзамен, равны. Ведь никто не запрещает пользоваться компьютерной информацией на службе, это было бы смешно. Главное не знания, которые заучены наизусть, а ощущения, закрепленные опытом в подсознании...

Чудовищно! Я еще раз перечел статью. Возмущению моему не было предела. Так перевернуть с ног на голову основополагающие понятия! Коста только посмеивался: «Вот, вот, придется тебе на практике доказывать, что люди, или в твоем случае — студенты, не просто говорящее приложение к компьютеру, а разумные существа. Homo sapiens снова нуждается в защите, как и прошлом веке. Только наше время уже не возьмешь с налету, лихой атакой. Преодолеть современное безумие и распад, в конечном итоге, преодолеть зло мира можно только изнутри.

— Но ведь богословие, — начал я, — очень часто помогает не столько в очищении от страстей, сколько служит убежищем. В нем просто скрываются от реальности мира. И все меньше таких, кому это убежище необходимо, я имею в виду христиан.

— Да, наследники Адама ищут свободы от Бога с упорством, достойным лучшего применения, — согласился он. — Свободы в произволе, а потому проданы в рабство. — И стал задумчив, даже мрачен. — Техногенная цивилизация... Но все больше тупиков, боли, все больше одиночества... Право же, иногда кажется, что человек просто не знает, что делать с мощью, которой теперь обладает. Люди не понимают себя, губят землю, на которой живут.

— Да, да! — оживился я. — Это же есть и у Франциска Ассизского, «Наша сестра и мать-земля».

— Верно. Две величайшие тайны — земля и человек...

— Но ведь прогресс неостановим, — я снова пытался возражать.

Но Коста только кивнул рассеянно:

— Разумеется, все будет продолжаться.

Он вдруг сделался совершенно безучастен, не стал продолжать разговор. Но через несколько дней, уже прощаясь со мной, вдруг добавил, словно заканчивая ту, прерванную свою мысль:

— Пойми, только таинство общения с Творцом способно преобразовать медленное самоубийство каждого отдельного человека, целых народов и наций, преобразовать даже наши поражения. Только вера. «La foi», — так он сказал.

Моник

Вот так бывает: не везет, не везет всю жизнь, а потом — раз! И одно за другим набегают счастливые события, так что самой не верится, что это со мной происходит.

Вначале Жанна Симон сообщила, что ждет ребенка и рожать будет во Франции. Муж-испанец остается пока в той деревушке в Гвинее, где они работали, она как медсестра, а он как врач-окулист, но фактически как терапевт, и хирург, и кем только ему в той глуши быть не доводилось. Потом, когда малыш родится и чуть подрастет, они уедут в Сарагосу, на родину Рикардо. И первая радость: родилась девчонка! Моник! В мою честь ее так назвали. Я не возражала. К тому времени мы с Коста уже развелись, официально. Но на той славянке он так и не женился. Говорят, постарел и много работает. Книги сочиняет, возится в саду и в своем поселке греческом на свои средства даже какой-то старинный фонтан с питьевой водой восстановил. Но, по правде говоря, я давно на него зла не держу. А внучка нас и вовсе заочно словно примирила. Но встал вопрос: где же ей лучше находиться? В огромном Париже с миллионом машин или у нас в Нормандии, где воздух чистый, морской, и всегда свежие продукты, и козье молоко, и рыба, и все остальное. Недолго думая, я закрыла бутик, села в машину и отправилась на родину подыскать какое-нибудь жилье. Родителей уже не было в живых, не у кого было бы остановиться. На самом подъезде к городу — раз! — моя машина ни с места. Окаменела. Мне помогли, дотащили ее в ближайшую автомастерскую. А там навстречу выходит здоровенный малый в темно-лиловом комбинезоне, не успела я и глазом моргнуть, он меня обнимает и вопит в самое ухо:

— Моник! Сколько лет я тебя, дорогуша, не видел!

Я его не сразу узнала. Наш бывший сосед, Жорж Пепен. Но так изменился! Своя автомастерская, и несколько парней с ним работают. Короче говоря, через несколько месяцев я стала жительницей Фекама. Продала парижскую квартиру, мы поженились с Жоржем. Мне даже странно иногда, до чего же он влюблен в меня. Может, оттого, что никогда не был женат, жил в одиночестве. Не знаю. Одно дело, какие-то симпатии в детстве, в юности. Но зрелый человек, который так, кажется, и родился с отверткой в руках, с закрытыми глазами соберет-разберет любую технику, умница, мастер, а с таким обожанием ко мне относится, как к какому-то высшему существу. Все ему во мне нравится, и даже то, что я когда-то танцевала. Говорит, такой прекрасной походки, как у меня, нет ни у кого. Право, иногда хочется себя ущипнуть: Моник, этот сон тебе просто снится? Разве так бывает, чтобы все сразу утряслось, определилось, и хотя теперь забот у меня полон рот, мне хочется летать. Наяву, по-настоящему.

Коста

Когда мы пытаемся совершить какой-либо поступок, за который нам впоследствии, скажем так, не будет стыдно, то обязательно наталкиваемся на всякие препятствия. Когда я закупил оборудование для одной из детских больниц на юге Беларуси, в том месте, которое там именуют «чернобыльской зоной», то столкнулся со многими бюрократическими препонами с обеих сторон. Хотя, в конце концов, все как-то утряслось, аппаратура была доставлена. Но что меня крайне поразило, прямо сбило с ног, — реакция Лулу, когда она об этом узнала.

Да, да, та самая Лулу, Лидия Димитриадис, примерная прихожанка, восседающая на стасидии в нашей церкви за каждой воскресной литургией, та же Лулу теперь обрушила на меня поток упреков, жалоб и возмущения. Я трачу деньги семьи! Теперь, когда родился маленький Коста, сын Алекса, я обездолил внука! Не думаю о дочери! Я эгоист, мот, транжира, безответственный человек. Эпитеты все умножались. Мои возражения о том, что оба деда малыша, живущие в Америке, далеко не самые бедные люди на свете, впрочем, как и сам Алекс, и его мать, успеха не имели. Она была безутешна. По-настоящему несчастна. Забавно. Забавные совмещаются в нас, людях, на первый взгляд, несовместимые качества. Женщина, спасшая мне жизнь во время тяжелой болезни, сама доброта и услужливость, когда в конце августа колдует над вареньем из первого инжира, никому, даже своей проверенной помощнице по хозяйству не доверяя его приготовления. А потом также собственноручно печет мои любимые блинчики и вместе с чаем, вместе со свежим вареньем приносит их в мой кабинет, аккуратно ставит на стол и удаляется тихо. Искренно молится о всех и за вся, но также искренно радеет только о родном гнезде, о благополучии своем и близких, так, как она это понимает...

Тетка моя и крестная, Софи Шереметьева, когда-то настояла на нашем с Лулу венчании в Париже. Мы славно повеселились тогда после долгой церемонии, которую, признаюсь, оба выдержали с трудом. Тетушка София... Умерла в Париже несколько лет назад на 93-м году. Говорят, была знакома с Иоанном Шанхайским, Иоанном Босым, как его называли в городе. Париж! Все лучшие воспоминания молодости оттуда. Париж насыщает энергией. В Париже хочется творить. Таким он остается в моей памяти. Не мегаполисом с отравленной экологией, очагами насилия на окраинах, но городом восхитительной молодости, моей и всех, кто мне дорог и сегодня. Они уходят постепенно. Их все меньше и меньше с каждым годом.

Но когда я писал свою последнюю книгу, я думал не о них, и не о внуке даже, а о совсем юных, о тех, кто только начинает жить. Им нелегко сегодня. При всей их конкретности, практицизме, молчаливом упрямстве и отсутствии того, что когда-то именовалось «романтизмом». Но их уводят от реальности, уводят в несуществующие миры, и не всегда компьютерные только, уводят друг от друга, от родителей, в конечном итоге, от Бога.

Лулу, часами болтающая по скайпу с Афинами, с Филадельфией и Парижем. Электронные кумушки! Но молодежь! Кто скажет ей — внятно и разумно, что настоящее общение людей не живет в Сети, что это не корректная вежливость только, не любопытство или бездумное самовыражение. Что подлинное общение основано на жертвенности и Любви, где человек уже не низкомыслящее существо и воспарить не может, но встречая Творца, обретает возможность быть самим собой. Настоящим. Найти свое лицо.

Молодые сегодня ищут солидарности. Отдельные акты милосердия, какая-нибудь идеология, которая рано или поздно оказывается под контролем либо

государства, либо фанатиков, большинством отвергается. И наша задача, людей, проживших жизнь, нашедших ее смысл, рассказать им, докричаться до них, донести им ту истину о том, что Бог, символы которого молодость и красота, открывает молодежи будущее. Радость, простирающуюся до бесконечности. Что именно в этом смысл существования Единственного Человека.

И я вспоминаю Наталью и моего ребенка, сына, которому не удалось зародиться, появиться на свет, прожить *свою* жизнь. И если ум принимает эту данность, то душа нет, бессмысленно, непонятно, настойчиво отвергает ее, не хочет смириться. Когда-нибудь — может быть! — она успокоится в *понимании*. Протест окончательно сойдет на нет. Я верю в это. И отвергаю это. Странные мы все-таки существа, люди...

Время течет, убегает, уходит. В нашей с Лулу жизни теперь мало перемен. Только в конце лета, когда приезжают дети, дом гудит, как пчелиный улей. Вечером, на веранде, за ужин садятся сразу десятка полтора человек: Алеша с Лизой и малышом Коста, Жанна Симон с Рикардо и малышкой Моник. Они носят наши имена, а Коста и похож больше всего на меня. Приходят друзья, соседи, тоже с детьми. Мы с Лулу во главе стола. Полнота жизни. Наверное, так.

«И благословил Господь последние дни Иова более, нежели прежние... И было у него семь сыновей и три дочери... И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова... И умер Иов в старости *насыщенный днями*».

Книга Иова, гл. 42.

В четверг, перед сдачей «толстого» пятничного номера, воздух в нашей редакции становится особенно разряженным. Внешне все тихо, каждый занят своим делом, но искры проскакивают, а иногда и молнии вспыхивают. Рекламщики задерживают окончательный текст, клиент не выходит на связь. «Когда я вам его буду доверстывать?» — спрашивает верстальщица Любочка. Спрашивает тихо, но так зловеще, что рекламщики просто вываливаются из ее комнаты в коридор, и уже в коридоре — удар! — сверкают молнии ругательств, которые, впрочем, бормочутся на ходу, себе под нос. Народ взбудоражен, но к моменту сдачи номера в типографию напряжение, достигнув какой-то совсем уже неимоверной высоты, вдруг сходит на нет. Гроза проходит. Кто-то пьет чай с отрешенным видом буддийского монаха, кто-то названивает по сотовому, воспитывает детей по телефону, другие вообще на низком старте, скоро сбегут домой. Все размягчены, благостны и довольны — впереди два выходных.

Именно в это время меня вызывают к главреду. Событие, само по себе не сулящее особых радостей. На ковер к шефу перед выходными?

Нехотя еду на седьмой этаж, минуя приемную, захожу в кабинет. «Присаживайтесь». Присаживаюсь.

Под Гродно реставрируют замок 15-го века. То есть, пока идут только подготовительные работы, неизвестно, будет ли это новодел, или просто законсервированные остатки строений — их сохранилось всего ничего, каких-то тридцать процентов. Так что строителей пока нет, работают волонтеры. Люди трудятся бесплатно при минимуме техники, живут в стесненных условиях. А могли бы в летнее время взять отпуск и уехать, например, к морю. Но они сидят там, на руинах. Что движет ими? Из Литвы ребята тоже приехали, помогают. Народ меняется, но дело идет.

— Мне нужен не банальный репортаж, мне нужно... ну, вы понимаете: мне нужен материал для будущего пятничного номера!

Конечно, понимаю, как не понять. Что-нибудь такое сочинить, чтобы каждому захотелось плюнуть на отпуск и взять билет до Н-ского замка, — думаю ехидно. И разумеется, без пафоса. Пафоса шеф боится больше, чем приступов стенокардии.

— Да, и о билетах, — говорит главред. — Оформите командировку с сегодняшнего дня, езжайте прямо сейчас. Понедельник ваш, ко вторнику текст надо сдать. Микроавтобусы на Гродно каждые два часа. Доберетесь быстро.

Ну и ну! Проторчать все выходные незнамо где и без передышки, ко вторнику, выдать материал! Он что, на него несколько дней любоваться будет? Вот она, моя запоздалая молния, мой удар грома. С другой стороны, от меня ждут чего-то толкового, это лестно. Хотя...

Через пару часов я уже разглядываю в окно автобуса июньские пейзажи. В наушниках Бах. Успокаивает.

Пока фотокор Михолап то припадает с камерой к земле, то выписывает немыслимые пируэты на северной полуразрушенной стене в поисках подходящего ракурса, я успеваю переговорить с руководителем волонтерского отряда, которого все зовут просто Дима, и с двумя-тремя волонтерами. Народ, прямо скажем, не особо красноречивый, смотрит скорее как на назойливую муху. Но такой уж у меня характер: могу разговорить кого угодно. Короче, к концу работы факты собраны, и в голове даже начинают мелькать кое-какие фразы будущего репортажа. Можно бы и домой, когда у них тут последний рейс на Минск? Но, во-первых, Михолап явно не собирается отчаливать, вошел в раж, скачет и щелкает, и завтра собирается снимать рассвет на фоне замка. Во-вторых, чутье подсказывает: чего-то еще не хватает. Как в том борще, вроде бы все ингредиенты на месте, а невкусно. «Да, — говорит Дима, — можем вас разместить до завтра вместе со всеми». Деревянное строение, напоминающее сарай. Раскладушки в два ряда. Девчонки справа, мальчишки слева, за фанерной перегородкой. Работают тут и несколько семей взрослых с детьми-подростками. Но семейные живут отдельно, в поселке.

Наутро снова. Все при деле, работают, а мне что, так и болтаться как неприкаянной, с диктофоном? Выручает Дима. Ставит в пару с симпатичной женщиной лет сорока. У нас по лопате. Берем, стало быть, песок из высоченной горы и бросаем на тачку. Тачечниками выступают парни. Мы бросаем. Они увозят песок на другой конец замка. Через час поясницу не разогнуть. А до обеда еще бросать и бросать.

— Первые три дня особенно тяжело, потом привыкнете, — утешает меня Наталья, так зовут женщину.

Нет уж, сегодня же к вечеру меня здесь не будет! — говорю про себя, а вслух замечаю, что мне еще нужно готовить репортаж, прямо в выходные. И никаких надбавок за сверхурочные к зарплате! — это опять про себя.

К вечеру еле передвигаю ноги от усталости. Михолап собирается уезжать, но мне нужна передышка. Уеду завтра с утра.

На ужин приносят свежее молоко из деревни, а Наталья угощает меня еще и медом. Выпиваю сразу несколько чашек, падаю как подкошенная на раскладушку и засыпаю мгновенно, хотя еще нет и восьми. Просыпаюсь в три ночи, как ни странно, бодрая и отдохнувшая. Наверное, уже выпала роса. Беру ветровку, выхожу из барака. Теплый летний воздух сразу обволакивает меня. Чуть слышен терпкий, скипидарный запах близких сосен. Свежесть, безветрие. У догорающего костра над речным обрывом виднеется чья-то тень. Наталья. Совсем не удивляется моему появлению:

— Выспались?

— А вы? Неужели еще не ложились?

— Подремала немного. Такая ночь... В городе таких не бывает. Я тоже скоро уезжаю.

«Красивая женщина», — отмечаю машинально. Днем, за работой, в испарине, в косынке, это было не так заметно. В голове начинает роиться привычный набор вопросов: кто вы? где работаете? впервые волонтерите? и как вам? и что вам? Я отбрасываю их все. Совсем не хочется говорить. Спрашиваю только: «Может, подбросить еще валежника?» Через какое-то время пламя костра снова весело вспыхивает, и мы сидим обе молча, смотрим на огонь.

Осенью, уже в Минске, подружившись, мы будем так же сидеть на девятом ее этаже, у стола, и она, разложив фотографии, будет пояснять: «Вот этот высокий брюнет — это Тьерри». — «Холеный господин», — замечаю. Она улыбается: «Он руководитель диплома у дочки». Дочь Марина учится в университете Тулузы. Вот она, высокая, чем-то очень похожая на мать, но все же другая, — поливает розы из лейки в каком-то саду. Рядом женщина с садовыми ножницами. Ухоженная, но видно, что уже не молода. «Это Жаклин, жена Тьерри», — говорит Наталья. И ни одной фотографии Коста. Константина Петровича Шереметьева.

— Он жив? — спрашиваю.

— Да, — кивает.

— Но ведь... вы же не переписываетесь даже, не общаетесь ни по телефону, ни по скайпу.

— Да, конечно, — снова кивает.

Могла бы ответить, что время от времени что-то узнает о нем от Тьерри. Но суть не в этом.

— Просто, когда его не станет... я это почувствую, понимаешь?

Перебираю в замешательстве другие фотографии. Вот она, любовь, о которой мечтают втайне столько женщин. Любовь-соединенность, полное слияние с тем, кого любишь. Несмотря ни на что. Тысячи километров, десятки стран, ей все нипочем. «Я просто почувствую, понимаешь?» И потому не вышла больше замуж. Даже помыслить невозможно, как это? Зачем?

Я резко меняю тему. Прикосновение к чужому чувству всегда отдает любопытством. К тому же непонятно: «А Марина? Она что, останется во Франции?» И опять эта спокойная уверенность: «Конечно, нет. Получит диплом и вернется в Минск. Она умница, учится хорошо». И весело: «Ой, у нее здесь такой симпатичный парень. Поженятся, и буду я теща»!

Все-таки красивые женщины, — размышляю, — все-таки они простоваты. Или нет, они просты. Как цветы. Как реки или сосны. Да, как сосны. Их и любят, наверное, больше всего за эту божественную простоту.

А пока мы сидим с ней у костра над речкой. Костер опять догорел. Но где-то на востоке уже вовсю разгорается восход. Торжественно и неудержимо розово-красные полосы отхватывают все большее и большее пространство, небо уже горит там, на востоке, и по центру зари поднимается над землей такой же торжественный и медленный шар солнца. Начинается новый день.





ТАМАРА КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО

Не продается...

Дни влюбленности золотые...

— Что ты бродишь по пепелищу,
Горько плачешь в родном краю,
Что отчаянно-грустно ищешь?
— Ах, ищу я тут — жизнь свою!

Дни влюбленности золотые,
И свидания первого свет...
Только избы давно пустые,
И ни следа, ни звука нет.

Нежно глажу крышку колодца,
В нем давно зацвела вода.
Где-то там, на дне, встрепенется,
Всколыхнется моя беда.

Она канула в эти недра
И уснула на самом дне.
Вот — опять — не хватает неба,
Не хватает воздуха мне.

Только ветер, зеленый ветер.
И — Вселенский, Зеленый шторм.
Мимо — жизнь — в золотой карете.
Не поможет никто, ничто

Мою молодость — хоть глазочком
Увидать, где любовь моя?
— Мама! — мне закричала дочка.
Оглянулась, а это — я.

Милосердие

Кто злато ищет, ну а кто — сердца,
Чтоб — откровенно, настежь, нараспашку —
Как исповедь, по капле, до конца,
Как дождик, ливень на леса и пашни —

Горячею купелью щедрых слез
Отмыть, омыть судьбы крутой печали,
Чтобы и в самый тягостный мороз
Не остывал огонь, что зажигали

Для счастья на земле мы в час зимы.
Пусть пролетают весны, зимы, годы...
И все же, милосердье средь живых
Я все-таки нашла во тьме холодной.

Уходят

Уходят настоящие поэты
На небо, только зорями отпеты,
Растоптаны, распяты и забыты,
Столкнуты с высоты или убиты
Молчания камнями и забвенья,
Поэты — эти дети упоенья,
Кто не сошел с пути, не замолчал
Святой, как сон младенца, светлой правды,
Кто золоту стиха не изменял
И не позволил над собою правки.

Кто, и гонимым будучи, стоит,
Подобно камню вечному — граниту,
И правду, только правду говорит,
И честь ему одна — быть всюду — битым.
Уходят настоящие поэты
Прямой дорогой в небо... И народы
Приходят к Ним, Кем боли их воспеты.
О Них дождями плачет непогода,
Им гимн поет цветущая природа...
Но Им — до слез и гимнов —
дела нету.

Был бы ты жив

Был бы ты жив да дома,
Рядом сидел со мною...
Звал меня: «Мама Тома...»
Раненым зверем вою,
Ох, как тебя не стало!
У-у-ух, горючее лето!
Давай все начнем сначала:
Ты, будто живой, но — где-то,
Я — просто — тебя не вижу,
Ты просто — давно не пишешь,
И не звонишь, не слышишь,
Ты — далеко... Так бывает,
Что сын до родного дома
Годами не приезжает...

Был бы ты жив,
не стали б
Боли меня тревожить,
Ты бы капкан поставил,
Путами их стреножил,
И я б не пугалась грома,
Звонков среди ночи, зная,
Что кличешь ты: «Мама Тома»...

И я бы — была живая.

Не продается

Можно все купить, иль — отнять:
За деньги огромные, силою,
Страхом, угрозой убить, солгать,
Милой назвать постылую.

А можно и так, что — наоборот.
И так, и этак: все можно.
Жизнь такая. Тот, кто живет,
Знаком с этой стервой — ложью.

Когда уже отнял и землю, и дом,
Отнять можешь небо, солнце,
И даже жизнь, но, что в сердце моем,
Не купишь. Не продается.

Переведи меня через майдан

Из песни
«Последняя просьба старого лирника»

Переведи меня через майдан,
Сегодня он неистово бушует,
На нем ревет народный океан,
Он чашу гнева пьет свою большую...
Переведи...

Переведи меня через майдан,
Что по-отцовски вел меня по жизни,
Светло и чисто жизнь шумела там...
Там праздник жил, а нынче — всюду — тризна.
Там праздник жил...

Там — ясный путь лежал в мое село,
Там первый крик прорезался на зорьке,
Там все росло, звенело и цвело,
И лишь на свадьбах нам — кричали «горько»...
Там — ясный путь...

Там — голос матери и дом — родной!
И он вовеки — жив, мой голос детства,
Сливаясь с шумом трав над головой,
Он превращает в песню жизнь и сердце.
Там голос мой...

Там было все: во всем — жила любовь!
И первый поцелуй сжигал, как пламя,
Предательства непостижимость, боль,
И гибель сына, и могила мамы.
Там было все...

Там было все! Служение и долг,
И Родины посмертные награды
Отцу и брату, и тому, кто смог
Дожить и выжить, обещали радость.
Тому, кто смог...

Стою под небом, я — оглушена.
Понять пытаюсь и не понимаю.
Такой была огромною страна,
Где большаки мои теперь, не знаю!
Переведи...





ЕКАТЕРИНА КАРПОВИЧ

Огненный ветер Эль-Пасо

Рассказ

— Grandma, why you're so sad?..[1] — спросил тоненьким голосом трехлетний Джош. Он приоткрыл дверь в комнату Марины, и туда из коридора проник длинный луч солнечного света, в котором плясали пылинки.

«Все как в детстве», — подумала Марина, глядя на их замысловатый танец. Затем она перевела взгляд на своего правнука Джоша. Малыш смотрел на нее широко распахнутыми карими глазами, теребя дверную ручку. Петли тихонько поскрипывали.

— I'm ok, no worries, baby[2], — произнесла она совершенно бездумно. Она смотрела на его кудрявые волосы и вдруг поняла, как необычно говорить по-английски здесь, в этом доме, который она покинула пятьдесят четыре года назад.

— Are you gonna get downstairs?[3] — спросил Джош, по-прежнему глядя на нее в упор и теребя дверь.

— Not yet, — тихо ответила ему Марина и рассеянно улыбнулась.

— Okay! — с этим словом Джош подпрыгнул, словно мячик, и унесся вниз по лестнице, на ходу что-то говоря своей маме, но Марина уже не различила его слов.

Она сидела в своей комнате в мансарде старого дома, где когда-то жила с родителями. Марине было семьдесят три года, но она чувствовала себя гораздо старше, глядя на облупившийся деревянный пол и черно-белые портреты на стенах. А главное — на свои руки. Они были расчерчены тысячами морщинок, по которым струился сквозь пальцы песок — нет, не тот калифорнийский песок, на котором так любили играть ее правнуки, а песок времени, этой беспощадной машины, что движется только в одном направлении.

В комнате было темно, так как балкон занавесили шторами из бордового бархата. Марина встала, медленно подошла к балкону и резко отдернула шторы. Двери балкона были широко распахнуты, и закатный солнечный свет осветил ее сморщенное лицо и увядшие губы. Только глаза в это мгновение открылись еще шире и стали совсем синими.

Марина сделала шаг вперед, оперлась на потемневшие деревянные перила и ощутила ладонями гвоздь в том же месте, где он был много лет назад. У нее возникло чувство, что время жестоко шутит над ней, заставляя на доли секунды поверить, что она снова там и тогда...

Внизу был сад. Он тоже постарел, но не пришел в запустение — все-таки племянники присматривали за этим местом. На яблонях подоспел урожай белого налива, и ветер донес до нее аромат солнечных плодов.

---

[1] Бабушка, ты почему такая грустная? (*англ.*)

[2] Все хорошо, не беспокойся, детка (*англ.*).

[3] Ты спустишься вниз? (*англ.*)

Дверь в комнате скрипнула, и Марина обернулась, несмотря на боль в спине. Точно так же скрипнула дверь тогда, в июне пятьдесят девятого года, когда случилось невероятное — девятнадцатилетнюю цирковую гимнастку Марину Голодок пригласили вместе с труппой выступить с гастролями в США.

Мать вошла тогда тревожная, заплаканная. К этому моменту семью уже множество раз проверили и проинструктировали сотрудники КГБ, и родители Марины переносили это тяжело. К моменту отъезда они были близки к тому, чтобы возненавидеть эти гастроли, которым сначала так радовались.

Тогда Марина так же стояла на балконе и любовалась молодым еще садом. Она думала о том, что к моменту ее возвращения как раз поспеет самый первый урожай яблочек. Она улыбалась, но увидев заплаканную мать, мгновенно оказалась рядом и обняла ее.

— Маама, не плачь! — Она гладила мать по волосам, но самой ей совсем не было грустно. Мысль о том, что она побывает там, в бесконечно далекой Америке, наполняла ее легкостью, с которой она преодолела все проверки и запугивания. — Я мир посмотрю, а потом вернусь и буду долго обо всем рассказывать!

— Предчувствия у меня... — мать покачала головой, одной рукой обнимая Марину, другой вытирая слезы. — Как будто не вернешься ты... Мы ведь ничего про эту страну не знаем, только слухи! Что там за люди? Что за нравы? Боюсь, боюсь я тебя отпускать! — всхлипывала она.

Марина вздохнула и сильнее прижалась к маме.

— Да ты ведь знаешь, как за нами там будут смотреть. Как бы наоборот не вышло, что по малой нужде отлучиться не дадут.

— Ладно, ладно. — Мать попыталась взять себя в руки. — Пойдем, много вещей еще не собрано, а послезавтра в Москву...

Они жили в селе Матюшино Московской области в доме папиной старшей сестры. Тетя и ее семья занимали первый этаж маленького, но уютного деревенского домика, а Марина с родителями — две комнаты мансарды. Из Марининой комнаты был выход на балкончик, где она сейчас и стояла.

После девяти классов Марина поступила в Государственное училище циркового искусства в Москве. К этому располагали многие факторы: с самого детства она была гибкой и сильной. Однажды, когда Марине было восемь лет, ее мать увидела из окна, как Марина идет, балансируя, по кромке забора. В девять лет она самостоятельно выучилась делать сальто назад и жонглировать пятью предметами. В том же возрасте она начала грезить цирком: читать книги, собирать газетные вырезки и упрашивать родителей отвезти ее на представление в Москву. Через год после первого сальто она увидела «Маленького Пьера» в Московском цирке на Цветном бульваре и с тех пор ни на минуту не сомневалась в своем призвании.

Годы в училище пролетели быстро. Марина была поглощена тренировками, а с третьего курса начались выступления, которые помогли ее таланту раскрыться еще ярче.

Да и сама девушка расцвела. К окончанию училища в пятьдесят девятом она превратилась в стройную, длинноногую красавицу с яркой славянской внешностью: светло-русые косы до пояса, голубые глаза да рыжие веснушки на носу. Мышцы, наработанные за годы тренировок, не утяжеляли ее фигуру, а делали грациозной, как у абиссинской кошки.

Суматоха из-за американских гастролей началась два месяца назад. До этого их долго отбирали, формируя группу для летних выступлений, но никто не говорил, где они пройдут. Конечно, все надеялись, что это будут Сочи, Ялта или Баку, но повидать заокеанский берег — это было что-то неслыханное.

Марина этой новости, несмотря на противоречивые мнения, очень обрадовалась. Америка не казалась ей запретной сверхдержавой; про себя Марина давно решила, что путешествия по миру — это достойное вознаграждение за ежедневные изнурительные тренировки и раннюю пенсию. Поэтому, пока все нервничали и без умолку тарахтели, Марина отрабатывала в спортивном зале самые сложные номера, про себя решив, что, если уж Штаты и правда заслуживают такого шума, то она покажет все, на что способна.

Проверки были долгими и утомительными, к тому же шли внакладку с экзаменами — Марина училась на выпускном курсе. Дипломы они с сокурсниками должны были получить уже после возвращения из Америки, но тогда было не до этого...

Сильный порыв сухого летнего ветра вернул Марину в 2013 год. Она вздохнула и спустилась вниз, к детям.

Ее дочь, Елена, накрывала старый дубовый стол в гостиной льняной скатертью. Елена была старшей дочерью и очень походила на мать — та же подтянутая фигура, густые волосы, веснушки, практически невидимые под плотным загаром. Марина учила русскому языку всех детей — их у нее было трое, — но Елена была единственной, кто искренне интересовалась своей историей. Она же и организовала для матери эту поездку в Россию. С ними были также две дочери Елены — Мария и Кристина, а Мария прихватила с собой еще и своих детей — Джоша и Кельвина.

Мальчикам очень понравилось Матюшино, несмотря на то, что они практически не говорили по-русски. Кельвин старше Джоша на два года — ему пять. Вчера он выучил «смородина», «крыжовник» и «шарлотка». У него удивительным образом получилось выговаривать чистое русское «р», и он остался чрезвычайно этим доволен.

Для Марины эта поездка стала не просто поездкой. Она была возвращением, но возвращением тяжелым, каким бывает выздоровление после какой-нибудь южной лихорадки, когда, очнувшись, человек чувствует себя еще хуже, чем в начале заболевания.

Около года назад умер Джеймс, ее муж, калифорниец по происхождению, старше ее на десять лет. Они прожили долгую, спокойную совместную жизнь, за которую Марина была ему искренне благодарна. Его забота сглаживала многие острые углы, даже девяносто четвертый год, когда она, дозвонившись, наконец, до одного из своих двоюродных братьев, узнала о смерти обоих родителей. Они умерли в декабре девяносто третьего года, сначала мать, потом, через две недели, отец. Первое письмо им она осмелилась отправить только в восемьдесят девятом, потом слала еще и еще, но ответ все не приходил. Николай, который сообщил об их смерти, сказал, что письма ее родители получали и писали обратные, но, видимо, они где-то терялись.

После смерти Джеймса Марина надолго погрузилась в горе, и еще больше — в старые, почти забытые воспоминания, которые вдруг предстали перед ней с такой ясностью и отчетливостью, что порой она забывала, который сейчас год.

В день приезда в Матюшино она едва не потеряла сознание, со всей остротой ощутив ту боль и одиночество, заброшенность и нищету, которые постигли ее родителей в последние годы их жизни. Она была их единственной дочерью... и она бросила их. Не просто бросила, а сделала родителями «невозвращенки», она заставила их проходить мучительные допросы и унижения, выслушивать раз за разом цитирование шестьдесят четвертой статьи, согласно которой ее, Голодок Марину Аркадьевну обвиняют в «измене Роди-

не, умышленно совершенной гражданкой СССР в ущерб безопасности СССР в виде отказа возвращаться из-за границы»...

У Марины снова потемнело в глазах от этих мыслей; чувство вины душило, и она беззвучно шептала: «Прости меня, мамочка, прости...»

* * *

Хорхе проснулся от криков мальчишек, игравших в футбол во дворе. Он недовольно крякнул, по-стариковски запыхтел и взглянул на часы. «Madre mia, — удивленно воскликнул он, — какого черта я столько спал?!» И тут он вспомнил, что ему снилось. Ну конечно, когда тебе снятся те далекие времена, проснуться рано по меньшей мере странно.

Ему снилось, что он идет по пыльной, дымящейся от палящего солнца Стэнтон-стрит в Эль-Пасо, штат Техас. Невдалеке маячит красная башенка вокзала, и от ее образа сердце Хорхе сжимается, а потом — бух! — начинает биться быстрее.

«Рано или поздно мне придется уехать, — думает Хорхе во сне. — А как же она? Дьос мио, как же?..»

Этот короткий, но поразительно яркий сон возвращает его мыслями в прошлое. Хорхе родился в деревушке возле колумбийской Боготы (правда, теперь эта деревушка стала пригородом и уже далеко не так бедна, как раньше). Он оказался в Штатах все по той же банальной причине, по которой сотни эмигрантов пытаются прорваться туда и сегодня: деньги. Вот только он очень любил Колумбию и мечтал туда вернуться, чтобы получить образование и работать. В пятьдесят восьмом ему удалось попасть в Штаты вместе с грузовым судном, на которое он устроился чернорабочим, да так и проплыл на нем до самого Хьюстона, где благополучно бежал с корабля. В течение месяца он скитался по Техасу, изможденный жарой, но полный неистощимой надежды, пока, наконец, не добрался до Эль-Пасо. Здешние свободные нравы и физически ощутимая близость Мексики пришлись ему по нраву. Он устроился мойщиком посуды в мексиканское кафе недалеко от железнодорожной станции, где работал каждый день, начиная сразу после ланча и заканчивая только к полуночи; платили ему немного, но за год ему удалось скопить солидную по колумбийским меркам сумму. На эти деньги он собирался вернуться в Боготу и поступить там в Колумбийскую академию на отделение живописи.

Все время до начала своей смены в кафе Хорхе рисовал. Весной пятьдесят девятого он рисовал в основном иссушенные солнцем холмы, по которым носился лихой огненный ветер Эль-Пасо. Его-то рисовать было сложнее всего: в реальности ветер был плотным и ощутимым, он менял цвет песка, если хотел, и поднимал маленькие смерчи на пыльных дорогах; он бил, словно хлыстом, наотмашь, появляясь внезапно из-за углов. Хорхе изводился всякий раз, когда пытался нарисовать что-то подобное. Он качал головой и вздыхал: давай, Хорхе, иди работай, тебе нужны денежки, чтобы в нашей знаменитой Академии тебя, наконец, научили рисовать все оттенки ветра.

То, что в Боготе не будет никакого огненного ветра, его мало смущало: память у Хорхе всегда была прекрасной. Вот и сейчас он с легкостью погрузился в воспоминания пятидесятилетней давности, которые навеял ему этот сон, где он шел по горячим камням Эль-Пасо.

Некоторое время Хорхе сидел на постели, а потом встал и открыл оконные ставни. Яркий свет не ранил его глаза: в квартире все окна выходили во двор, где дома стояли, склонив к друг другу крыши, словно заговорщики.

— Hola Madrid, — с улыбкой произнес Хорхе вслух и вдруг понял, почему этот сон оказался так мучительно сладок: в нем была ***она***, вот только во сне он почему-то уезжал первым...

* * *

Марина сидела на скамейке под двумя старыми вишнями в саду. Недалеко от нее дочери Мария и Кристина пересаживали цветы, тихо переговариваясь между собой. Джош что-то втолковывал Кельвину на таком жутко неразборчивом американском сленге, что Мария одернула сына:

— Speak English, please! Tell you, speak English![1]

Понемногу Марине становилось легче делать вдохи и выдохи: несмотря на то, что вещи и фотографии ее родителей причиняли ей труднопереносимую боль, она все же перебирала их, постепенно приводя дом в порядок, а заодно и знакомила дочерей с семейной историей.

Вдруг она заметила на горизонте самолет. В свои годы Марина оставалась достаточно зоркой, чтобы различить на ярко-синем небе железную птицу и длинный дымчатый след за ней.

Последние дни перед отъездом в Америку вспыхнули в Марининой памяти, словно кадры старого диафильма на белой простыне в темноте.

* * *

Вот аэропорт «Внуково»... Она уже вместе со всеми сидит в салоне самолета ТУ-104. Кроме нее из училища отобрали еще восемь человек. Еще один студент не прошел отбор по причине «сомнительного психологического профиля». Они все находились в одном секторе, и Марина спиной чувствовала тревогу и напряжение товарищей. В иллюминатор было видно крыло аэропорта, и вдруг в этом крыле, в проеме большого окна, Марина различила фигуру матери. Окно подрагивало и отсвечивало, но Марина не сомневалась и помахала рукой в иллюминатор. Дрожащая тень за окном помахала ей в ответ... У Марины по щекам побежали слезы.

Когда самолет развернулся на взлетную полосу, руки похолодели и сами собой вжались в поручни. Марине вдруг захотелось вскочить и нестись к выходу, пока не поздно, потом добежать до заплаканной матери, обнимать ее, целовать заплаканные щеки, вернуться домой, есть клубнику прямо с грядок...

Через час они всей труппой уже смеялись. Лететь было совсем не страшно, только долго. Иногда внизу разрывалась пелена облаков, и тогда они, как зачарованные, разглядывали далекие земли внизу. Спустя еще три часа после начала полета ребята, раскрыв рты, наблюдали стройную цепь норвежских фьордов, которые раньше видели только в учебниках...

Потом Марина уснула, закутавшись в мамин платок, а когда проснулась, они уже снижались над Вашингтоном, округ Колумбия.

День прилета выдался жарким. В аэропорту было прохладно из-за кондиционеров, но о них Марина узнала только потом. Ее глубоко поразили размеры аэропорта, снующие сюда-туда служащие, но больше всего — пассажиры. Она никогда не видела столько национальностей вместе: здесь были и чернокожие африканцы, и индусы, и китайцы... Практически все они что-

---

[1] Пожалуйста, говори по-английски! Говорю тебе, по-английски!

то быстро-быстро говорили на английском, и хотя Марина всегда имела по английскому твердую «пятерку», она не понимала ровным счетом ни-че-го.

Когда после двухчасового досмотра таможни ребята маленькой стайкой вышли из аэропорта, город встретил их своим жарким июньским дыханием.

Но, безусловно, вашингтонское дыхание не шло ни в какое сравнение с огненным ветром Эль-Пасо, который в это время упорно пытался нарисовать Хорхе...

Марина смотрела на Кельвина и Джоша, копошащихся возле смородиновых кустов. В Америке они не пробовали смородину и были в восторге от крупных, как вишни, иссиня-черных ягод. Их мать все время опасалась, как бы у детишек не разболелись животы, а Марина вдруг поймала себя на том, что невольно улыбается, глядя на них.

Но сухой июльский ветер снова вернул ее в воспоминания.

* * *

В конце своего первого выступления она с ребятами стояла под куполом вашингтонского цирка. Зрители рукоплескали, а в глазах детей горел тот самый огонек, который когда-то разгорелся в Марине. Как же долго их тогда не отпускали с арены!

«Сначала ты совершаешь чудо, — записала она в тот вечер в своем дневнике, — а потом вместе со всеми веришь в него, потому что *по-настоящему так не бывает*, и кто этот человек, парящий под куполом, ты уже не знаешь, а потом, когда понимаешь, кто он, чувствуешь себя *соучастником волшебства*, и ради таких моментов живешь и тренируешься дальше, и стоишь сейчас посреди американских огней, и веришь в это чудо вместе со всеми...»

Они объехали восточное побережье США и выступили тринадцать раз. После Вашингтона были Ричмонд, Норфолк, Уилмингтон, Шарлотт, Атланта, Монтгомери, Бирмингем, Новый Орлеан, Мемфис, Литтл-Рок, Даллас, Хьюстон... Это было самое завораживающие путешествие не только в Марининой жизни, но и в жизни всех ребят из их труппы. Служебный автобус нес их по гладким дорогам со скоростью восемьдесят миль в час; пейзажи за окном сменяли друг друга, но в дороге они в основном отсыпались, а не глазели по сторонам. Из гостиницы на ночь их не отпускали строгие сопровождающие в штатском, но днем им иногда разрешалось погулять по городу, а по ночам ребята собирались у кого-нибудь в номере и бурно обсуждали *Америку*.

Здесь, в Штатах, Марина больше общалась с Говхар, смуглой девочкой из Азербайджана. На американский манер ее имя звучало «Гоха», и скоро это прозвище закрепилось за ней. Та рассказывала истории из своего детства, а Марина — из своего. В перерывах между тренировками они вместе бегали за кока-колой и тихонько подшучивали над одним из сопровождающих, Олегом. Тот, кажется, питал к ним симпатию, закрывая глаза на их перебежки между тренировочным залом и гостиницей.

В Новом Орлеане им устроили паромную экскурсию по реке Миссисипи. Марина и Гоха сидели в стороне и тихо наблюдали за массивными серо-зелеными водами.

— Слушай, скажи честно, — сказала вдруг Гоха. — Ты об *этом* думала?

Марина с минуту пыталась понять, что ее подруга имеет в виду.

— Ты Петьку имеешь в виду? — засмущавшись, переспросила она. Петька был высоким харизматичным мускулистым акробатом.

— Да нет же! — отмахнулась Гоха. — Ну... — Она стиснула губы, торопливо осмотрелась вокруг и едва слышно сказала: — Остаться.

Марина изумленно подняла брови.

— Ты хочешь сказать, сбежать?.. — она тоже понизила голос.

— Самсын лайк зыс[1], — Гоха неуверенно скопировала американское выражение.

Марина ошалело уставилась на воды Миссисипи. Серо-зеленые волны время от времени шлепались о борт. Паром басовито и равномерно гудел; они проплывали мимо строящихся на берегу небоскребов Нового Орлеана.

— Но зачем?.. — наконец спросила она.

Гоха тогда пожала плечами, дескать, ну и ладно, в самом деле, глупый вопрос.

В Хьюстоне должно было состояться заключительное представление. Ребята устали и вымотались, поэтому, когда им сообщили, что обратно они полетят через Кубу, где у них будет возможность целую неделю отдыхать в молодежном коммунистическом лагере, они на радостях заходили колесом и выполнили несколько сальто-мортале подряд.

Но в Хьюстоне кое-что произошло.

* * *

А в июле две тысячи тринадцатого Хорхе медленно шел по аллее в парке Ретиро. На Мадрид опускался вечер, делая краски города мягкими, словно подушечки на лапках de gato[2]. Хорхе прогуливался медленно, мерно постукивая деревянной тростью о камни. На нем были светлый костюм, шляпа в тон и круглые темные очки, в которых отражался город. Он берег свои глаза от испанского солнца — художнику они очень нужны.

Тихонько звенела вода в многочисленных фонтанах. Вдруг Хорхе остановился и, вдохнув вечерний воздух, торжественно снял очки. Загорелое, сплошь в морщинах лицо его напряглось, будто он вслушивался — или всматривался? — во что-то невидимое. Он немного прищурил свои темно-янтарные глаза.

— Vamos![3] — внезапно прошептал он, и вдруг весь парк начал загораться огнями вдоль дорожек, фонтаны засветились изнутри, а небо начало медленно покрываться мандариновыми разводами на темно-синем фоне.

Хорхе не был волшебником, но вот уже неделю он каждый вечер приходил в парк Ретиро, чтобы понаблюдать за тем моментом, когда в опустившихся сумерках включают освещение. Впрочем, этот «момент» длился, наверное, минуты три: фонари разгорались не сразу, они словно старались как можно более незаметно прокрасться в жизнь города, распространяя вокруг себя сначала тусклый, дрожащий ореол слепого лунного света, а потом вдруг набирали обороты, разгорались желтым и оранжевым, и никто уже не мог отменить наступающую в Мадриде ночь.

Времена лихого ветра в его творчестве давно прошли. Хорхе укрощал его в течение пяти лет своего обучения в колумбийской Академии и в результате представил картину «Огненный ветер Эль-Пасо» в качестве своей выпускной работы. Эта же картина обеспечила ему его первую выставку в Боготе: один известный галерист увидел работу на выставке выпускников и заинтересо-

[1] От англ. «something like this», переводится как «что-то вроде этого».

[2] Кошки (*исп.*).

[3] Давай! (*исп.*)

вался ею. С этого события и начала свой путь восходящая звезда колумбийского художника Хорхе Васкеса.

Продолжая вглядываться в оттенки охры на небосводе, Хорхе вспомнил о том, что через две недели, в августе, он участвует в международной выставке Национального музея королевы Софии. Его менеджер Надя уверяла, что картин предостаточно, но для Хорхе это не имело никакого значения: у него никогда не было выбора, когда и сколько ему рисовать. Неделю назад он шел в предвечернее время по парку Ретиро, чтобы полюбоваться скульптурой Падшего Ангела, и вдруг заметил, как разгораются фонари. «Дрожащие сумерки, — подумал тогда он. — Вот и моя следующая картина».

Вдруг он вспомнил другой вечер — тот памятный вечер в Далласе, когда он точно так же осознал, что у него не было другого выбора.

* * *

В начале июля пятьдесят девятого года один из официантов кафе в Эль-Пасо, Хосе, сказал Хорхе, что его брат работает техником в здании цирка в Далласе и что иногда он может бесплатно провести кого-нибудь на представление. На этих выходных приезжали артисты из России, и Хосе предложил поехать.

Обычно им стоило большого труда взять несколько выходных кряду, но на этот раз хозяин заведения легко отпустил их: помимо привычного стоградусного[1] зноя, в Эль-Пасо уже второй день неистовствовал ветер, вздымавший столбы песка и пыли. Жители города ждали дождя, словно Господа Бога. В кафе практически никто не приходил.

На пассажирский поезд, следовавший до Далласа, у них не было денег, и они решили попробовать проникнуть в товарный поезд. К счастью, им удалось договориться с рабочими за небольшую плату, и поздно вечером их впустили в пустой деревянный вагон, который шел в Даллас через Сан-Антонио. Половину дороги они преодолели ночью, когда температура воздуха упала со ста десяти градусов по Фаренгейту до восьмидесяти, зато на следующий день их мучила нестерпимая жара и жажда: несмотря на то, что вагон был деревянный, в полдень молодые люди чувствовали себя словно в индейском темаскале[2].

К вечеру они все же добрались до Далласа, где их сразу же встретил брат Хосе. Он доставил их к началу представления на своем рабочем фургоне и открыл служебный вход, откуда они смогли попасть за кулисы арены.

По пожарной лестнице они забрались на одну из осветительных балок, а оттуда — на маленькую техническую площадку за колонной. Вид отсюда был великолепный, особенно на «воздушные» номера.

Хорхе сидел, прижав коленки к подбородку, и зачарованно разглядывал зал, сияющий множеством огней. Детские голоса внизу сливались в хор, но как только грянули барабаны, все затихли.

На круглую, как пухлый блин, арену вышел важный шпрехшталмейстер (Хорхе, правда, тогда еще не знал этого слова) и, заложив одну руку за спину, начал с классического приветствия:

— Ladies and gentlemen[3]!..

После нескольких полагающихся в таком случае фраз ведущий объявил первый номер.

---

[1] Имеется в виду сто градусов по Фаренгейту (примерно 38 по Цельсию).

[2] Индейская баня, «дом горячих камней».

[3] Дамы и господа! (*англ.*)

— We are happy to present you the first number of our show — the aerial gymnast Marina Golodok![1]

Свет погас, и мир на секунду исчез вместе с ним. А когда арена изнутри засветилась кругами темно-лилового цвета, ровно в центре, опустив голову и изогнув высоко поднятые руки, стояла *она*.

Потом зазвучала громкая, смелая и резкая музыка («Танец рыцарей» Сергея Прокофьева, как он узнал позже). Гимнастка вскинула голову, и прожектор осветил ее лицо, предельно сосредоточенное, с двумя темными безднами глаз и плотно сжатыми губами. Взмах рук — и словно крылья из темного пепла раскрылись за ее спиной. Трапеция словно сама скользнула ей в руки, и девушка начала подниматься выше, раскачиваться сильнее, играя с поперечиной, словно кошка с мышкой, закручивая воздух вокруг себя, совершая немыслимые сальто, падая вниз головой и каждый раз в последний момент хватаясь за спасительную веточку трапеции...

Хорхе не дышал. Он застыл в оцепенении и каждое мгновение выступления ощущал одновременно выпуклым и безнадежно ускользающим. «Madre mía! Она не летает, она играет с воздухом. Я *должен* ее нарисовать».

За время программы она выходила на сцену трижды, и еще раз в самом конце, вместе со всеми артистами. Хорхе любовался ее гибкостью и кошачьей грациозностью, а когда, наконец, понял, что представление заканчивается, начал паниковать. Cómo que?[2] Ему просто необходимо ее нарисовать! Но как это сделать?!

Когда они спустились вниз, Хорхе принялся растерянно топтаться, а Хосе — тянуть его наружу. Наконец ему это удалось, и он сказал:

— Ээ, да ты, амиго, успел влюбиться? Согласен, девчонки все красавицы! Но, слышишь, нам нужно возвращаться на вокзал...

Хорхе ничего не слышал. Он наотрез отказался куда-либо ехать, пока не узнает, где пройдет следующее выступление этой труппы.

— Ты спятил, амиго, — качал головой Хосе.

Хорхе повезло: кто-то из зрителей обронил листовку с программой выступления, на которой было написано, что последним городом в этих гастролях будет Хьюстон. Выступление должно было состояться завтра.

— Я еду в Хьюстон, Хосе, — решительно сказал Хорхе. — Передай Габриэлю, что я заболел. Думаю, через два дня вернусь.

— Как знаешь, амиго, — пожал плечами Хосе. — Я ему передам. Удачи тебе с девчонкой! Адьос!

И он растворился в густой темноте Далласа.

* * *

Марина вдыхала ночной воздух. Балкон в ее старой мансардной комнате был открыт настежь. Она слушала ночные деревенские звуки. Вдалеке только что прошел товарный состав, а теперь собаки лаяли где-то в конце улицы. Иногда, совсем издалека, доносился веселый девичий смех. А потом приходили запахи: из сада аромат белого налива, влажных трав и земли. Марина вздохнула и укрылась одеялом. Кажется, ей наконец-то становилось легче: она все реже проваливалась в яму, наполненную горем и чувством вины перед родителями.

---

[1] Мы рады представить вам первый номер нашего шоу — воздушную гимнастку Марину Голодок!

[2] Как же так? (*исп.*)

Этой ночью впервые за много дней она спала крепко, и только к утру ей приснился сон — словно она очутилась в Хьюстоне в пятьдесят девятом, во время их последнего выступления. Ей снилось, будто в конце выступления в Хьюстоне ей передали букет белого гибискуса. Букет тут же отнял один из сопровождающих в штатском, но в руке у Марины осталась записка, которую она механически спрятала в трико.

Утром, уже после завтрака, перебирая старые льняные скатерти, она вспомнила, что ей тогда действительно передали записку с букетом цветов. Подумать только, если бы этот клочок бумаги застрял в листьях букета или случайно выпал, вся ее жизнь повернулась бы по-другому!

Тогда, после выступления, Марина развернула записку только когда оказалась в гостинице и заперлась в ванной. Печатными буквами там было написано следующее:

«Hola I am painter and want to draw from you. Let me know I am under the windows. Jorge»[1].

Марина разволновалась. Выйдя из ванной, она выглянула в окно. У здания через дорогу сидел на ступеньках крыльца молодой человек креольской внешности. Заметив ее любопытный взгляд, он встал. Марина мгновенно отпрянула и спряталась за шторой.

Через час она не выдержала и рассказала все Гохе. Та удивленно подняла брови:

— Ну так познакомься с ним.

— Ты с ума сошла! За нами ведь следят!

— Завтра у нас свободный день. Вроде бы запланирована экскурсия в какой-то скучный хьюстонский музей. Ты скажешь, что плохо себя чувствуешь, а я тебя поддержу.

— И ты думаешь, оба сопровождающих уйдут с вами?..

— А что? Олег нам с тобой доверяет.

Марина вздохнула. Она очень устала за этот месяц. Ей хотелось какого-нибудь простого девичьего счастья...

Внезапно решившись, она схватила лист бумаги и нацарапала на нем: «I’ll have a time tomorrow morning. Marina»[2]. Затем свернула из записки самолетик, подошла к открытому окну и запустила его в темноту. Горячий ветер подхватил бумажную птицу, на несколько секунд закружил, а затем бросил к ногам Хорхе...

На следующий день труппа ушла на экскурсию в Museum District[3]. Марина, немного выждав, спустилась вниз и вышла через заднюю дверь в небольшой сад, расположенный во дворе гостиницы.

Хорхе уже ждал ее внизу. Он оказался высоким черноволосым парнем скорее испанской, чем мексиканской внешности. На голове у него была классическая техасская шляпа с выгнутыми полями; впрочем, увидев Марину, он тут же ее снял, открыв солнцу копну коротких черных волос и миндалевидные янтарные глаза, в которых плясали веселые искорки. Легкая небритость делала его чуть старше своих лет. Под мышкой он держал несколько листов ватмана.

Марина была очарована его манерами: размеренно поздоровавшись, поцеловав ей руку, он пригласил ее присесть в тени деревьев и начал рисо-

---

[1] Здравствуй я художник и хотел бы тебя нарисовать. Дай мне знать, я под окном. Хорхе (*исп.-англ.*).

[2] У меня будет время завтра утром. Марина (*англ.*).

[3] Квартал Музеев — название района в историческом центре Хьюстона.

вать. В течение часа он сделал несколько карандашных набросков, а потом они долго говорили, и несмотря на то, что у обоих был ужасный английский, они понимали друг друга с полуслова.

Она влюбилась окончательно и бесповоротно: рраз, и все! У него был очень простой и какой-то уютный взгляд на мир. Ей понравились его рассказы об Эль-Пасо, о городе Сьюдад-Хуарес, который лежит по ту сторону мексиканской границы; о пустынях, по которым разгуливают койоты, и конечно, о лихом огненном ветре, который обжигал техасские дома, словно огонь глину.

Марина с грустью сказала ему о том, что завтра вместе с группой она должна уехать на Кубу, а оттуда — в СССР.

— Я успел нарисовать тебя, — улыбнулся Хорхе, указывая на холст, на котором был набросан ее портрет. От этих слов на Марину накатила волна нежности, и она опустила взгляд.

Хорхе легонько тронул ее за плечо и сказал:

— Мальчик-мексиканец, что работает уборщиком в отеле, вечером принесет тебе от меня записку. А ты передашь через него ответ. Так мы сможем попрощаться. Хорошо?..

Марина с грустью рассказала свою историю Гохе. Та заговорщицки сощурилась.

— Я думаю, мы можем кое-что придумать, — улыбнулась она.

Через полчаса они уже приготовили план, в результате которого Марина «опаздывает» на рейс «Хьюстон—Гавана», якобы потерявшись в аэропорту. Следующий рейс летит как раз через неделю, и именно тогда она и отправится на Кубу, чтобы успеть домой вместе со всеми.

Этот план Марина и изложила вечером в своей записке. Низенький смуглый мальчуган, запыхавшийся от бега по лестнице, принес короткий ответ от Хорхе: «Too risky»[1]. Но Марина все же решилась на безрассудный поступок.

Конечно, все получилось не совсем так, как они планировали, но в целом план сработал: пропажу действительно обнаружили только будучи уже на полпути к Гаване. В это время в аэропорту Уильяма Хобби Марина пыталась втолковать полицейским, как могло произойти такое недоразумение. В конце концов через несколько часов ее связали с руководителем группы, который, хоть и был зол, но все-таки решил вопрос ее временного пребывания в Хьюстоне: ей продлили проживание в том же отеле, где они останавливались. Через час ее забрал из аэропорта представитель Американской Цирковой Ассоциации. Он был очень заботлив: объяснил, что она ни в коем случае не виновата в случившемся недоразумении и что в Хьюстоне и окрестностях она сможет отдохнуть не хуже, чем на Кубе. После этого он оставил ей немного наличных и номер телефона дежурной службы Ассоциации.

Оставшись одна в номере, Марина села на кровать и растерянно застыла в тишине. Она вытащила пятидесятидолларовую купюру и не дыша рассматривала ее минут десять. А потом она, наконец, поняла — у нее есть неделя свободы. Неделя с Хорхе. Неделя только ее Америки.

* * *

Хорхе стоял у мольберта в своей мастерской. Окна ее были открыты нараспашку, ставни легонько покачивались от ветра. У Хорхе затекла спина, и время от времени он отходил от холста и садился на стул в дальнем углу

[1] Слишком рискованно (англ.).

комнаты, следил глазами за солнечными бликами на стенах, вытирал лоб платком и делал пару глотков воды.

«El calor y color![1] — думает он. — Этот чертов Техас приучил меня к жаре, поэтому я перебрался в Мадрид. Bobo![2]».

Пот струился по его бронзовому лбу, и Хорхе снова вытерся большим белым платком. Затем подошел к мольберту, взял палитру и начал смешивать краски. Синий прусский, синий лазурный, кобальтовый синий темный и немного желтой охры светлой... Черт возьми! Хорхе понимал, что злится, и цвет неба для «Дрожащих сумерек» тоже выходил у него чуть злее, чем нужно. Он злился, потому что дело вовсе не в жаре, подумал он. Нет, не в жаре.

Хорхе осторожно взял кисть, обмакнул ее в получившуюся смесь и медленно сделал широкий жирный мазок. Кисть оставила на холсте след мадридских сумерек, но Хорхе вспомнил сейчас другие... Сумерки, в которых было меньше кобальтового синего и больше венецианского красного.

Тридцатого июля пятьдесят девятого они шли по бульвару Сансет, медленно, чувствуя каждый свой шаг. Он обнимал ее за плечи и иногда поглядывал исподтишка, стараясь запомнить цвет ее кожи в синеющем воздухе, когда фонари только начинали зажигаться. Он смастерил мольберт и раздобыл краски в тот самый день, когда Марина вернулась из аэропорта в сопровождении представителя Ассоциации. И сразу же начал писать ее портрет.

Они медленно шли по направлению к Германн-Парку. Сумерки сгущались, невыносимая жара спадала, и город наконец-то погружался в мягкое тепло субтропиков. В густеющей тишине было слышно, как на бетонированные дорожки изредка падают желуди.

— Тебе не грустно, что я должна уехать? — внезапно спросила Марина.

Хорхе обнял ее сильнее.

— Грустно. Но пока ты здесь, я не хочу об этом вспоминать. У нас могло бы и не быть этой недели.

Они немного помолчали. Под ногой Марины сухо треснул желудь.

— Знаешь, о чем я подумала?.. Я ведь еще много буду выступать. Я думаю, мы с труппой объездим всю Европу. Давай встретимся где-нибудь... Например, в Испании. Давай? Ты будешь следить за новостями, а когда узнаешь, что наш цирк собирается приехать в Барселону или Мадрид, ты тоже приедешь. Ты ведь уже знаешь, как меня найти?..

Сначала Хорхе смутился, потому что в ближайшие годы он вряд ли сможет позволить себе такое путешествие. К тому же он не хотел надеяться. Он понимал, что в их случае было бессмысленно думать о будущем.

Но тогда он ответил:

— Puede ser[3]. Даст Бог, мы и правда встретимся когда-нибудь в Мадриде...

Хорхе вытер ладони от краски, отошел от мольберта и уперся обеими руками в подоконник. Окна его мастерской выходили на улицу Сан-Маркос. Воздух плавился; город тонул в тягучем сиропе сиесты, прохожих не было, и только изредка проезжали машины.

— Marina, Marina, — вздохнул Хорхе. — Где же ты теперь?..

---

[1] Зд.: игра слов «Жара и цвет!», в испанском языке это слова-паронимы.

[2] Дурак! (*исп.*) *Примечание автора. Климат Боготы, родины Хорхе, несмотря на географическую близость к экватору, очень прохладный. Практически круглый год там сохраняется средняя температура +15С, что соответствует концу мая в наших широтах.*

[3] Может быть (*исп.*).

* * *

В старом доме тихо. Елена отправила своих дочерей и внуков к их двоюродным и троюродным братьям: они уже успели не только познакомиться, но и подружиться. Сама же она осталась дома с матерью. Утром они ездили на кладбище, где были похоронены ее бабушка и дедушка, Анна и Аркадий Голодок. После возвращения мать ушла наверх, попросив оставить ее одну.

Елена сидела за столом, перебирая старые фотографии, и тревожно вслушивалась в тишину. Ее беспокоило состояние матери: поездка на кладбище плохо сказалась на ее самочувствии. Возвращаясь домой, мать тяжело дышала, словно несла неимоверно тяжелый груз.

В тишине громко тикали настенные часы в гостиной, кажется, с каждой секундой немного громче. Это тиканье слышала и Марина. Она лежала, свернувшись на кровати калачиком, чувствуя себя одновременно очень старой и очень маленькой, беззащитной перед лицом судьбы, неминуемо приближающей ее к смерти. Когда эта боль немного отступила, ее внимание привлек яркий луч света, упавший сквозь занавески. Он задрожал, начал расширяться и вдруг заполнил собой всю комнату... Но нет, это не комната, а залитая солнцем улица Долороса перед собором Сан-Фернандо в Сан-Антонио. Они поехали туда за два дня до ее отъезда. Хорхе очень хотел показать ей этот город: здесь сосредоточилась история Техаса, здесь по улицам ходили настоящие ковбои в шляпах и в сапогах со шпорами; здесь по реке плавали в лодках веселые мексиканцы в сомбреро; здесь готовили вкуснейшие enchilada и burrito[1], и конечно, здесь было просто красиво, совсем иначе, чем в Хьюстоне.

Марина запомнила эту поездку так ясно, что могла бы начертить маршрут их прогулки по памяти. Стоял июль, и весь Техас в ту пору плавился от зноя. Они посетили несколько музеев, чтобы не испечься заживо, и только к четырем часам осмелились выйти к реке Сан-Антонио, чтобы прогуляться по набережной. Марина смотрела на рыб, плескавшихся прямо под ногами, и поймала себя на мысли, что ей абсолютно не верится, что через каких-то три дня она будет шагать по московским улицам.

— Я хочу тебе кое-что показать, — вдруг сказал Хорхе и повел ее в сторону от реки.

Они вышли на Норд-Нью-Браунфелс авеню, некоторое время шли по нему, а затем свернули на неприметную улочку. По обе стороны располагались двухэтажные дома в мексиканском стиле; у домов стояли местные торговцы с лотками всякой всячины. Одни продавали фрукты, другие — украшения и всякую сувенирную мелочь, третьи — шляпы и маракасы... Чем дальше они углублялись, тем больше улица превращалась в ярмарку нескончаемого праздника. От здания к зданию были натянуты флажки и ленты, а улица жужжала, словно улей. Внезапно из ниоткуда возникли приземистые мексиканцы в сомбреро и с гитарами[2], они запели что-то на испанском, звонкое и в то же время неторопливое, тягучее. В воздухе носился запах мексиканской кухни: терпкий, горько-сладкий и пряный одновременно.

Хорхе вел ее за руку, идя на шаг впереди, время от времени оглядывался и подмигивал: мол, как тебе, а?.. Марине происходящее казалось нереальным:

---

[1] Энчилада и буррито — традиционные блюда мексиканской кухни, лепешки тортильяс с начинкой. Первое представляет собой кукурузную, второе — пшеничную лепешку.

[2] Речь идет об ансамблях «мариачи», которые исполняют мексиканскую народную музыку.

она шла, словно во сне, флажки мелькали, а гитарные переборы превратились в рокот, словно это улица говорила с ними своим утробным голосом.

Наконец они вошли в какое-то здание с глиняными стенами: оказалось, это пекарня. Внутри, помимо флажков, висело множество блестящих гирлянд. Хорхе подошел к пухлой мексиканке с раскосыми глазами и звенящими браслетами на руках и сказал ей что-то на испанском. Спустя несколько мгновений она протянула им два аппетитных румяных пирожка.

Они присели в углу за круглый столик, выложенный разноцветной мозаикой с индейским орнаментом. Марина тогда здорово проголодалась и потому поспешно откусила пухленький кусочек. Через две минуты ее охватил ужас: казалось, во рту поселился огонь и из ушей у нее вот-вот пойдет дым. На глаза непроизвольно навернулись слезы.

Хорхе засмеялся и принес стакан воды.

— Pimentero![1] — сказал он.

Марина жадно выпила пахнущую кокосом ледяную воду. Хорхе спокойно жевал свой empanadas: за год он уже привык к мексиканской кухне, и к тому же, как и многие южане, был не слишком чувствителен к перцу чили.

* * *

Последний день Марины в Хьюстоне тоже начался с солнечного луча, что проник между штор и упал прямо на лицо Марины, когда она еще спала. Она лениво заворочалась, а потом вдруг вскочила, вспомнив, что вечером вылетает в Гавану.

Хорхе в комнате не было. Обычно он просыпался на рассвете, брал мольберт и шел рисовать в сад. Марина вставала чуть позже и занималась двухчасовой разминкой.

В день отъезда упражнения помогли ей себя дисциплинировать. На глаза то и дело наворачивались слезы, но она упорно концентрировалась на своем дыхании и продолжала тренироваться, движение за движением. Когда Хорхе вошел в комнату, она стояла на руках. Он мгновенно подбежал, обхватил ее вокруг корпуса и начал кружить, а Марина хохотала и пыталась отбиваться...

— Я почти закончил твой портрет, — сказал он, когда они сидели за полдником в кафе отеля на первом этаже. Кроме них, в кафе никого не было.

— Уже? — Марина удивленно подняла брови, опуская чашку на стол.

— Хотел успеть, чтобы ты могла забрать его с собой.

Марина покачала головой.

— Это вряд ли возможно. Нас будут очень строго досматривать на выезде. Портрет могут забрать.

Хорхе вздохнул.

— Что ж, тогда, по крайней мере, я его доработаю, — сказал он. — Пойдем, ты обязательно должна посмотреть!

Спустя несколько минут они вошли в сад. Марина несмело подошла к мольберту, стоявшему в тени деревьев. Лукаво посмотрела на Хорхе.

— Можно?

Он кивнул.

Хорхе обладал потрясающим талантом передавать тончайшие детали характера, усиливая те из них, что были скрыты на первый взгляд, но составляли важную часть личности. С картины на Марину глядела другая Марина — смуглая, с тонкими изогнутыми бровями, выгоревшими волосами

[1] Перец (*исп.*).

и немного дерзкой улыбкой. Еще бы — она никогда в жизни не рисковала так, как в этой поездке!

В половине шестого вечера они сидели на скамье у входа в отель. Через полчаса должен был приехать представитель цирковой ассоциации и забрать Марину в аэропорт. Вечер выдался безветренный, и было слышно, как падают с дубов желуди. Они здесь падали почему-то круглый год, хотя Хорхе сказал, что в октябре начнется настоящий «желудевый дождь».

Они немного посидели в тишине.

— Жаль, что ты не сможешь взять с собой портрет, — с грустью сказал Хорхе.

Марина молчала. Ей было тяжело говорить, но она попыталась улыбнуться.

— Ты не виноват.

Хорхе задумчиво покачал головой.

— Я вышлю его по почте.

— Не нужно! — запротестовала Марина. — Скорее всего, он потеряется, так пусть лучше хранится у тебя!

Он молча обнял ее, и так они просидели остаток времени, пока ровно в шесть из-за угла не вынырнула машина. Хорхе поднялся, продолжая сжимать Маринину руку, а затем слегка наклонился, поцеловал ее в висок и тихо сказал:

— Adiós!

Марина успела словить его взгляд: янтарные глаза заблестели, и он поспешно отвернулся, отступил на пару шагов и остался стоять в тени деревьев, чтобы проводить машину взглядом.

Водитель вышел из желтого кэба и, широко улыбаясь, подхватил Маринин чемодан.

По дороге в аэропорт все тот же представитель Ассоциации, мистер Хью Джонс, расспрашивал, понравилась ли ей Америка. Марине не хотелось говорить. Она только спросила, как она сядет в самолет. Мистер Джонс протянул ей что-то вроде открытки. Это была схема аэропорта.

— Красными стрелками обозначено, куда вам нужно идти. Ваша цель — ворота номер семь.

Марина кивнула.

— А как же билет? — спросила она. Только сейчас до нее с ужасом дошло, что у нее нет вообще никаких документов: всем занимался руководитель группы. Даже Маринин паспорт был сейчас у него, на Кубе!

Мистер Джонс покачал головой.

— В этом нет никакой необходимости. При посадке вы просто покажете обратную сторону этой открытки.

Марина перевернула схему. На обратной стороне был вензель Американской Цирковой Ассоциации и данные мистера Джонса: его телефон и адрес.

Это немного успокоило Марину. Через несколько минут грусть расставания уже заглушила тревогу.

Правда, у нее возникло странное чувство, когда она подавала документы и эту открытку симпатичной мулатке — служащей аэропорта, которая ждала ее у ворот номер семь. Мулатка посмотрела на нее с интересом и широко улыбнулась, блеснув белоснежной улыбкой:

— Welcome on board![1]

Через два часа Марина приземлилась в Сан-Франциско. Минут тридцать она на грани истерики металась по огромному аэропорту, пока, наконец,

---

[1] Добро пожаловать на борт (*англ.*).

не обратилась в полицию. Вместо билета она показала им открытку от мистера Джонса. Полицейские, очевидно, позвонили ему; после десятиминутного разговора полицейский пожал плечами и сказал ей:

— Мы доставим вас в офис Цирковой Ассоциации.

— Нет! — Марина почти кричала. — Мне нужно лететь на Кубу! Завтра вечером я должна быть в Москве!

— Боюсь, что это невозможно, — спокойно прервал ее офицер. — Из этого аэропорта самолеты не летают на Кубу. Я отведу вас к коллегам, а они подбросят вас до офиса Ассоциации. Сохраняйте спокойствие.

Когда она прибыла по назначенному адресу, в офисе находился только один дежурный сотрудник. Он сказал:

— Мне жаль, но мы вынуждены отложить решение этого вопроса до завтрашнего дня. Сегодня все уже закончили свою работу.

У Марины перехватило дыхание.

— Я всего лишь дежурный администратор, — развел руками сотрудник.

Он отвел ее в гостевую комнату, а через полчаса принес два горячих куска толстой пиццы. Марина не съела ни крошки и уснула только под утро.

На следующий день представители Цирковой Ассоциации собрали целый консилиум. Марину поставили в известность, что каким-то образом она «перепутала» рейс, и советские власти могут расценивать это как вторую попытку дезертирства. Соответственно, представители Ассоциации, безусловно, могли бы содействовать ее возвращению в Москву, но они не станут этого делать, так как Марина, вероятнее всего, подпадет под действие шестьдесят четвертой статьи. А значит, ей грозит наказание вплоть до смертной казни.

В свою очередь, Ассоциация предлагает ей сотрудничество. Она может остаться в США, выступая в числе одной из знаменитых калифорнийских трупп.

— Вы можете дождаться здесь, пока законы вашей страны станут более гуманными, — снисходительно заявил один из менеджеров. — Кроме того, — увесисто прибавил он, — вы будете иметь достойную компенсацию всех этих неприятностей. Вы получите тысячу долларов на обустройство в Сан-Франциско уже завтра. А вот столько, — он широким росчерком написал что-то на бумаге, — вы заработаете за месяц гастролей.

Он придвинул бумагу к Марине.

У нее, конечно же, не было выбора. Даже если бы ей пришлось выступать за еду и крышу над головой, ей пришлось бы остаться.

Через три месяца она познакомилась с Джеймсом, своим будущим мужем. Помнится, она пыталась договориться с чернокожей кассиршей в новом магазине. У кассирши был жуткий, совершенно неразборчивый американский английский, и Марина никак не могла понять, каким образом ей нужно оформить чек, а Джеймс помог ей разобраться, а затем подвез ее домой. Ровно через год после знакомства он сделал ей предложение, и надежда вернуться в СССР поблекла для Марины окончательно.

Но воспоминания о Хорхе Васкесе никуда не исчезли. Еще в самом начале пребывания в Калифорнии, спустя несколько недель после инцидента с подменой билета, Марина отыскала в справочнике номер телефона кафе, в котором работал Хорхе в Эль-Пасо, и позвонила. Ей ответил хриплый мужской голос:

— Hola!

В трубке что-то шипело, сквозь шипение были слышны автомобильные гудки и звон посуды.

Марина спросила, где Хорхе, и несколько минут слушала быструю испанскую речь, пока, наконец, не добилась от собеседника нескольких фраз на ломаном английском:

— He left when that crazy wind began to blow. We thought the wind stole him. God, it was blowing all the week! Where he's gone? I'll be damned if I know![1]

Нити оборвались.

* * *

За несколько дней до открытия выставки у Хорхе разболелась спина, да так, что он мог рисовать всего два часа в день, а все функции по организации выставки Национального музея королевы Софии пришлось передать его помощнице — Наде. Надя приехала в Мадрид с острова Мальта десять лет назад и с тех пор помогала Хорхе с его выставками. Она превосходно справлялась с работой и никогда не вторгалась в его личное пространство.

Хорхе за свою долгую жизнь так и не женился; он очень много работал и был по-настоящему предан искусству. Если его захватывала идея картины, он не выпускал кисть из рук до тех пор, пока не заканчивал работу.

Портрет Марины был единственным исключением из правил. Хорхе закончил его уже в Боготе (куда он вернулся сразу после их расставания в Хьюстоне). Он ни разу не выставлял его и, разумеется, не продал. С этим портретом он впервые приехал в Мадрид, и эта поездка была действительно связана с гастролями Московского цирка в 1965 году.

Помнится, с каким сильным волнением он ожидал тогда выхода артистов на сцену. На коленях у него лежал плотно завернутый в пергамент портрет, и время от времени Хорхе сжимал его раму, словно ища поддержки. Однако Марина так и не вышла, хотя Хорхе узнал некоторых других членов ее труппы. Волнение сменилось тревогой: тогда он впервые осознал, что, скорее всего, Марина утрачена для него навсегда.

Но во время той поездки Хорхе влюбился в Мадрид. Этот город напоминал ему его самого, и через несколько лет он переехал туда.

Но что заставило его окунуться в эти давнишние воспоминания сейчас? Сон, который он увидел две недели назад? Или, может быть, погода: уж больно она смахивала на техасскую в этом году. Хорхе не знал точного ответа на этот вопрос. Он лежал на спине и смотрел на часы: они показывали половину третьего. «Устал я от этих воспоминаний», — с тоской подумал он. Потом, собрав силы, кряхтя и бранясь, он тяжело поднялся с тахты и отправился в мастерскую.

В мастерской, бранясь все крепче, он перебрал эскизы и уже готовые картины, лежавшие в специальном шкафу для хранения работ, не предназначенных для открытых выставок. Потом, хмуря лоб и держась за поясницу, пошел в свой кабинет — маленькую комнату, отделанную красным деревом с массивным столом в центре комнаты. Там он сдвинул в сторону «Огненный ветер Эль-Пасо» — его он тоже так и не продал. За картиной находился сейф, и Хорхе долго возился с замком. Наконец что-то щелкнуло, и дверца медленно уплыла в сторону. Хорхе перебрал содержимое — несколько картин и наличные, затем закрыл сейф и повесил на место картину.

Еще некоторое время он вглядывался в ее застывшую масляную поверхность. На картине был изображен угол Аризона-стрит и Калифорния-стрит в Эль-Пасо; раскаленное добела солнце словно пыталось ослепить того, кто

[1] Он исчез, когда начал дуть тот безумный ветер. Мы думали, это ветер его унес! Боже, это продолжалось целую неделю. Куда его унесло? Если б я знал, черт возьми!

глядел на картину, и все, кто видел ее впервые, поневоле щурились. В центре картины плясал песчаный вихрь, живой, дерзкий и игривый. На заднем плане виднелись очертания гор Франклина.

Хорхе погрозил вихрю кулаком, придвинув кресло к себе, опустился в него и с минуту смотрел на пустой стол. Он не был согласен с тем, что художник живет в состоянии творческого хаоса, и содержал мастерскую и кабинет в идеальном порядке. Затем он достал из кармана мобильный телефон и набрал номер Нади.

— Hola! — громко и резко заговорил он. — Надя, я не могу найти портрет Марины. Где он? — Минутная пауза. — Да, поищи, пожалуйста. И ты же знаешь, его нельзя выставлять. Если он каким-то образом оказался в музее, забери его из коллекции и привези мне. — Снова пауза. — Да. Muchas gracias[1].

* * *

Марина сновала по старому дому, наводя порядок. Спустя несколько недель пребывания в России она наконец-то пришла в себя, и дом ей в этом очень помог. Каждая вещь в доме была вымыта, протерта и, если нужно, отремонтирована; ветошь выбросили, в некоторых комнатах сделали перепланировку, другие начали готовить к ремонту. Марина чувствовала себя так, словно генеральная уборка происходила не только в этом доме, но и в ее жизни: она все реже ощущала себя подавленной, чувство вины понемногу отпускало.

Сегодня она поймала себя на мысли, как приятно ей быть хозяйкой в этом доме. Время от времени слышался детский смех, в соседней комнате что-то бормотал телевизор. «Может быть, я останусь здесь? — подумала она. — Когда уедут дети, в гости будут приходить племянники со своими малышами. И я буду ближе к корням...»

Она увлеченно натирала старый самовар, гордость ее матери. Стоял жаркий полдень, Елена занималась обедом на кухне, Кристина отправилась в магазин. Внезапно раздался шум: в соседней комнате резкий порыв ветра распахнул окно с такой силой, что рамы стукнулись друг о дружку, а стекла пронзительно зазвенели. Марина поспешила к окну, чтобы прикрыть его, и с удивлением отметила странный цветочный запах... Запах белого гибискуса. Но откуда он здесь?

Ее мысли прервал голос из динамиков телевизора, стоявшего у окна.

«...Новости культуры на канале Евроньюс. Завтра в Мадриде, в Музее королевы Софии, открывается выставка колумбийского художника Хорхе Васкеса. Среди представленных картин его знаменитые пейзажи Эль-Пасо и...»

Марина не поверила своим глазам. Среди пейзажей камера случайно выхватывает портрет женщины... Ее портрет. Она видела его почти завершенным в их последний день в Хьюстоне. Ошибиться было невозможно.

В комнату вошла Кристина, младшая из внучек. Она унаследовала бабкину спортивную фигуру, но лицом походила на своего отца, Стивена, типичного бизнесмена из Лос-Анджелеса. Во время этой поездки она скучала больше всех: ее страсть к нарядам здесь было не с кем разделить, и она использовала любую возможность для визита в Москву.

— Are you ok, grandma?[2] — спросила она, заметив бабушкино волнение.

Марина пару секунд помолчала, а затем решительно повернулась к ней.

---

[1] Большое спасибо (*исп.*).

[2] С тобой все хорошо, бабушка? (*англ.*)

— Yes, my dear. And — you know what? — we're going to Moscow right away[1].

— Why?[2] — удивилась Кристина с типичным американским растягиванием «а».

— I need new dress. A very good dress[3].

* * *

Спустя двое суток Марина шла по аллее Делисиас, шаг за шагом приближаясь к Музею королевы Софии. На ней было элегантное белое платье, подчеркивающее калифорнийский загар: они с Кристиной выбирали его часа четыре кряду, и за это время внучка не раз успела удивиться бабкиной настойчивости и безукоризненному вкусу. В итоге они остановились на классическом варианте платья клеш слегка за колено: Марина осталась довольна, Кристина вздохнула с облегчением.

Сиеста уже заканчивалась, но было все еще душно. Солнце жгло беспощадно, многократно отражаясь от широкого асфальтового полотна и домов. Внезапно Марина почувствовала сильную тревогу. Шаги ее, поначалу бодрые и уверенные, стали замедляться, и в конце концов она растерянно остановилась посреди широкой оживленной улицы и оглянулась по сторонам.

По дороге деловито сновали машины, за рулем которых сидели загорелые незнакомые люди. Прямо рядом с собой Марина заметила супермаркет «Lidl», из которого выходили несколько женщин ее возраста; они увлеченно о чем-то болтали, затем подошли к припаркованной у обочины машине и, не спеша уложив покупки, уехали.

Внезапно она снова ощутила себя безнадежно постаревшей. «Что я пытаюсь себе доказать? Что любовь бессмертна или что-то в этом духе?.. В Мадриде полно красивых женщин. А может быть, его жена колумбийка, и у них четверо детей и семеро внуков. Что я здесь делаю?..»

Мысли метались в ее голове, словно бабочки под стеклянным колпаком. Сомневаясь в своем решении все больше и больше, Марина уже начала отыскивать глазами такси.

Ее мысли прервал разговор в стороне: кто-то упомянул название города Эль-Пасо. Марина оглянулась и увидела бодрого пожилого испанца в сопровождении небольшой группы студентов. Активно жестикулируя, старичок горячо обсуждал вклад Хорхе Васкеса в культуру постмодерна. Заметив Марину, преподаватель внезапно приостановился.

— Сеньора, вы словно сошли с картины художника, о котором мы сейчас говорим. Не хотите ли посетить его замечательную выставку? Пойдемте с нами!

Улыбнувшись, Марина, наконец, решительно последовала в сторону площади Аточа в сопровождении испанца и студентов.

* * *

На третий день своей выставки Хорхе сумел-таки выбраться в музей. Эта чертова спина прихватила его так, что он даже не пришел на открытие! Надя совсем забегалась и упустила из виду то, что портрет Марины не убрали вовремя. Впрочем, он сам виноват — взвалил на бедняжку слишком много дел.

---

[1] Да, моя дорогая. И знаешь что? Мы едем в Москву прямо сейчас.

[2] Зачем? (*англ.*)

[3] Мне нужно новое платье. Очень хорошее платье (*англ.*).

Но сейчас он чувствовал себя намного лучше и ходил посреди своих картин, словно дьявол: на нем был костюм цвета сиены и трость с набалдашником в виде бронзовой волчицы. Трость стучала о мраморный пол с мозаикой, а в неизменных его очках отражались пустыни Техаса, колумбийские горы, улицы мексиканских городов... Время от времени к нему подходили владельцы галерей, художники, коллекционеры, но Хорхе сегодня был не в духе и ничего не хотел продавать. В галерее было душно, и в конце концов он отошел в угол зала и остановился у распахнутого окна. Горячий ветер осторожно трепал его седеющую шевелюру. Хорхе снял очки и принялся протирать их платком, когда за его спиной послышались легкие и в то же время звонкие шаги. Теплая рука легла на его плечо, и Хорхе, вздрогнув, оглянулся.

— Yo vine por su retrato[1], — с легким акцентом произнесла Марина и, лукаво наклонив голову, заглянула в его янтарные глаза.

От неожиданности Хорхе уронил трость на мраморный пол. Перед ним стояла его Marina — смуглая как никогда прежде, с тонкими изогнутыми бровями, выгоревшими волосами с проседью и все той же дерзкой улыбкой.

Через долгих десять мгновений удивления, восхищения, восторга Хорхе, едва справляясь с эмоциями, крепко обнял ее и долго не отпускал.

— Creo que quiero a dibujar de nuevo[2], — сказал он, наконец, глубоко дыша, пытаясь спрятать слезы.

Марина крепче прижалась к нему и погладила по копне жестких седых волос.

— Me muestras a Madrid?[3] — спросила она, снова заглядывая в его глаза.

* * *

— Dónde está Jorge?[4] — Надя, организатор выставки, задавала этот вопрос уже в третий раз, пытаясь отыскать Хорхе. Один из покупателей крайне настойчиво просил продать ему несколько картин, и ей срочно нужно было переговорить с художником. Наконец, заметив очертания его фигуры в левом крыле галереи, она бросилась туда. Когда же после бесконечных извинений перед посетителями, которых ей пришлось растолкать, она, наконец, достигла крыла, Хорхе вместе с какой-то стройной женщиной в белом платье неспешно приближался к выходу из галереи.

Надя собиралась было окликнуть его, но в этот момент Хорхе открыл перед женщиной высокую стрельчатую дверь, и луч яркого солнца осветил лицо незнакомки. Пораженная своей догадкой, Надя остановилась в замешательстве. «Разве он не выдумал ее?» — промелькнуло в ее голове.

Словно отвечая на ее мысли, Хорхе, уже наполовину в дверях, оглянулся и, счастливо улыбаясь, помахал Наде рукой, а затем исчез.

— Вот же дьявол, — пробормотала она, вдруг рассмеялась и, развернувшись на каблуках, помчалась продавать картины.

---

[1] Я пришла за своим портретом (*исп*).

[2] Кажется, я снова хочу тебя нарисовать (*исп.*).

[3] Ты покажешь мне Мадрид? (*исп.*)

[4] Где Хорхе? (*исп.*)



ОЛЕГ АНАНЬЕВ

Беларуси седая мадонна

* * *

Мне было чуть больше года...
Фашист тот, видать, шутник —
Швырнул меня до небосвода
И выставил острый штык.

Рванулась, толкнула фрица,
Успела у смерти отнять
В тот миг поседевшая птица —
Моя быстрокрылая мать...

Да нет же, историю эту
Лишь только во сне увидал,
Но помню: на всю планету
Я «ма-ма!» тогда прокричал.

Проснулся, а эхо все длилось
В разорванной той тишине,
И мамино фото светилось
Иконой на темной стене...

А сон этот вовсе не странный:
Пусть не был я в адском огне,
Но память в крови моей мамы,
А значит — она и во мне

Пульсирует, ало струится,
Храня в сердце свет и тепло...
Седая — нет! — белая птица
Над миром вздымает крыло...

* * *

Беларуси седая мадонна
Выпускает молитвенных птиц —
Деревенская бабка Матрена —
Лик святой меж иконных лиц.

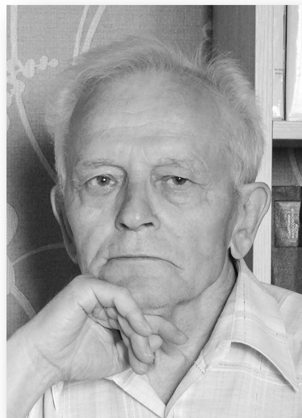
Дел ее неуемная прялка,
Слово дивное — мудрости нить.
Не вещунья она, не гадалка —
Просто знает, как надобно жить:

«Коротенечек век человечий,
А денечек — как хвостик овечий:
Едва сито свито,
Золотом обвито,
Глядь — из окна в окно —
Прыг — золото бревно.
Закатилось солнце —
Ну месяц гулять,
Звезды в оконце —
Пора почивать...

Чтоб денечек был длиньше года,
Чтобы ночка цветочком цвела,
Наполняется медом колода,
Продлевают век добры дела!

Жизнь свою — уже мне поверьте —
Не годами, — делами мерьте, —
Говорю вам, смеясь и слезясь, —
Оттого и боюсь я смерти,
Что работать в гробу нельзя».





АЛЕКСАНДР ОСИНОВСКИЙ

Портрет мальчика на грозовом фоне

Документальная повесть

Много ли может помнить пожилой человек из того, что он пережил в возрасте от семи до одиннадцати лет? Скажу за себя — много! Тем более что годы эти пришлись на годы страшной войны. О ней и написано очень много, но все ли сказано? Конечно, не все. И поэтому продолжать говорить надо. Ведь человечество и сейчас «заигралось» у края военной пропасти. Так что надо напоминать и напоминать о том, что принес на нашу землю вновь зарождающийся фашизм. Напоминать пусть даже тем малым, что пережил в той войне лично я или кто-то еще.

Плакала Саша, как лес вырубали...

Эти стихи Некрасова я с довоенных времен знал наизусть и всегда охотно читал их вслух, если находились слушатели. Мне было очень жаль замечательный русский лес, который злые люди обрекали на такие страшные муки. Как и девочка Саша, моя тезка из стихотворения, я все так близко принимал к сердцу, что у меня по щекам слезы текли. Прочитал я его как-то и в партизанской лесной землянке, где моими слушателями кроме родителей и сестры были еще члены семьи дяди Федора. Он плакал чуть ли не навзрыд, слушая меня. Мой отец слушал, низко опустив голову, а потом прижал меня к себе и сказал задумчиво: «Ничего, Сашок, даст бог, перезимуем. Назло фашистам уцелеем!»

Землянка наша была просторная, как крестьянская изба. В правом углу от входа была сложена большая русская печь. За ней тянулись широкие полати, на которых на ночлег располагалась вся Федорова семья... Нет, не вся! Двое его старших сыновей были в Красной Армии. Средний сын партизанил. С родителями оставались только младшие дети: еще один сын, ровесник моему брату, и дочка лет двенадцати. А еще с ними жила сноха, жена одного из старших сыновей, с грудным ребенком. И нас было четверо: отец, мать, моя сестра и я. Значит, всего в нашей землянке жило десять человек. Мой четырнадцатилетний брат уже был в партизанском отряде и выполнял задания по разведке. Отец по возрасту и слабости здоровья в партизаны не годился, но иногда тоже выполнял некие партизанские поручения.

Наша семья занимала более короткие нары слева от входа. Впереди было довольно большое окно, даже с форточкой. Под окном стоял грубо, но крепко сколоченный стол, покрытый клетчатой клеенкой. За ним наши семьи по очереди совершали скудные трапезы. На углу у печки стоял светец, состоявший из толстого низенького чурбана с воткнутым в его сердцевину тонким стволом орешника. Орешник был сверху расщеплен,

и в щель вставлялась с одного конца зажженная лучина. Она-то и освещала по ночам землянку.

Я часто сидел на полатях возле светца и менял лучину, когда она догорала до держателя. Угольки от лучины падали в лохань с водой, стоявшую под светцом. Была у нас в землянке и самодельная ручная мельница, жернова которой представляли собой два толстых березовых чурбака. На рабочих поверхностях чурбаков была радиальная насечка из осколков битого чугуна. Нижний жернов имел ограждение из жести, верхний — ручку для вращения. Крутить такую мельницу было нелегко, но иногда и у меня что-то получалось.

Землянку соорудили, и печку в ней сложили, и всю нехитрую мебель для нее смастерили дядя Федор и мой отец. Правда, котлован под землянку и накат бревен делали всем миром, то есть силами всего нашего лесного лагеря. Руководил работами и сам много работал, конечно же, Федор, так как был он мужик энергичный, хозяйственный и смекалистый. Над моим отцом в процессе работы он иногда посмеивался, но безобидно, так как очень уважал его как учителя за ученость и часто с ним советовался, когда дело касалось каких-либо, так сказать, теоретических вопросов. То есть они, как мне теперь кажется, удачно дополняли друг друга.

Долгими зимними вечерами при свете лучины они любили вести длинные неторопливые беседы. Я внимательно их слушал, мало что понимая. Еще меньше помнится что-либо из их разговоров. Но помню, о чем чаще всего шла речь. Они говорили о колхозах, о каких-то бурных событиях в деревне и, конечно же, о войне. О ней говорили мрачно, но верили, что немцев наши в конце концов победят. И не просто победят, а побьют начисто! Вспоминали и нашего Мишу, и Федоровых старших сыновей, которые учились у моего отца, потом поступили в военные училища и стали профессиональными военными. Теперь бьют где-то ненавистных гитлеровцев. На печке лежал младший сын Федора, тоже прислушивался к разговору и периодически громко вставлял свои задорные реплики.

Из всего тогда слышанного от них мне особо запомнились уже знакомое словосочетание «Пакт о ненападении» и новое — «Победа под Москвой». Первое было холодным и невразумительным, а второе — ярко радостным и теплым. Я сидел возле светца и, глядя в огонь горящей лучины, представлял себе приход Красной Армии как огромный свет, который и зимнюю-то ночь превратит в летний день. И появятся перед нами, как сказочные богатыри, сыновья дяди Федора, а с ними и мой брат Миша. В тот момент мы еще не знали, что он уже погиб, выполняя разведывательное задание командования партизанского отряда.

По-видимому, именно в этой лесной землянке у меня стала развиваться мечтательность, часто потом притуплявшая во мне ощущение и голода, и холода, и периодически возникавших опасностей. По-настоящему страшно мне становилось редко. Вероятно, потому, что всегда поблизости находились мои близкие. Страх подавляло детское, может быть, немного глуповатое любопытство. Мысль, что я могу умереть от голода или погибнуть от пули, никогда не приходила мне в голову. Видно, так уж работает детское сознание.

Так как проблемы с дровами у нас существовать не могло, то в землянке нашей всегда было тепло и уютно. Огонь мы добывали с помощью стального кресала, выкованного в виде буквы «С», острого кусочка кремня и так называемого трута, положенного под кремень. Трут — это хорошо высушенный несъедобный гриб, рыхлый по структуре. Когда на него попадала искра

от кресала, он начинал тлеть. Тогда надо было его раздуть и с помощью сухих листьев или бумаги получить пламя. Этим способом добывания огня пользовались и взрослые, и дети.

До самых морозов мы, дети, жгли в лесу небольшие бездымные (с целью маскировки) костры и готовили на них для себя что-нибудь мало-мальски съедобное: пекли в золе желуди, над пламенем поджаривали рябину, калину, грибы, коренья. А дома, то есть в землянке, меня ждали щи из различных трав с грибами и чуть-чуть с картошкой. А еще бывала каша из чего-то такого, что кашей можно было назвать только по густоте. Она рассыпалась во рту, но не жевалась, и чтобы ее проглотить, надо было непременно запивать чаем. Правда, чай из лесных трав всегда был ароматным. Не хватало в нем только сахара. Основным компонентом чая был багульник. Помнится, его запах мне тогда страшно надоел. Но сушеных ягод у мамы было немного, поэтому компоты из них она готовила редко, только по праздничным дням.

С осени в семьях еще сохранялись небольшие запасы зерна и картофеля. И то, и другое все расходовали очень экономно. На домашней мельнице приготавливали немного муки, чаще всего ячменной, и добавляли в тесто для хлеба, состоявшего в основном из молотых желудей, мякины и стертых в порошок липовых листьев. Хлеб получался темно-желтого цвета. И мне он казался необыкновенно вкусным. Такой хлеб пекла жена Федора. Моя мама делала больше лепешки, съедобные, но на изломе они были темно-коричневого цвета, так как она в тесто добавляла еще и семена конского щавеля. Напомню читателю, что вся наша еда в это время была уже совершенно без соли. Однако я не помню, чтобы в наших землянках витало слово «цинга». Опухавших от голода тоже, похоже, не было. Видно, скромные дары леса все-таки спасали нас от полного истощения.

Ранней весной мы, пацаны, «паслись» в лесу, объедая набухшие почки кустарников. Там было много липовой поросли, и мы ее сладкие почки особенно любили. Мало того, мы собирали их и приносили в землянки, а наши мамы, перетерев почки вместе с небольшим количеством муки или крахмала, пекли отличные липовые котлетки. Они нам всем очень нравились!

Недалеко от землянок росла красивая березовая роща. И все весной принялись собирать березовый сок. В нашей землянке стояла целая бочка этого прекрасного напитка. Мы все пили его «до отвала», не давая ему прокиснуть. Вкусовые ощущения лесного детства от березового сока, липовых почек, желудей, рябины, калины, багульника и крапивы остались в памяти навсегда. Любой из этих продуктов своим запахом и вкусом и доныне вызывает в памяти картины партизанского леса, образы моих близких, друзей и знакомых. Для меня это все — непередаваемо тонкий мир, сохраненный обостренной детской впечатлительностью и особой формой памяти.

Накануне праздника Октября сорок второго года к нашим землянкам подъехал на лошади, ведя в поводу другую лошадь, брат Федора Егор, партизан из отряда имени Чапаева. По землянкам сразу разнеслась радостная весть: вторая лошадь — нам на мясо! Она была худая и понурая то ли от старости, то ли тоже от голода. Но это никого не смущало. Все радовались, что поедят на праздник мяса. Хотя и жалко было убивать работящее животное.

Чтобы не травмировать убийством лошади своего боевого коня, Егор отвел его подальше за землянки и крепко привязал к дереву. Старую лошадь тоже крепко привязал возле нашей землянки, приставил ствол винтовки под лопатку левой передней ноги и выстрелил. Из-под лопатки во все стороны брызнуло на мгновение прозрачное пламя. Лошадь сначала рванулась вперед,

потом ее повлекло назад, затем она замерла на миг с высоко поднятой головой, будто прощаясь с небом, и, не издав ни звука, рухнула на землю.

Я видел эту сцену издали. Мне не было страшно, но увиденное ошеломило. Больше всего поразило то, что лошадь в действиях своего хозяина не почувствовала для себя ничего опасного и спокойно стояла, иногда вяло пофыркивая. И тут — бац! — да это же настоящее предательство! К моему горлу подступил комок, и я расплакался... Чтобы не видеть, как будут свежевать бедную лошадку, я отправился побродить по лесу. Когда вернулся, лошади на месте ее падения уже не было. А были кучи мяса, разложенного по клеенкам. Шел дележ мяса по семьям.

Всего в нашем «лагере» было землянок пять-семь. Чуть поодаль располагалась маленькая землянка одинокого деда Евмена. Это был высокого роста, грузный, совершенно седой старик с длинной всклокоченной бородой. Жил он в своей землянке отшельником, почти не общаясь с остальными обитателями землянок. Питался тоже не как все. И питание его было страшным.

Еще осенью недалеко от землянок пала тощая, вся покрытая коростой лошадь. Никто не допускал даже мысли, чтобы воспользоваться ее мясом, и только дед Евмен не брезговал ею. Каждое утро он шел к лошади с большим закопченным ведром и топором за поясом. Отрубал себе нужное количество червивого мяса и нес в свою землянку. Как он ел это жуткое варево из гнилой конины, никто не видел. Когда же и ему предложили свежей конины, он категорически отказался: «Не, няхай вон дети ядуть! А мое мясо вон там ляжить...» Так он и ходил к «своей кормилице» с топором и ведром всю зиму. А умер дед Евмен только после войны, летом сорок седьмого года, когда в наши края из-за засухи снова пришел сильный голод. Однажды я видел тогда деда Евмена бредущим по нашей деревенской улице. Он едва передвигался, поддерживая себя двумя длинными палками. Лицо, ноги и руки у него были страшно распухшими. Голод в лесу не подействовал на него так разрушительно...

На праздник Октября в наши землянки кроме Егора прибыло еще несколько партизан, чьи семьи жили с нами. Партизаны привезли с собой немного продуктов и много новостей. Возле землянок состоялось что-то вроде митинга. Говорили о том, что от Москвы немца гонят «почем зря», что бьют его «и в хвост и в гриву». В воздухе витал радостный дух ПОБЕДЫ. А женщины между тем озабоченно шушукались между собой, обсуждая сложную задачу: как прокормиться до прихода Красной Армии? Все верили, что наши придут теперь уже скоро, раз от Москвы немца гонят.

Но приход наших что-то сильно задерживался...

Весной сорок третьего года немцы решили раз и навсегда покончить с брянскими партизанами. Уж очень много неприятностей доставляли они фрицам! И началась так называемая «чистка леса». А точнее — его массированное прочесывание. Теперь мы чаще слышали и отдаленные, и близкие взрывы, винтовочную стрельбу и пулеметные очереди. Над лесом кроме привычных «стрекоз» стали летать и более тяжелые самолеты. Помню, все боялись самолета, который называли «бороной». Он был с двойным фюзеляжем, за что и получил такое прозвище. Кажется, «борона» была совсем бесшумной, появлялась неожиданно, чем и вызывала смятение у обитателей леса. Среди ночи самолеты развешивали в небе долго не падавшие ракеты, прозванные «люстрами». От них исходил дрожащий яркий свет. С их помощью немцы пытались засекать ночные передвижения партизанских отрядов.

К тому времени у нас уже совсем не оставалось никакой еды. Что-то все-таки жевали, но что именно — припомнить не могу. А стрельба становилась все чаще и ближе. Когда обстановка вокруг землянок стала совсем непредсказуемой, родители мои решили вместе с другими семьями уйти отсюда в более безопасное и «сытное» место необъятного леса. Дядя Федор плакал, расставаясь с нами. Сам он со своими оставался в землянке. Он не верил, что где-то еще можно было спастись.

Мы уходили ночью. Было начало мая или, может быть, его середина. Ночь стояла тихая и теплая. Мы торопливо двигались то по просекам, то по извилистым тропам. Старались не создавать ни малейшего шума. Шли в неизвестность до самого утра. Несколько раз за ночь делали привал, и нам казалось, мы углубились уже в самую глухую часть леса. А утром вдруг обнаружилось, что мы на самом его краю...

Слева от нашей тропы за невысоким сосняком простирался луг, за ним виднелся высокий берег Десны. Тропа перед нами разветвлялась: направо — в глубь леса, налево — в луга, вперед — вдоль опушки леса. В лесу послышалась отдаленная частая стрельба. Высокий берег Десны был тих и купался в солнечном свете. Весь наш «отряд» пригорюнился. Никто не знал, куда дальше идти...

И тут мы услышали голоса. Они быстро приближались к нам, будто догоняли нас по той же тропинке, по которой мы только что сюда пришли. Мы сразу узнали эти характерные гортанные звуки — нас догоняли немцы... Бежать куда-либо было поздно. Все мы оцепенели от страха и усталости. А немцы подошли к нам веселые и даже какие-то дурашливые. Видно, потому, что были все молоды, почти мальчишки, кажется, слегка подвыпившие, и значит, в хорошем расположении духа. Было их не больше десятка. Все налегке, по-летнему одетые, будто на прогулку вышли поутру. Увидев нас, нисколько не удивились, обступили, галдят, смеются. В глазах — ни злобы, ни какой-либо неприязни, а скорее одна только легкая озадаченность: что с нами делать?

Моя сестра знала немецкий язык и молча прислушивалась к их разговору. Потом она рассказала, о чем у них шла речь. Они говорили между собой, что если мы пойдем в лес, то там каратели нас могут расстрелять. А они, мол, разведчики и не их дело выполнять карательные или жандармские функции. И командир, молоденький офицерик, принял решение просто выпроводить нас из леса. Он обратился к нам на ломаном русском языке примерно так:

— Туда вам нет идти! — и показал в глубь леса. — Там много зольдатен СС. Вас там будет стрелять. Ваш дорога туда, на тот берег река. — И он махнул в сторону луга. — Там хороший немецкий зольдатен. Вы будет хороший баня и много вкусно кушайт. Там вы будет жить! Понятно?

— Понятно!.. — невесело забормотали все наши.

— Тогда вставай и иди! Мы будем смотреть, как вы иди!

Делать нечего! Как говорится, жребий брошен... Иные пути нам отрезаны. Мы встали и понуро побрели по луговой тропинке. За нашими спинами раздался смех. Я обернулся. Немцы стояли и смотрели нам вслед. Вся наша группа замедлила шаг, и многие обернулись.

— Давай, давай, иди! — закричал офицерик. А другой немец навел на нас автомат и потряс им, имитируя автоматную очередь:

— Та-та-та-та-та!!!

И снова раздался взрыв смеха. Мы ускорили шаги.

Луговая дорога вела нас в фашистскую неволю...

Прямо дороженька, насыпи узкие...

К моменту нашего выхода из партизанского леса максимальная фаза его «чистки» еще не наступила. Но из рассказов после войны бывших партизан я узнал о чудовищно жестоких расправах фашистов над всеми, кого они тогда встречали в лесу. И хотя немцам так и не удалось полностью уничтожить народных мстителей, партизаны все равно продолжали действовать, однако надо признать, что это была большая трагедия Брянского леса весны и лета тысяча девятьсот сорок третьего года.

Моя первая учительница Анна Лукинична рассказывала после войны, как она чудом уцелела, лежа полностью погрузившись в болотную жижу. Фашистские автоматчики, наугад посылая вперед автоматные очереди, прошли рядом и ее не заметили. Сапог ближайшего фашиста чуть не наступил на ее плечо.

Значит, нам крупно повезло, что мы не попали в полную фазу фашистского террора и что на нас вышли в лесу не отъявленные головорезы-эсэсовцы, а полевые солдаты, вчерашние мальчишки. Как видно, ядовитый дух фашистской идеологии к тому времени еще не слишком глубоко проник в их сознание. Сыграло свою роль и их хорошее настроение. А в целом для нас это было просто везением. Везение нам сопутствовало и потом, так как опасных ситуаций складывалось тогда немало.

Тропинка, выйдя из молодого сосняка в луга, сразу же потерялась. Теперь мы шли наугад. Часто путь преграждала вода, и нам приходилось вброд преодолевать довольно глубокие, но, к счастью, неширокие водные преграды. Мне вода иногда доходила до подмышек. Отец с матерью держали меня за руки. На плечах мои родители и сестра несли все наши пожитки. Мокрые, продрогшие скорее от страха, чем от холода, вышли мы на левый берег Десны.

А на пологой части правого берега, как оказалось, уже собралось много лесного народа. Среди них деловито расхаживали немцы и полицаи. За нами они направили две или три лодки. Когда нас доставили на правый берег, к нам тотчас подошел немецкий офицер и с помощью переводчика приказал всем сдать имеющееся огнестрельное и холодное оружие, включая различные колющие и режущие предметы: ножи, вилки, бритвы, ножницы, шила. Меня это, помнится, удивило — при чем тут вилки и ножницы? Моя мама, как портниха, решила с ножницами не расставаться. Я утаил хороший перочинный нож, лежавший у меня в кармане. Оружия ни у кого не оказалось. А немцы, кстати, никого и не обыскивали. Видно, наш жалкий вид не внушал им никаких подозрений.

Через некоторое время нас всех построили в колонну и повели в большую деревню, что раскинулась на высокой части берега. Это был Селец. В раскрытых окнах домов мы видели женщин, которые, глядя на нас, горько плакали. Некоторые из них выбегали на улицу и совали нам в руки что-либо съестное. Охранники не возражали. В центре деревни нас поджидало несколько порожних подвод. Нам разрешили положить на подводы вещи и посадить маленьких детей. Меня посадили тоже. Мои родители и сестра шли за подводой следом. Сопровождали колонну несколько немцев и полицаев. Они вели нас в Трубчевск, до которого от Сельца километров восемь.

Светило яркое солнце. Было тепло и тихо. В небе щебетали жаворонки. А у нас в душе нарастало ощущение потерянности и безнадежной тоски. Что ждало нас в Трубчевске? Сидя в телеге сзади, я мог видеть лица моих близких. Особенно меня угнетало осунувшееся, изможденное лицо отца. Мать

была бодрее, в чертах ее лица читалась даже некая решимость. Надя шла, низко опустив голову.

В Трубчевске нас прежде всего повели в баню, которая представляла собой огромную палатку, поставленную в городском сквере. В палатку для душа были подведены трубы с горячей и холодной водой. За палаткой стоял автофургон для прожарки одежды. В душевую нас запускали большими группами. Сначала вместе женщин и детей всех возрастов, а затем мужчин. Под душем все мылись охотно, намыливаясь жидким зеленым мылом, стоявшим в ведрах в проходах между рядами моющихся. Но когда мы вышли в палатку для одевания, то обнаружилось, что волосы у женщин плохо расчесываются и вылазят клочьями. Это открытие повергло женщин в ужас. Одежда после прожарки еще долго оставалась раскаленной, и от нее исходила тошнотворная вонь. Но вши, как видно, все были убиты...

После бани немцы повели нас в тюрьму. Она располагалась неподалеку, старинная, еще с царских времен. Беленькое симпатичное здание, не внушавшее никакого страха. Но камеры в ней оказались жутко переполненными. Та, в которую определили нас, была большая и светлая. В ней стояло много двухъярусных железных кроватей, и ни одна из них не пустовала. Многие расположились прямо на полу в проходах. Пристроились на полу и мы. В камере стоял невообразимый гвалт. Ругались женщины, плакали дети. Иногда заходил полицай-надзиратель и громко орал на всех матом. Тогда шум на некоторое время затихал. Правда, к вечеру все мало-помалу угомонились и стали ждать решения своей участи. Вечером нам выдали еду: жидкую пшенную похлебку и к ней по кусочку настоящего хлеба, «немецкого», как мы сразу его тогда назвали, потому что он имел необычную для наших мест выпечку.

В Трубчевской тюрьме нас продержали, по-видимому, не больше трехчетырех дней. За это время мы узнали, что нас отправят в Германию. Каждый день прибывали новые партии выгнанных из леса беженцев. И каждый день очередную партию невольников увозили из Трубчевска в Брянск. Все это я видел сам, так как камеры не запирались и можно было выходить на тюремный двор.

Уже на следующий день в тюрьме оказался и дядя Федор со своей семьей. Мои родители с ним повидались. Федор тихо сказал моему отцу: «Кузьмич, а меня с моими расстреляют. Это точно». И он не ошибся. Следующим утром я видел, как дядю Федора и его семью сажали в открытый кузов автомобиля с уже сидевшими там автоматчиками. Невестка Федора судорожно прижимала к груди своего ребенка. Лицо ее было каменным, но по щекам непрерывно текли слезы... Фашисты и местные полицаи не могли простить Федору того, что двое его сыновей сражались с немцами в Красной Армии, третий партизанил и все трое были коммунистами. Сортировочная фашистская машина каждый день отбирала из узников тюрьмы тех, кого, по их разумению, нельзя было оставлять в живых.

Но нам и на этот раз повезло. Отец мой, хотя и не состоял в партии, однако всегда считался активистом Трубчевского района. А взрослые дети его сестер, мои двоюродные братья, все как один были партийными. Так что, как видно, на отца никто не донес, и мы проскочили через фашистское карательное сито.

Тетя Наташа, старшая сестра отца, и в оккупации жила в Трубчевске. Но она не пыталась с нами повидаться, хотя знала через тетю Морю, мамину сестру, тоже жившую в Трубчевске, что мы находимся в городской тюрьме. Наталья Кузьминична боялась собою нас выдать. В феврале сорок второго года немцы жестоко расправились с ее старшим сыном Костей. Он был

хирургом, работал в городской больнице и занимался подпольной деятельностью. Однако в результате предательства Трубчевское подполье было раскрыто и уничтожено. Подпольщиков долго истязали в подвалах этой же тюрьмы, потом выволокли еще живых к реке и затолкали под лед. Принял такую мученическую смерть и мой двоюродный брат Костя.

Об этом мы частично узнали от тети Мори, когда она пришла с нами повидаться и передать немного еды. Подробнее рассказала сама тетя Наташа уже после войны. Тетя Моря уговаривала меня пойти с нею, немцы бы такого пацана отпустили, но я категорически отказался расставаться с родителями. Мама говорила мне: «Но ведь мы же, может, погибнем! А ты будешь жить за нас всех!» Я в ответ молчал, насупившись. Во-первых, я по-детски не допускал мысли, что мы можем погибнуть, а во-вторых, вероятно, у меня тогда шевельнулась мысль: если уж погибать, то вместе!.. Пусть такая мысль в голове ребенка могла и не сформироваться в конкретные «взрослые» слова, но чувство во мне, я думаю, было тогда именно такое.

Надо сказать, что с тетей Морей судьба тоже обошлась очень жестоко. Старший, Николай, вместе с отцом ушел на фронт. Младшие, Вова и Миша, были еще подростками. Однажды, гуляя на берегу Десны, они нашли блестящую металлическую игрушку. Миша сел на песок, положил игрушку между ног и стал в ней что-то крутить. «Игрушка» взорвалась и оторвала ему обе ноги. Обезумевший от ужаса Вова схватил обрубок своего пока еще живого брата и помчался с ним домой. Дом стоял на горе почти рядом, но когда Вова вбежал во двор, Миша был уже мертв... Через несколько месяцев каким-то неясным образом погиб и Вова. А Николай после войны вернулся домой, несколько дней тоскливо послонялся по городу и навсегда исчез. Без вести пропавшим числился и муж тети Мори. С ней осталась только единственная ее дочка, моя ровесница.

В Брянск нас отправляли в крытых автомобилях. В кузове было тесно и душно, так как немцы наглухо зашнуровали заднюю откидную часть тента. Впрочем, когда колонна автомашин выехала за город, тент нам удалось частично откинуть, точнее — освободить углы справа и слева. Но тут образовалась другая напасть: в кузов полетела густая дорожная пыль. К счастью, дорога была не очень дальняя, около ста километров. Но когда в Брянске мы вышли из кузова, меня сильно подташнивало и покачивало.

Помню большую городскую площадь, заполненную такими же горемыками, как и мы. Опять началась сортировка. На этот раз от всей массы невольников немцы отделяли лиц мужского пола: зрелых мужчин, стариков и юношей. Пацанов, к счастью, оставляли их мамам. Мы растерянно и горестно распрощались с нашим отцом, совсем уже не надеясь когда-нибудь его увидеть. Мужчин построили в колонну и увели неизвестно куда. По толпе женщин и детей прокатилась волна сдержанных причитаний и воплей, перекрываемых зычными окриками полицаев... Потом большими группами стали уводить с площади и остальных. Нас долго вели по городу, пока не остановили у ворот большого здания средней школы. Помещения школы быстро заполнялись невольниками. Парты из классов были выброшены во двор, и мы расположились на ночлег прямо на полу.

Среди ночи я проснулся от рева самолетов и сильных взрывов. Темно-синее небо перекрещивали лучи многочисленных прожекторов. Иногда в их перекрестия попадал самолет. И тогда вокруг него вспыхивали маленькие облачка и хлопали разрывы зенитных снарядов. Но самолетам удавалось оторваться от обстрела и улететь за новой партией бомб. Из «Истории Великой Отечественной войны» я узнал потом, что вокруг Брянска и Бежицы в те дни

немцы сосредотачивали значительные оперативные резервы. Вот советские самолеты эти резервы и громили, а я был тому маленьким свидетелем.

Я видел радость на лицах наших людей. Никто даже и не думал, что шальная бомба может угодить в школу. Ведь взрывы происходили, казалось, совсем рядом. В школе нас держали с неделю, и каждую ночь бомбежка повторялась. Однажды мы видели, как загорелся советский самолет и стал стремительно падать. Потом раздался мощный взрыв. Многие женщины заплакали. А я с ужасом представил себе, как в этом самолете гибнет мой двоюродный брат Федя. Он был младшим сыном тети Наташи и еще до войны окончил военное летное училище.

Школа с ее голодными обитателями охранялась полицаями. Раз в день нам привозили в солдатской кухне какую-то не слишком сытную еду. Но мы и ей были рады. Однако надо было как-то добывать дополнительную пищу. И мама, держа меня за руку, стала каждый день уговаривать охранников выпускать нас за ворота школы, чтобы можно было немного походить («Тут, близко!») по городу и поспрашивать милостыню. И каждый день ей удавалось охранников уговорить при том условии, что в школе остается наша Надя с вещами. Куда ж мы без нее денемся!

Улицы, по которым мы ходили, состояли из одних только частных домиков с красивыми палисадниками. Как видно, школа располагалась далеко от центра города. Тем не менее, по улицам ходило много людей, в основном военных: немцев, венгров, чехов, власовцев, полицаев. Поэтому первое время мы с мамой чувствовали себя неуверенно среди этого опасного люда. Но потом, убедившись, что на нас никто не обращает внимания, стали ходить смелее.

Мы стучались в окна домов или в калитки, и нам чаще всего открывали старушки. Разговаривали они с нами всегда охотно, с большим состраданием. Не у всех оказывалось что подать, но иные совали кусочки хлеба, вареную картошку, даже сушеную рыбу. А некоторые предлагали к ним зайти. Мы заходили, нас сажали за стол и чем-либо угощали. Прежде всего, конечно, меня. Помню, в доме одной доброй старушки весь пол в комнатах был устлан длинным тростником, а стены украшены речными белыми лилиями, желтыми кувшинками и ветками деревьев. Старушка рассказала, что все это сделал четырнадцатилетний внук Миша по случаю какого-то православного праздника. Мама рассказала старушке о своем погибшем сыне Мише и расплакалась. Старушка ее поддержала, и они поплакали вместе, разговаривая о том великом горе, что принесла всем война. А я их слушал и уплетал борщ с хлебом.

Я тогда, конечно, не запомнил, о каком православном празднике шла речь, но вот теперь понял, что это была Троица. Ведь именно на Троицу, или иначе говоря, в день сошествия Святого Духа, храмы и жилища украшаются молодой зеленью и цветами. Троица отмечается через пятьдесят дней после Пасхи. Значит, можно утверждать, что мы у старушки в гостях были где-то в середине июня, то есть ровно за три месяца до освобождения Брянска.

На улицах нам тогда встречались и молодые нарядно одетые женщины. Рядом с одной такой дамочкой шла девочка лет семи в пышном белом платьице, с бантом на голове и с блестящим шариком в руке, прыгающим на тонкой резинке. Меня это неприятно поразило, и я сказал маме:

— Мам, гляди, кругом война, а они — вон какие!

Мама тяжко вздохнула и ответила:

— Что поделаешь, сынок! Правильно говорят: кому война, а кому — мать родна.

На территории школы к ее подневольным обитателям часто подходили для беседы военные люди не в немецкой, а в другой, незнакомой форме.

Но все они были сейчас на стороне немцев, и это нас настораживало. Правда, вели они себя корректно. Кто знает, может, просто прощупывали настроение людей? А может быть, их подталкивали к нам и искренние чувства. Помню одного молодого не то венгра, не то чеха. Он прекрасно говорил по-русски, был задумчив и, разговаривая с Надей, тихо сказал: «Плохо, что вас угоняют в Германию! Ведь сюда скоро придет Красная Армия...»

На скамейке поодаль сидел уже немолодой охранник, не то полицай, не то власовец — в этом я не разбирался. Он сидел и аппетитно уплетал с хлебом тушенку из консервной банки. Рядом стоял раскрытый вещмешок с пайком. Мне это видеть было просто невыносимо, но я смотрел, недружелюбно, со злостью. А он, не глядя на меня, отрезал от буханки толстый кусок хорошего «немецкого» хлеба, густо намазал маргарином, положил сверху кусок тушенки, поднял голову, посмотрел на меня, добродушно улыбнулся и протянул этот роскошный бутерброд мне. Я остолбенел от изумления и радости. А он, широко и добро улыбаясь, повторил свой дарящий жест. Тогда я стал неуверенно приближаться к дядьке. Мне казалось, что в последний момент этот русский мужик, который почему-то служит у немцев, непременно передумает угощать партизанского пацана. Но он не передумал. Я, как зверек, схватил у него с ладони хлеб и, не поблагодарив, помчался к маме.

В день отправки в Германию нас привели на большой железнодорожный разъезд и устроили баню на колесах, то есть в железнодорожных вагонах. Нас партиями заводили сначала в вагон-раздевалку, оттуда наша одежда отправлялась опять на прожарку, а мы шли в душевой вагон.

Этот эпизод с баней мне запомнился особенно ярко вот по какой причине. Когда мы, женщины и дети обоих полов, зашли в раздевалку и уже разделись догола, вдруг распахнулась дверь, расположенная по центру вагона, и в вагон вошли сразу несколько немцев, раздетых до трусов. Все они были рослые, здоровые, молодые мужики. И женщины, естественно, сразу же замерли в страхе, наспех прикрывая чем попало свои интимные места. Рядом с моей сестрой стояла ее подруга, восемнадцатилетняя девушка Галя. Она вскрикнула и вся съежилась от страха, а Надя стояла, гордо выпрямившись, и сказала: «Встань! Ты перед кем унижаешься!?» Между тем немцы, как обычно громко галдя, прошли через раздевалку в душевой вагон, даже мельком не взглянув ни на одну из женщин. Так мне, по крайней мере, показалось. И вот я теперь всегда думаю, когда вспоминаю этот эпизод: неужели мы действительно представляли для них тогда не более чем обычный рабочий скот?

После бани нас загнали в большие товарные вагоны, задвинули тяжело грохочущие двери, и через некоторое время поезд тронулся. Я впервые в жизни ощутил монотонное покачивание вагона, услышал рокочущий бег колес по рельсам, их попарный лязгающий стук на стыках. Все это сразу же настроило меня на «Железную дорогу» Некрасова: «Прямо дороженька. Насыпи узкие. Столбики, рельсы, мосты... А по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?»

Мне очень хотелось видеть, что же в действительности делается там, на узких насыпях железной дороги. Но в товарном вагоне были такие высокие и маленькие окна, что можно было только иногда с помощью мамы или Нади на минутку выглянуть и вдохнуть свежего воздуха.

Погода была солнечная и жаркая. В вагоне стояла невыносимая духота и вонь. Невольников в вагон натолкали много. Все сидели или лежали прямо на голом полу, так как ни нар, ни скамеек, ни даже обыкновенной соломы в вагоне не оказалось. Ужасно хотелось пить, но мама лишь изредка давала один глоточек воды из бутылки, которую она наполнила из колонки перед отъездом.

И вдруг нам чудесным образом повезло: вагон сильно тряхнуло, и в закрытой двери (какая радость!) образовалась узкая щель. Несколько женщин сразу рванулись к двери и постарались эту щель расширить. Потом они дверь как-то там закрепили, чтобы она не захлопнулась, и теперь мы могли дышать полной грудью: к нам ворвался свежий поток воздуха, правда, пахнущий дымом от паровоза, но на это уже мало кто обращал внимание. Потом приоткрылась и противоположная дверь, и ехать стало вообще «комфортно». Я устроился поближе к одной из дверей и стал наблюдать за мелькавшей насыпью. Косточек я, конечно, не видел. Да и сам понимал, что их и не должно быть видно. Но я видел сожженные деревни, разрушенные города и понимал также, что где такое происходит, там неминуема и смерть. Война ведь! Кругом опасность, и наш невольничий поезд движется через нее к чему-то еще более опасному. Когда поезд проходил лесом, мне хотелось, чтобы дорогу ему преградили партизаны и освободили нас.

Мне, конечно, не могла подробно запомниться дорога, по которой мы ехали. Но помню, что проезжали Смоленск, Витебск, Полоцк. Первым же не русским названием мне врезался в память Даугавпилс. А еще через некоторое время поезд остановился снова и двери распахнулись: приехали, вылезайте!

Я услышал другое не русское название — Резекне — и решил, что мы уже в Германии. Но сестра пояснила мне, что здесь пока еще только Латвия. Однако для меня это все равно уже был чужой мир. Здесь все будет не так, как у нас. И я, выйдя из вагона, с любопытством озирался по сторонам, отыскивая что-нибудь диковинное. Но пока ничего такого особенного не заметил.

Стоял густой туман, накрапывал теплый дождик. Напротив краснокирпичного вокзала за железнодорожными путями темнели силуэты длинных приземистых строений. Я услышал слова: «бараки», «концлагерь». К этим баракам нас сразу же и повели. Через несколько десятков метров мы подошли к высокому двойному ограждению из колючей проволоки. Ворота в ограждении были распахнуты, и густой поток невольников медленно вливался на территорию концлагеря, где нам предстояло пробыть два долгих тяжелейших месяца сорок третьего года.

Невольничьи страдания

О фашистских концлагерях, о тщательно разработанной системе использования и уничтожения в них «человеческого материала» мы знаем немало. Волосы и теперь дыбом становятся, когда доводится то ли перечитывать известные документы чудовищных злодеяний нацистов, то ли узнавать для себя что-либо новое. И каждый раз неизменно задумываешься о самом себе, вовлеченном тогда в этот жуткий водоворот лишений и смерти.

Быть вовлеченным — и остаться в живых! Это ли не чудо?! Это ли не счастливая судьба? Что здесь? Везение? Благоприятное стечение обстоятельств?

Главное здесь было в том, что наш невольничий поезд миновал тогда все лагеря смерти на территории Белоруссии и не дошел до Освенцима или Треблинки. Он свернул в Латвию и остановился в Резекне, где мы оказались, как видно, в «заштатном» концлагере, в котором, может быть, не предусматривалось уничтожение людей по заранее продуманной программе.

Вторым по значению счастливым обстоятельством послужило нам то, что ни я, ни моя сестра, ни наша мама, ни разу там не заболели. Это нас и спасло. Потому что почти любое заболевание истощенного человека, как правило, приводило к смерти. Огромную роль в нашем спасении сыграло и то, что

нас в этом лагере продержали только до осени того же сорок третьего года. А осенью нас приняли в свои хозяйства в качестве подневольных работников латышские землевладельцы. И у них-то мы уж хорошо подкормились, прежде чем попасть в другой концлагерь, но уже в Восточной Пруссии.

Я не знаю, какая судьба постигла узников концлагеря в Резекне, оставшихся в нем после нас. Не знаю и истории самого лагеря. А жаль! До меня дошли лишь скудные сведения из различных справочных изданий по Латвии. Я узнал, что в Резекне и в его районе за годы войны было расстреляно более 40 000 человек. В лагере советских военнопленных уничтожено 35 000 солдат и мирных жителей. А я помню, что лагерь, где содержали нас, был отделен от лагеря для военнопленных только двумя рядами колючей проволоки.

Ступив на территорию лагеря, я не со страхом, а с любопытством озирался по сторонам. Прежде всего мое внимание привлекли сторожевые вышки с прожекторами, пулеметами и неподвижными дядьками. Я дернул маму за рукав и показал ей на вышки:

— Зачем это они там стоят?

— Нас будут караулить, чтобы никуда не сбежали. А куда бежать-то, господи? — ответила мама, и голос ее дрогнул.

На площади между бараками было полно народу. Шло распределение по баракам. Одних налево, других направо, третьих куда-то вглубь. Но все бараки были совершенно одинаковыми. Первое впечатление от барака изнутри — это сильный запах дезинфекции. А потом уже — его огромность. Он показался мне бесконечно длинным и высоким. По обе стороны от широкого прохода простирались многоярусные нары, пожалуй, этажей в пять. Они, не прерываясь, тянулись от одной торцевой стены до другой. Правда, высота между нарами позволяла на них свободно сидеть.

Мы устроились, кажется, на третьем ярусе, причем так удачно, что как раз напротив меня в стене оказалось маленькое застекленное окошко. Я прижался носом к стеклу, но увидел только стену другого барака с рядом таких же продолговатых, как в товарном вагоне, окошек.

Первую ночь в столь необычной обстановке всем спалось плохо. Беспокоили своим грохотом проходившие через станцию Резекне поезда. За стенами барака то и дело слышались громкие и грубые голоса охранников. Лаяли собаки. А в самом бараке то и дело кто-нибудь вскрикивал во сне, стонал, всхлипывал. Плакали грудные дети, мамы их громко убаюкивали. Многие надсадно кашляли. Иногда между соседями по нарам возникали перебранки. Повторялось это и в следующие ночи...

Однажды под утро, когда стало уже достаточно светло, к нам на нары ворвалась снизу разъяренная тетка и завопила:

— Хто тут на нас кожну ночь ссыть?! Ты? А? — и уставилась на меня.

Мама заслонила меня собой и сказала испуганно:

— Побойся Бога, милая! Под моим Сашей на всякий случай клееночка постелена. Вот, гляди! Поняла?

Тетка как-то сразу успокоилась и исчезла. Но неприятное чувство нервозности осталось. У мамы дрожали руки. Надя сидела рядом и, опустив голову, обхватив колени руками, беззвучно плакала. С рассветом перебранки в разных концах барака учащались. Как видно, ночь не приносила людям отдыха, нервы у всех оставались напряженными, и весь барак представлял собой как бы единый больной организм, тяжело дышащий нездоровым воздухом, стонущий, вяло копошащийся.

Глядя вокруг себя, прислушиваясь и брезгливо принюхиваясь, я сидел на нарах и вспоминал только что приснившийся страшный сон. Мне привиде-

лось нечто большое, липкое, мерзкое, не похожее ни на одно живое существо, известное мне. И даже не человекообразное, а совершенно бесформенное. Это НЕЧТО неуклюже ворочалось и все норовило прилипнуть ко мне. И меня охватывал ужас... Потом образ этого больного и странного существа часто преследовал меня во сне. И я кричал. Но сквозь сон слышал успокаивающий голос мамы: «Саша, Саша, я здесь. Ну что ты, Саша?» Она гладила меня по голове, гадкое существо исчезало, и я успокаивался. Кошмарные сны нередко снились мне и раньше, но в концлагере они стали регулярными, приобретая характер тяжелого бреда.

Да и вообще все мои мальчишеские впечатления от «жизни» в концлагере, говоря языком взрослого человека, можно охарактеризовать одним словом — ирреальность! Все для меня здесь казалось странным, невозможным по сути. Ну в самом деле, не мог же я, девятилетний, всерьез принимать эту навязанную мне жестокую форму существования!

Во-первых, эти ужасные, переполненные невольниками и болезнями бараки! Во-вторых, густая колючая проволока в два ряда высотой в два человеческих роста. А между рядами — еще и спираль из той же колючей проволоки. Правда, по проволоке не бежал электрический ток, но это я отметил для себя уже после войны, когда узнал о еще более чудовищных формах содержания людей в концлагерях.

Потом эти вышки с самодовольными охранниками! Огромный вонючий сортир, как видно, единственный на весь лагерь. Банно-прожарочное сооружение, в которое нас периодически загоняли. За ним группа небольших бараков карантина. А на заднем плане от входа в лагерь — бараки для военнопленных, отделенные от нас только колючей проволокой.

Между бараками и сортиром была большая площадь, местами поросшая мелкой пыльной травой. Такая же площадь была и на территории лагеря для военнопленных. Но если у нас на площади постоянно царило какое-либо оживление, то там всегда было пустынно. Видно, военнопленным не разрешалось свободно гулять по лагерю.

На нашей лагерной площади иногда устраивались молебны. Поп и его помощники были настоящие, в соответствующем церковном облачении, с хоругвями, иконами и кадилами: как видно, им разрешалось приходить из города. Я смотрел на происходящее действо издали, и мне становилось как-то не по себе. Меня угнетали заунывный голос попа, нестройное хоровое пение молившихся, их часто сгибавшиеся спины, приторный запах ладана, периодически доносимый ветром. Молившиеся стояли плотной душной толпой, и среди них нередко случались обмороки. Помню, как однажды несколько женщин опрыскивали «святой водицей» потерявшую сознание и умоляли Бога не забирать ее к себе, ведь у нее здесь малые дети... Двое мальчишек примерно моего возраста были тут же и горько плакали. Но Бог, как видно, не услышал их просьб, и женщина скончалась, не приходя в сознание. Ее смерть засвидетельствовал лагерный доктор, обычно присутствовавший на молебнах. А я тихо радовался, что моя мама хотя и была, в общем-то, верующей, но на эти молебны предпочитала не ходить.

Был ли лагерный доктор действительно доктором, сказать не могу. Но по лагерю он всегда ходил в белом халате и уж очень ревностно следил за чистотой. Небольшого роста, старый, с редкой седой проседью на голове, с лиловой физиономией, вечно крикливый и вездесущий, он вызывал у всех отвращение и страх. От нас он получил прозвище Плешивый. Достаточно было услышать «Плешивый идет!» и в бараке смолкали голоса. Распоряжения он отдавал немногословно, по-русски, но с акцентом. И его приказы

выполнялись беспрекословно. Я его тоже побаивался и старался не попадаться на глаза.

Отлично помню еще одного крайне неприятного распорядителя, которого все боялись еще больше, чем Плешивого. Этот был еще молод и строен, но с обширной блестящей загорелой лысиной, за которую он получил прозвище Лысый. Настоящих имен этих деспотов мы не знали, да и знать не хотели. Черные глаза Лысого всегда глядели исподлобья, пристально и ядовито. Рот его вечно кривился в презрительной усмешке. Ходил он по лагерю в гражданской одежде, но охранники вели себя с ним почтительно, как с военным. Правда, и сами охранники представляли собой совсем непонятный для меня сброд. Форму они носили полувоенную, полугражданскую, причем вперемешку с фашистской, красноармейской и еще бог весть какой. Немцев среди них, я думаю, не было. А все больше прибалты, поляки, русские, украинцы. Об этом мы судили по их речи. Кто был по национальности сам Лысый, сказать трудно, но по разнообразию и обилию употребляемого им русского мата можно предположить, что происходил он из восточных славян.

Однажды непристойно и гадко выраженная угроза прозвучала от него и в мой адрес. А дело было так. Мне невыносимо противно было ходить в тошнотворно вонючий, выедавший глаза не то хлоркой, не то карболкой лагерный сортир. И я иногда, когда мне требовалось только по-маленькому, шел на такую невинную детскую хитрость: садился в сторонке на землю и, широко расставив ноги, делал свое дело в хилую пыльную травку. Так вот, Лысый как-то застал меня за этим занятием! Он неожиданно возник из-за барака и шел в мою сторону. Бежать было поздно, и я остался сидеть на месте, делая вид, будто сижу здесь просто так, для удовольствия. Но Лысый все понял. Однако прошел мимо меня, не останавливаясь. Зато одарил меня таким ядовито-сладеньким взглядом, от которого у меня мурашки пробежали по спине. А еще он погрозил мне пальцем и произнес негромко раза три подряд: «Я тебе, ... я тебе, ... я тебе, ...» , каждый раз добавляя короткое заборное словцо, преобразованное в уменьшительную форму, рассчитанную на мою малость и полную зависимость от воли «хозяина». С тех пор я старался не попадаться на глаза и Лысому. Может быть, поэтому моя маленькая оплошность так и осталась ненаказанной? Кто знает?

Впрочем, каких-либо показательно-назидательных наказаний кого-либо за некие провинности мне в лагере видеть не доводилось. Не видел я и мест для исполнения наказаний. Но зато чуть ли не каждый день происходили наказания развлекательные. Развлекались охранники. После их обеда, как видно, достаточно сытного и обильного, у них оставалось немало объедков. Они собирали их в мешок, выносили на середину площади и вытряхивали содержимое прямо в траву и пыль. Голодные невольники, как мухи, набрасывались на съедобную кучу и вмиг все растаскивали. Но охранники всегда были наготове. Они стремительно врывались в толпу и начинали всех подряд бить дубинками по головам, по спинам, по ногам; гонялись за теми, кто с добытым куском пытался скрыться в бараке. О, сколько удали проявляли тут обладатели дубинок! И как страшно искажались от боли и ненависти лица избиваемых! А тем временем на вышках раздавался отвратительный хохот. Для охранников это был бесплатный цирк. Ну, такая мелюзга, как я, в нем тоже участвовала, только в качестве зрителей. Да и не все взрослые невольники позволяли себе ввязываться в свалку. Но надо было видеть их глаза, когда они со стороны наблюдали за этими гнусными побоищами.

Кормили нас, естественно, плохо. Один раз в день давали овощную похлебку, в которой, кажется, не было ничего, кроме брюквы. Иногда этот

с позволения сказать «борщ» заменяли неким подобием супа с гренками: в жидкой баланде плавали кусочки мелко нарезанного и поджаренного хлеба. Помнится, этот суп мне даже нравился, и я мечтал, чтобы нам его стали давать каждый день. Не то утром, не то вечером нам давали еще и «чай»: мутный несладкий кипяток с привкусом чего-то фруктового. То ли к чаю, то ли к похлебке выдавалась «пайка черного», совсем не «немецкого» хлеба, который, однако, хотелось съесть мгновенно, но который мама растягивала нам на весь день. Мне, как видно, всегда доставалось больше, тем более что я в течение дня то и дело клянчил у мамы этого хотя и невкусного, мокрого, мрачного, но все-таки хлеба.

Мне на всю жизнь запомнилось то лагерное чувство голода, которое было куда более острым, чем в самые голодные месяцы в партизанском лесу. С тоской глядел я за пределы лагеря, пытаясь представить себе улицы этого, казалось, враждебного мне города. Подавали бы нам Христа ради, как это было в Брянске? Или, как бродячих собак, изгоняли бы со своих дворов?

Я не помню, чтобы из лагеря кого-то гоняли на какие-либо работы. Так что горемыки-невольники преимущественно прозябали на нарах. Правда, сколько угодно можно было шататься по лагерю, слушать молебны, заниматься между собой каким-либо мелким предпринимательством, все больше на уровне обмена. Помню одного старика, который каждое утро, проходя по бараку, орал во все горло: «Меняю советский пятак на николаевский!» Мальчишки повзрослее меня мастерили из щепочек различные примитивные игрушки и передавали через два ряда колючей проволоки мальчишкам на воле. А те передавали им что-нибудь съестное. Охранники, как ни странно, относились к этому снисходительно, не гоняли пацанов, но иногда для порядка на них покрикивали.

Но вот однажды в лагерь прибыла некая комиссия или инспекция. Кто их уж там знает! Лагерное начальство, приодевшееся по этому случаю в полную фашистскую форму, встречало ее у широко распахнутых ворот. Члены комиссии важно ступили на территорию лагеря. Лагерное начальство выглядело рядом с ними бледно, и как видно, робело. Комиссия разбилась на мелкие группы и разошлась по лагерю. Мальчишки, поглазев на «гостей» со стороны, снова занялась обменом через колючую проволоку. Но в какой-то момент из-за угла барака вышла одна из группок комиссии. Несколько важных офицеров остолбенело уставились на безобразие у колючей проволоки. А один вдруг резко рванулся вперед и что было силы метнул в мальчишку свою увесистую трость. Трость ударилась о проволоку чуть выше головы мальчишки. Повезло пареньку! Он мгновенно рванулся в сторону и убежал вместе с другими мальчишками. А важный фашистский вояка с досадой поднял трость, гордо дернул шеей и удалился в компании своих единоверцев. Всю эту сцену я наблюдал издали со страхом и восхищением к пацанам.

Как-то в честь какого-то фашистского праздника узникам давали «подарки». Но не всем поименно и по очереди, а так, кому достанется. Просто народ энергично толкался без всякой очереди у дверей административного строения, администрация кому давала в руки, а чаще бросала в толпу куски хлеба, сырую картошку, что-то еще...

Я не рискнул лезть в толпу — затопчут! А так хотелось получить что-либо вкусненькое! И тут вижу, из боковой двери конторы выходит Плешивый доктор в своем неизменном белом халате и с неизменно злым выражением лица. Обеими руками он придерживает на груди большой бумажный кулек и направляется прямо ко мне. Я понимаю, что мне сейчас что-то достанется, и замираю в трепетном ожидании. Со стороны, вероятно, в этот момент я был

похож на собачонку, только что хвостиком не вилял, поскольку его у меня не было. А Плешивый подошел, остановился напротив меня, молча порылся в кульке и так же молча протянул мне несколько кусочков настоящего «немецкого» хлеба. Лицо доктора при этом нисколько не потеплело, и я взял у него из рук этот драгоценный дар скорее со страхом, чем с благодарностью. Взял и стремглав помчался в барак к маме и сестре.

По-видимому, где-то в середине августа часть узников после бани и прожарки одежды стали переводить в бараки карантина. Думаю, отбирали для перевода только тех, кто не выглядел больным. В число счастливчиков попали и мы. Барак, в который нас теперь поселили, состоял из отдельных комнат с большими окнами. Нары здесь были только в два этажа. Плешивый часто заглядывал в комнаты, но чистоты требовал в более мягкой форме, чем в прежнем общем бараке.

Продержали нас в Карантине, вероятно, с неделю. Кормили лучше, но как именно — не помню совершенно. Зато отлично запомнилось, как нам неожиданно выдали просто-таки неслыханную роскошь: настоящий вкусный хлеб, маргарин, повидло и по два вкрутую сваренных яйца. Может быть, о нас, горемычных, позаботилась какая-нибудь латышская благотворительная организация? А лагерное начальство объявило, что это нам паек на дорогу. А повезут нас поездом вглубь Латвии и там отдадут в батраки местным хозяевам.

Нас всех перефотографировали для документов. На снимках у каждого на груди был большой многозначный личный номер. А внизу документов красовались отпечатки сразу нескольких наших пальцев.

В батраках у латышей мы пробыли больше года, где-то до октября или ноября 1944 года. Кормили нас хозяева хорошо и относились к нам уважительно, с пониманием. Так что труд наш нельзя было назвать рабским. Я тоже «работал» — пас в лесу с одним ленинградским мальчиком хозяйских коров и овец. Для нас это занятие было сплошным удовольствием. Но когда фронт приблизился совсем близко, немцы не позволили нам дождаться здесь своих: нагрянули эсэсовцы, погрузили в огромные арбы с уже сидевшими там другими невольниками и повезли к ближайшей станции. А оттуда в товарных вагонах — в Лиепаю. В Лиепае пересадили в грузовой морской транспорт и доставили в Пиллау. Это была уже Восточная Пруссия. Из Пиллау нас привезли в Кенигсберг, а оттуда в ближайший пригородный концлагерь.

К счастью, этот концлагерь тоже оказался «заштатным»: здесь не вешали, не расстреливали, но здоровых и взрослых невольников гоняли на сооружение оборонительных линий. Когда фронт подошел вплотную к Кенигсбергу, заключенных как-то под вечер вывели из лагеря и погнали в сторону Пиллау. Охрана была слабая, и люди стали убегать из колонны. Убежали и мы. И это нас спасло, так как потом мы узнали, что немцы тогда в ближайшем от лагеря лесу проводили массовые расстрелы. А мы со многими приключениями бежали к своим прямо через линию фронта.

Как известно, победоносный штурм Кенигсберга состоялся 9 апреля 1945 года, а мы оказались у своих где-то числа 12-го. И еще в течение двух или трех месяцев находились в прифронтовом подсобном хозяйстве, где нас откармливали. Мы сразу же написали письма на родину и через некоторое время получили письмо от отца. Его Красная Армия освободила из концлагеря под Гомелем в ноябре сорок третьего года. Домой мы приехали летом. Не вернулся только мой брат Миша, юный партизанский разведчик, погибший еще в 1942 году.

Заключительный этюд

В своих воспоминаниях я старался быть предельно искренним и, насколько это было возможно, точным. Я нигде не сгущал краски и не доводил их до акварельной прозрачности там, где этого не могло быть на самом деле.

Да, мне везло. Судьба в критические моменты всегда уводила меня от смертельной опасности. И что же? Могу я себя назвать человеком счастливым? Пожалуй, да! Ведь я тогда выжил! Но след от пережитого остался в душе достаточно глубоким. В моей повседневной жизни это выявлялось в ночных кошмарах, которые преследовали меня на протяжении нескольких послевоенных лет.

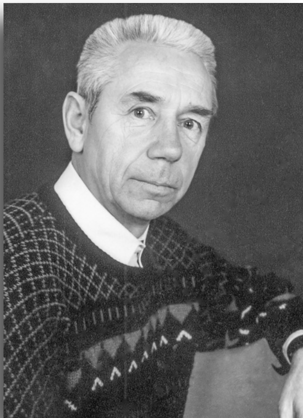
Однако способность видеть «многосерийные» цветные сны осталась у меня на всю жизнь. Они стали частью моей натуры и уже не утомляют меня, как в детстве. Напротив, я их смотрю с неослабевающим интересом и крепче сплю. К счастью, в своих снах я не нахожу ничего пророческого. Иначе мне бы страшновато было ложиться спать. Но некоторая красочная символика нашей общей и моей личной жизни в них определенно присутствует. Один из таких символических снов в заключение мне бы и хотелось рассказать. Правда, этот сон я увидел уже в период работы над воспоминаниями. То есть, был он совсем не случайным.

Приснилось мне живописное поле, ярко освещенное солнцем. И на нем играли дети. Я присмотрелся к одному из них и узнал самого себя. Я, взрослый, радостно рванулся к себе — десятилетнему мальчишке. Но путь мне преградила прозрачная стена, на которую я с разбега и натолкнулся. Стена была будто бы стеклянная, но такой толщины, что удары по ней кулаками не вызывали ни малейшего ее сотрясения. И голос мой, следовательно, тоже не доносился до меня-малолетки. Я кричал, а дети спокойно продолжали заниматься своими делами, не обращая на меня никакого внимания.

Потом я увидел, что к стене подошли и другие взрослые люди. И тоже узнавали самих себя в детстве. Зовут, умоляют откликнуться, но дети оставались безучастными к мольбам взрослых. И вдруг взрослые увидели черную тучу, быстро надвигавшуюся на детей из-за горизонта. Там беззвучно и часто сверкали молнии, и ураганный ветер гнал на детей густую серую пыль. Однако солнце над их головами не померкло, и у детей ничто не вызывало тревоги. Мы с ужасом ждали мгновения, когда яркое видение детства исчезнет, поглощенное страшным ненастьем. Но оказалось, что яростный шквал ветра, смешанного с дождем и пылью, неожиданно налетел на невидимое препятствие, мощно оттолкнувшее его от детей. И тогда мы поняли, что и с той стороны, за детьми, тоже есть непреодолимо твердая стеклянная преграда.

Прозрачная стена времени надежно охраняла память о нашем детстве от любого грубого вмешательства извне.





НИКОЛАЙ ШАШКОВ

И боль… И радость…

Первый сон

Войны внезапные метели.
Горнило горестей и бед.
И я в бессонной колыбели,
обиженный
на целый свет.
И снова ливни, снова ливни,
в раскатах ночь, в раскатах день.
На всю округу — черный иней,
дымы горящих деревень.
И в этом мареве кровавом,
протяжно охая: «О бог...»,
седая маленькая мама
меня спускает в погребок
на чьи-то немощные руки.
И вот во власти тесноты
мне снятся красные игрушки...
и черно-белые кресты...

Но вот — о свет! О незабвенный! —
Всем существом и что есть сил
во всю округу май победный
зацвел, защелкал, закружил.
И боль… И радость...
Слов не надо.
Цветы и солнце говорят.
Открылось небо. Ожил сад.
И я лечу,
и нет преграды...

* * *

Я слышал, как березы говорят.
Склонившись над моею колыбелью,
Поведывали байки, песни пели.
Не затуманен временем их взгляд.

Я помню, как березы голосили.
Береста —
это слез остывших соль
о муже, о возлюбленном, о сыне...
Веками не забудется их боль.

Я знаю, как березы победили.
Израненные, в огненной пыли,
они и на развалинах росли,
но то учесть захватчики забыли.

Уверен, мир березы отстоят.
Читайте:
на стволах, как строчки эти,
расставлено и лесенкой, и в ряд:
«Природа —
символ жизни
на планете!»

Я слышал, как березы говорят,
я помню, как березы голосили,
я знаю, как березы победили.
Уверен:
мир березы отстоят!





ИРЕН НЕМИРОВСКИ

Иезавель[1]

Роман

12

Гледис вернулась в свою спальню, когда уже рассвело. Она долго металась по комнате, потом бросилась на постель и закрыла глаза. Почти сразу же она услышала тонкое мяуканье, доносившееся из соседней комнаты, куда Жанна принесла ребенка. Она застонала:

— Мари-Терезы больше нет!

И только теперь из ее глаз хлынули слезы.

Она вернулась в спальню дочери. Жанна успела привести комнату в порядок. Мари-Тереза лежала на спине, ее запрокинутое восковое лицо утопало в подушке, руки были сложены на груди. Гледис бережно накрыла ноги дочери пледом; она сама дрожала, и ей показалась невыносимой мысль о том, что у Мари-Терезы могут мерзнуть ноги. Она не думала о ребенке, который в эти минуты перестал напоминать о себе плачем.

На лице Мари-Терезы сгладилось не сходившее с него последнее время трагическое выражение; оно выглядело строгим и замкнутым. Гледис осторожно пригладила ей волосы.

— Моя маленькая, — хрипло простонала она.

Временами ее печаль ослабевала, и она чувствовала только странное отупение. Она пыталась острее почувствовать свое страдание, перебирая в памяти образы прошлого; иногда ее отчаяние становилось таким сильным, что ее охватывал страх.

Когда пришла Кармен Гонзалес, Гледис бросилась к ней.

— Вы знаете мою девочку? Она умерла!..

— Что случилось? Она покончила с собой? — сдержанно спросила Кармен.

— Покончила с собой? О Господи, нет, конечно... Моя бедная девочка... С чего бы ей убивать себя? Нет, это несчастный случай, просто сильное кровотечение... И она не позвала на помощь... Ну почему, почему она не позвала меня?..

— Послушайте, — остановила ее Кармен. — Теперь не стоит плакать из-за этого. Настоящее несчастье случилось, когда бедное дитя... И вообще, надо считать, что все, что произошло, это к лучшему... Именно к лучшему, — повторила она, заметив, как протестующе дернулась Гледис. — Нужно видеть вещи такими, какими они являются. Что стало бы с ней потом? Кто согласился бы взять ее замуж? Какой-нибудь хищник, охотящийся за богатым приданым...

Гледис не слушала подругу; она пыталась найти себе оправдание:

— Я не виновата в случившемся. Я никогда ни в чем не упрекала ее, я всегда была готова все сделать для нее...

---

[1] Окончание. Начало в № 2, 3 за 2015 г.

— Гледис, вам здесь нечего делать, — мягко сказала Кармен. — На вас лица нет. Идите ложитесь спать, а мы сделаем все что нужно, — добавила она, обменявшись взглядами с Жанной.

— Что еще здесь нужно сделать? — пробормотала Гледис, закрыв лицо ладонями. — Я же сказала вам, что она умерла... И с этим ничего не поделаешь...

Кармен пожала плечами:

— Если вы хотите, чтобы все вокруг узнали... Ладно, ложитесь и ни о чем не беспокойтесь...

Она заставила Гледис лечь в постель. Затем дотронулась до ее ног:

— Вы же совсем замерзли...

Эти слова заставили Гледис вспомнить о похолодевшем теле дочери, и она простонала:

— Ах, Мари-Тереза, моя маленькая девочка, — и она зарыдала с силой, поразившей Кармен.

— Моя Мари-Тереза!.. У тебя такие холодные руки, тебе сейчас так холодно...

Некоторое время она плакала, потом замолчала, продолжая лежать с застывшим взглядом. Кармен, сидевшая рядом, ласково погладила ее по руке.

— Ну, хорошо, хорошо... Будьте разумны. Что вы хотите? Вы же не можете заставить ее вернуться, не так ли? Того, что случилось, изменить нельзя, вы должны понять это... Но... Что будет с ребенком, с родившимся младенцем?

— С ребенком? — прошептала Гледис.

— Да, с младенцем. Вы собираетесь оставить его у себя?

— О, нет, нет, — невнятно пробормотала Гледис. — Я не могу... Вы не должны требовать от меня такое... Это невозможно...

— Послушайте. Я откровенно скажу вам все, что я об этом думаю. Конечно, вы можете делать все что хотите... Но поверьте, вы не сможете обойтись полумерами. Оставьте его, воспитайте рядом с собой, если захотите. Но если вы не хотите оставить ребенка и дать ему свое имя, то вам нужно расстаться с ним немедленно. В этом случае лучше всего отдать его в приют — и забыть о случившемся... Разумеется, если вы когда-нибудь передумаете, вы всегда сможете забрать его из приюта. Но пытаться воспитать ребенка вдали от себя, время от времени тайком навещая его... Такое бывает только в романах. В жизни же это обычно заканчивается шантажом... Вы понимаете?

— Нет, только не это, только не приют... — прошептала Гледис. — Отдайте его на воспитание подальше отсюда... Чтобы никто никогда не узнал... Я заплачу столько, сколько будет нужно...

— Когда есть деньги, все становится возможным, — вздохнув, проговорила Кармен. — Если вы так хотите, мы найдем ребенку кормилицу... Где-нибудь подальше от вас...

— Да, хорошо...

— Я позабочусь обо всем. Вам не нужно беспокоиться. К счастью, ваша дочь скончалась без посторонней помощи... — И она прошептала, наклонившись к Гледис: — У меня есть знакомый в мэрии, он поможет оформить бумаги... Я сообщу, что ребенок родился в моей клинике, отец и мать остались неизвестны... Это будет одним из многих дел такого рода... Что касается дочери, то вы можете сказать, что она умерла от болезни легких. Этим можно будет объяснить, почему она в последнее время никуда не выходила. Впрочем, Ницца сейчас опустела, как-никак война... Никого не интересует, что происходит у соседа... Так что вам еще повезло. Кстати, вы уверены, что Жанна будет молчать?

— Да, конечно, — прошептала Гледис.

Она позвала горничную. Жанна вошла в спальню, держа на руках новорожденного.

— Надеюсь, никто, кроме вас, ничего не знает? — спросила Кармен. — Если вы будете держать язык за зубами, мадам щедро наградит вас.

— Как вы решили, что будет с ребенком? — спросила Жанна.

— Его отправят к кормилице. Что еще можно придумать?

— Вы хотите взглянуть на ребенка? — обратилась Жанна к Гледис и подошла к постели.

— Нет, не нужно, — с трудом выдавила Гледис сквозь судорожно сжатые губы. — Я не хочу видеть его.

— Но мадам, ведь ребенок ни в чем не виноват, — пробормотала Жанна.

Неожиданно Гледис почувствовала, что невероятно устала. Она пожала плечами.

— Хорошо, дайте его мне...

— В конце концов, мадам его бабушка, — возмущенно буркнула, поджав губы, Жанна.

Гледис покраснела. Черты ее лица исказила болезненная злоба, и она закричала:

— Унесите его!.. Немедленно!.. Я не хочу видеть его, ни сейчас, ни потом!.. Я ненавижу его!.. Я отдам деньги, отдам все, что у меня есть, только бы не видеть его!..

— Тогда я сама возьму его, мадам! — крикнула Жанна.

Гледис зарыдала и бессильно откинулась на подушку, схватив Кармен за руку.

— Займитесь всем этим и оставьте меня в покое!.. Вам нисколько не жаль меня!.. Или вы хотите, чтобы я тоже умерла?.. Я бы с радостью умерла, если бы это вернуло жизнь Мари-Терезе!.. Но я не могу видеть этого ребенка... Он не нужен мне!.. Я не знаю его!.. Он не существует для меня!.. Я не хочу знать, что он родился!.. Унесите его!..

Едва Жанна с ребенком вышла из комнаты, как охватившее Гледис бешенство утихло. Она оттолкнула Кармен и пошла в комнату к Мари-Терезе. Упав на колени перед кроватью дочери, она зарыдала. Ей показалось, что у нее разрывается сердце. Она простонала:

— Ах, Мари-Тереза, почему ты сделала это?.. Почему ты ушла от меня?.. Теперь я осталась одна, совсем одна... Дик ушел, и кроме тебя, на земле не осталось никого, кто любил бы меня...

Кармен принесла траурную одежду и помогла замолчавшей и нервно вздрагивавшей Гледис одеться. Несмотря на покрасневшие воспаленные глаза, она выглядела такой же красивой, как обычно. То и дело прижимая руки к груди, она с горечью думала: «Если бы только я могла плакать, мне было бы легче...»

Но на ее глазах больше не появилось ни одной слезинки, только время от времени короткий хриплый стон срывался с сухих губ.

— Все пройдет, — повторяла Кармен, не отводя от Гледис неодобрительного взгляда. — Вам нужно поплакать... Вы слишком женщина, чтобы долго оставаться матерью... И вы слишком молоды, чтобы долго страдать...

— Ах, замолчите, перестаньте терзать меня, — негромко проговорила Гледис.

— Мне для формальностей нужны ваши документы. Вы можете найти их?

— Но у меня здесь ничего нет...

— Ладно, неважно, обойдемся без них... Но сейчас мне нужно знать, сколько лет было вашей дочери. Кажется, ей исполнилось пятнадцать?

— Нет, это не так. Ведь вы, Кармен, должны знать, что на самом деле ей было уже девятнадцать.

— Лучше запишем возраст, на который она выглядела. Она действительно походила на девочку, особенно сейчас, когда лежит с распущенными волосами... Никто ничего не заподозрит... Так будет лучше для большего правдоподобия, да и для вас тоже...

— Для меня сейчас... — начала Гледис, но сразу же замолчала. Какое это теперь могло иметь значение для ее дочери?

Она протянула Кармен чек.

— Передайте его Жанне... Это для ребенка... И пусть она зайдет ко мне. Я хочу, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, чтобы он был счастлив... Но кто знает, что будет потом? У меня не осталось родных...

— Действительно, никто не знает, что будет потом, — повторила Кармен, нахмурившись. — Может быть, когда-нибудь вы захотите, чтобы он был рядом с вами... И даже полюбите его, станете для него второй матерью... Кто знает...

13

Гледис уехала в Мадрид, где и прожила до окончания войны. Потом она много путешествовала и в 1925 году вернулась в Париж. На праздновании Нового года она веселилась в одном из кабачков на Монмартре. В соответствии с модой тех лет, стены длинного узкого помещения были выкрашены в красный цвет. Светало. На лицах танцующих лежала печать усталости; их пьяное топтание на месте мало напоминало танец. Музыканты, уставшие не меньше танцоров, извлекали из своих инструментов не столько мелодии, сколько глухие ритмичные звуки тамтамов. Многие пары ограничивались беспорядочным блужданием по залу, держась друг за друга, и все желания и даже мысли покинули их отяжелевшие головы.

Гледис веселилась вместе со всеми. Весь прошедший год она носила траур по своей дочери. Поскольку ей полагалось носить траурную одежду белого цвета, а этот цвет весьма шел ей, она и сейчас была в белом. Она совсем не изменилась. Ее волосы оставались пышными, черты лица — такими же тонкими, как раньше. Только кожа на ее голове, утончившаяся с возрастом, позволяла угадывать выступы и впадины. Несмотря на это, ее кожа выглядела удивительно свежей; у нее также оставалась неизменной талия юной девушки, тонкая и гибкая. Единственной бросавшейся в глаза приметой возраста были впалые щеки.

Пробивавшиеся сквозь плотные шторы первые лучи утренней зари создавали вокруг ее головы ореол светящейся дымки. На стройной белоснежной шее не было украшений; танцуя с полузакрытыми глазами, она с удивительной грацией слегка наклоняла изящную головку и несколько устало улыбалась окружавшим ее мужчинам.

Очень редко она замечала среди танцующих размалеванных мумий юное лицо, и черты Мари-Терезы тут же возникали у нее в памяти. Танцуя в объятиях прижимавшего ее к себе любовника, Гледис с пронзительной печалью думала: «Она оказалась счастливее меня». Она забыла обстоятельства ее смерти; такое спасительное забвение часто встречается у женщин. И возникавший в ее голове образ Мари-Терезы был образом маленькой девочки, девочки, которую она так любила... Вздохнув и окинув окружающих печальным взглядом, Гледис как будто не видела танцующих, табачный дым и пустые бутылки на столах. И ей казалось, что она вспоминает о Мари-Терезе не в этой привычной для нее обстановке, а у себя дома, в своей комнате... Иногда она старалась прогнать воспоминания —

к чему тревожить прошлое?.. Ей оставался такой короткий срок привычной жизни... И она снова улыбалась обнимавшему ее мужчине.

Ее увлечения носили оттенок отчаяния; теперь они продолжались не годы или месяцы, как когда-то, а дни или даже часы... Ей требовалось постоянно подтверждать свою уверенность во власти над мужчинами, в способности сводить их с ума; как раньше, она умело заставляла их страдать. И когда они страдали, ее сердце смягчалось. Но с каждым годом добиваться этого становилось все труднее...

После войны ей все реже и реже встречались мужчины, способные испытывать муки любви. И она уже не была самой желанной, той, которую сразу же замечают среди толпы женщин, которая своим блеском затмевает красоту всех окружающих ее соперниц. Далеко не всегда взгляд вошедшего в комнату мужчины сразу же останавливался на ней. Конечно, она все еще могла без особых усилий пробудить в мужчине желание, но ее все чаще и чаще бросали. Она старалась не затягивать период ухаживания, потому что представляла, что сегодня мужчины стали торопиться в любви, но она слишком привыкла к обожанию, чтобы сразу же уступать грубому желанию. Ей требовалась уверенность в том, что ее любят, ей нужны были слова любви, мужская ревность. Временами ее неистовый пыл, рожденный отчаянием, вызывал удивление и подозрительность в понравившемся ей молодом человеке. «К чему мне этот груз на шею, — думал он. — Конечно, она красива и желанна, но вокруг столько доступных женщин...»

Иногда ей встречался более юный и более наивный поклонник, соглашавшийся относиться к ней так, как она хотела, но очень скоро и у него наступала пресыщенность.

Она думала: «Нет, это слишком легкая добыча... А вот его приятель, который еще ни разу не посмотрел на меня... Ах, Боже, подари мне еще немного удачи... Позволь мне еще хотя бы раз понравиться, как когда-то, увлечь его полностью, безумно... Ведь очень скоро я превращусь в состарившуюся женщину, все брошу, и мое сердце умрет...»

Ах, как ей нужна была ушедшая молодость...

Воспоминания о молодости пробуждали в ней жгучую ревность. Она хватала сидевшего рядом с ней мужчину за руку, пыталась поймать его взгляд, склонялась к нему с ищущим и беспокойным взглядом... Боже, как изменились за последнее время мужчины... Ее поклонники прежних лет — Ришар, Марк, Джордж Каннинг, Бошан... А теперь ее окружали скучающие физиономии, холодные глаза, усталые голоса. И короткие вспышки грубой страсти...

Домой она вернулась, когда совсем рассвело, проделав короткий путь по просыпающемуся городу. С Сены дул пронизывающий ветер. Она вспомнила дни юности, и сердце ее сжалось. Перед внутренним взором промелькнули сцена бала в Виктории, длинные белые перчатки, чье-то любовное признание...

Она вздохнула с печальной улыбкой. Посмотрев в зеркальце, перепачканное в пудре, она неожиданно увидела волшебный облик юности и пробормотала:

— Это всего лишь мои воспоминания... В них я остаюсь прекрасной и юной, как когда-то. Но кто может подумать, что мне уже далеко за тридцать?

Конечно, в 1925 году никто не принимал во внимание возраст женщины. Даже сорокалетние дамы считались юными.

«И почему я так боялась, что скоро мне исполнится сорок?.. Как было бы замечательно, если бы мне сейчас исполнилось только сорок!.. Ведь именно к сорока годам для женщины наступает настоящий расцвет, и она

по-прежнему остается юной... Да, конечно, но... Но если тебе уже пятьдесят, то это так страшно!..»

С тайной надеждой на что-то большее она позволила руке сидевшего рядом мужчины прикоснуться к своей груди, подумав при этом: «Что ж, попытайся, ты все равно нигде не найдешь другой, более красивой!»

Это так... Но если бы он знал... Если бы ему сейчас сказали: «Гледис Эйзенах уже пятьдесят лет...» Что бы он подумал? А если бы мы поссорились, что бы он сказал мне? Она подумала, что если бы мужчина бросил ей с презрением: «Еще бы, ведь в твоем возрасте...», то она бы умерла от стыда...

«Если бы он любил меня, все было бы иначе, но ведь человека, способного полюбить меня, не существует», — с тоской подумала она.

Ей так хотелось услышать слова любви... Как тогда... Неужели она больше никогда их не услышит? Наверное, мужчины приберегают их для других женщин...

Она пыталась успокоить себя: все дело в эпохе... Эта безразличная небрежность, эти торопливые объятия, эта холодная грубость... То и дело можно услышать слова: «бросить женщину». Можно появиться на свидании со скучающим видом, вслух оценить стоимость услуг женщины. На вопрос: «Ты любишь меня?» получить в ответ: «Сегодня ты выглядишь на все сто!»

Но этому поколению придет на смену другое. Вместо нынешних сухих и деловых юношей уже начинают появляться другие, пылкие, сентиментальные. Но они все реже и реже обращают на нее внимание, потому что мало поддерживать юный облик тела и лица, нужно не отставать от времени, говорить, чувствовать и думать так, как сейчас думают двадцатилетние, стараясь при этом не перегибать, не заискивать перед ними...

Постепенно растущее в ней беспокойство побудило ее посещать дома свиданий. По крайней мере, здесь не требовалось изображать высокие чувства. Каждый раз, когда она ожидала в небольшом салоне сводни, сердце, торопливо стучавшее в груди, напоминало ей об опьянении, охватывавшем ее прежде; она все еще испытывала его, словно старый яд еще оставался в ее крови.

Как любая другая страсть, она не оставляла Гледис ни минуты покоя. Как скупец думает только о своем золоте, а амбициозный человек — о почестях, так и Гледис была одержима желанием нравиться и тревогами о своем возрасте.

«Нет ничего проще, чем скрыть свой возраст», — думала она.

Война давно рассеяла всех ее старых друзей; не пощадила она и большинство новых знакомых. Время бежало так быстро... Забвение неизбежно подстерегало всех... Что касается женщин, то, вопреки общему мнению, для них существует своего рода тайное соглашение: женщина обещает не смеяться над временем, а время, в свою очередь, обещает не трогать ее...

Я буду хвалить тебя, время, буду утверждать, что ты прекрасно, а ты при случае должно будешь замолвить за меня словечко, сказать, что восхищено мной, и это позволит мне вспомнить свою юность и улыбнуться любовнику без тревоги и чувства унижения...

Я притворюсь, что забыла свой возраст, но и ты тоже не станешь напоминать окружающим, что мне перевалило за пятьдесят. Пожалей меня, и я не буду жестокой с тобой, не стану предавать тебя... Я скажу: «Какая глупость, женщине столько лет, на сколько она выглядит...»

Я спрошу: «Вы знаете эту знаменитую артистку?.. Вы говорите, что ее любовник изменяет ей? Что он получает от нее деньги?.. Но что вы можете знать об этом?.. Ведь среди нас так много покинутых женщин...»

И я никогда не воскликну: «Осторожно, это старуха!» Ты же должно вести себя со мной таким же образом...

Улыбнувшись, Гледис сказала:

— К чему говорить о возрасте женщины?.. В наше время это никого не интересует... Если та или другая женщина прекрасна и соблазнительна, что еще может заинтересовать мужчину?

Когда-то она могла бросить с безразличным видом:

— Жизнь слишком длинна... Чем, по-вашему, можно заниматься все это время?

Теперь какой-то суеверный ужас заставлял замереть слова у нее на губах. Она никогда не заводила разговор о прошлом, не вспоминала ни Ришара, ни Мари-Терезу. Она выбросила все фотографии дочери, потому что модели платьев девочки свидетельствовали о слишком отдаленных временах. Сохранила она только ее фотографию в семилетнем возрасте.

— Я потеряла этого ребенка, — говорила она с печальным вздохом.

В итоге все стали считать, что ее дочь умерла совсем маленькой. Да и сама Гледис постепенно стала верить этому.

Она непрерывно путешествовала, словно какая-нибудь авантюристка. При этом она не признавалась самой себе, что таким поведением просто стремилась разрушить мосты, связывающие ее с прошлым. Она просто говорила себе: «Мне стало скучно здесь», хотя в действительности она уезжала только потому, что повстречала когда-то знакомое ей лицо или увидела место, пробудившее слишком опасные воспоминания.

Когда ей исполнилось пятьдесят, ей почудилось, что злорадный голос принялся твердить ей: «Тебе пятьдесят лет... Тебе пятьдесят лет... А еще вчера тебе было всего... Но сейчас тебе уже пятьдесят, и ты никогда не вернешь себе молодость...»

В этот день она впервые посетила дом свиданий; с тех пор, как только ей становилось слишком тоскливо, как только ее начинали терзать воспоминания, она посещала это заведение и проводила там часок-другой.

Когда очередной незнакомый ей мужчина оказывался более предупредительным, более нежным, чем обычно, ощущение божественного спокойствия охватывало ее.

Она думала: «А если меня кто-нибудь узнает? Ну и что? Я же свободна... И вообще, что могут сказать про меня? Что я порочна? Ну и пусть меня назовут порочной, сумасшедшей, даже преступницей, лишь бы меня не считали старухой, женщиной, неспособной вызвать любовь... Все что угодно, только не этот кошмар, не этот ужас...»

Если она была уверена, что нравится мужчине, что тот с восхищением смотрит на нее, в ней вспыхивало ощущение почти физического наслаждения, несравненно более сильное, чем любое наслаждение любви.

Вот, например, очередной мужчина с холодными глазами, явно какой-то бизнесмен. Еще десять лет назад она не удостоила бы его даже беглого взгляда. Он спросил:

— Мы можем встретиться где-нибудь в другом месте?

И она тут же почувствовала себя невероятно счастливой.

Она достигла возраста, когда женщина перестает быстро меняться, но ее тело начинает едва заметно разрушаться под слоем пудры и румян.

Париж прощал ей все это, как и любой другой женщине. Тем более что она сохраняла былую грацию, былую элегантность.

Если кто-нибудь говорил: «Это Гледис Эйзенах? Но ведь эта дама в возрасте...», тут же чей-то голос отвечал: «Но она все еще прекрасно выглядит... Это так по-женски, так естественно — желание оставаться молодой... Да и кому от этого будет хуже?»

Она никогда, несмотря на холодный ветер, не кутала свою изящную шею; ее фигура выглядела такой тонкой, такой гибкой, что ее принимали за юную девушку. У нее оставалось лицо тридцатилетней женщины, и только по утрам или поздно вечером ей можно было дать сорок. Но ей этого было недостаточно; она хотела быть двадцатилетней, хотела танцевать всю ночь до утра и выглядеть при этом свежей, словно цветок, без румян и прочей косметики...

Какой-то мужчина обернулся, когда она проходила мимо, и улыбнулся ей. Она взглянула на него со спокойным безразличным видом женщины, не стремящейся к приключениям. Прохожий с озабоченным видом торопливо зашагал дальше. Гледис, сначала встрепенувшаяся от радости, тут же принялась тревожно копаться в памяти.

«А если бы этот мужчина так спокойно прошел мимо меня раньше?.. Разве я не стала бы добиваться продолжения?.. Может быть, я пошла бы за ним, пошла просто так, ради удовольствия видеть перед собой стройную мужскую фигуру? Но к чему думать о прошлом? Ведь прошлого давно нет... Не нужно позволять воспоминаниям завладевать моими мыслями... Будь жива Мари-Тереза, сегодня ей исполнилось бы двадцать пять лет... Может быть, она счастливее меня, потому что смерть унесла ее в расцвете юности... Юность... Увлечения юности... В конце концов, любая страсть трагична, все желания несут в себе роковой финал... Ведь человек никогда не получает то, о чем он мечтал...»

Этим туманным утром, когда после ночи с танцами и вином на губах остается только вкус пепла и горечи, печальные мысли неудержимо вторгались в ее голову.

Сидевшая за соседним столиком дама с высокой прической плохо покрашенных волос и ожерельем, свисавшим на ее высохшую грудь, улыбнулась Гледис. По крайней мере, ее глаза, глубоко сидевшие под бровями, попытались улыбнуться, тогда как улыбка оказалась не в состоянии пробиться сквозь толстый слой пудры и румян.

— Ах, это вы, Гледис...

Пошатываясь, старательно сжимая бокал шампанского в изуродованной подагрой руке, мумия подошла к столику Гледис.

— Вы не узнаете меня?.. Ах, дорогая, я так рада встретить вас!.. И вы прекрасны, как всегда... Я Лили Ферре... Ах, как я сердилась на вас когда-то... Вы помните Джорджа Каннинга?.. Вот уж был красавчик!.. Знаете, ведь его убили на войне... Сколько убитых, ах, сколько убитых...

Она уселась напротив Гледис и принялась пялиться на нее.

— Как приятно видеть женщину, всего на десять лет моложе, но ухитрившуюся сохранить такую удивительную молодость... Волшебный дар, доставшийся другому, всегда пробуждает в тебе надежду, что и с тобой может случиться это чудо... И пусть зеркало убеждает меня в противном, пусть приходится заводить юных любовников, которым нужно платить, все равно не перестаешь думать: почему бы не я? Кто сейчас ваш избранник, Гледис? У меня в жизни были сплошные разочарования, сплошные несчастья... Один молодой человек, которому я бесконечно верила, оказался бессовестным обманщиком... И так было всегда... Мне никогда не везло. — Помолчав, со вздохом спросила: — А вы счастливы?

Гледис ничего не ответила.

— Нет?.. Ах, мужчины так изменились... Вы помните, как было прежде?.. — Она перешла на шепот: — Как они были любезны, как преданны... Они могли любить женщину годами, без единого слова надежды... Ради нее они были готовы на все... Они бросали к ногам дамы целые состояния... А теперь? Но почему так все изменилось? Может быть, виновата война?

Гледис встала и протянула Лили руку:

— Простите, дорогая... Меня ждет мой друг... Прощайте. Я была рада повидать вас, но завтра я уезжаю из Парижа...

Лили неожиданно вспомнила:

— Ваша дочь сейчас, должно быть, стала совсем взрослой? Она вышла замуж?

— Нет, нет, — торопливо пробормотала Гледис, заметив своего любовника, подходившего к столику. — Нет. Вы разве не знаете? Она умерла...

— Как печально, что такое могло случиться... — сочувственно пробормотала пожилая дама. Она прикоснулась губами к щеке Гледис, оставив на ней следы помады, которую та поспешно стерла. — Бедняжка... Ведь вы так любили ее...

Гледис подошла к любовнику, ожидавшему ее у выхода. Очевидно, он слышал последнюю фразу Лили.

— У вас была дочь? — поинтересовался он, следуя за Гледис и разбрасывая при этом ногами валявшиеся на полу гроздья серпантина. — Вы никогда мне о ней не говорили. Она умерла ребенком?

— Да, совсем маленьким ребенком, — с трудом проговорила Гледис.

Моросил дождь. На спускавшемся к площади тротуаре дрожали тусклые блики утренних фонарей.

14

Весной 1930 года Гледис повстречала Альдо Монти. Красивый мужчина с чисто выбритым жестким лицом, массивной головой и холодными глазами. На его лице постоянно сохранялось выражение почти нечеловеческой воли и самообладания, которое нынче встречается не столько у английских джентльменов, сколько у копирующих их иностранцев. Всю свою жизнь Альдо Монти старался выглядеть англичанином как в словах, так и в делах. Он даже постоянно контролировал свои мысли, опасаясь, что они окажутся не такими четкими, не такими английскими. Его состояние было небольшим. Он искусно управлял им, но жизнь все равно становилась с каждым годом все труднее и труднее.

Он скоро начал думать о Гледис как о возможной супруге. Она была красива. И она была очень богата. Она нравилась ему. Конечно, у нее было множество любовников, о чем он был хорошо осведомлен, но в своих приключениях она всегда избегала грязи и скандалов. Он ухаживал за ней несколько месяцев, осторожно и искусно, а потом попросил ее стать его женой.

Они вдвоем остановились у живших в Париже итальянских друзей Монти. Стоял прекрасный осенний день; вечерело, но сад все еще купался в лучах солнца. Перед входом в особняк возникла колонна нежного, золотистого, словно мед, света, сквозь который пробивались яркие цвета нарядов гулявших в саду дам.

На Гледис были муслиновое платье и легкая соломенная шляпка, не скрывавшая волну ее замечательных волос. Под короткой фиолетовой вуалью сверкали большие тревожные глаза, изредка бросавшие прямой взгляд и тут же прятавшиеся под густыми ресницами. Она неторопливо прошла рядом с Монти до бронзовой скульптуры над фонтаном, изображавшей группу голых мальчуганов вокруг бассейна. Остановившись, она принялась рассеянно гладить небольшие холодные фигурки, казавшиеся необычно гладкими под ее пальцами.

— Гледис, дорогая, будьте моей женой... Я знаю, что могу предложить вам немногое... Я беден, но я ношу одну из самых известных, самых древних фамилий Италии, и я горжусь тем, что могу подарить ее вам... Ведь вы меня любите, Гледис, не так ли?

Она вздохнула. Конечно, она любит его. Впервые за много лет она видела в мужчине не приключение без будущего, а нечто иное. В конце концов, впервые мужчина предлагал ей совместную жизнь, безопасность и защиту от самой себя. Она смертельно устала от любовной гонки, в которую превратилась ее жизнь. Тревожно пересчитывать свои любовные победы, с каждым днем все более и более ненадежные и трудные, видеть, как стремительно приближается одинокая старость... Какой ужас! Наконец она найдет убежище на сильной груди мужчины, ей не нужны будут мимолетные связи со случайными прохожими, потому что у нее будет второй Ришар. Она опустила голову. Собеседник видел ее тонкие, подчеркнутые помадой и судорожно сжатые губы и ждал ответа. Потом он повторил:

— Мы будем счастливы вместе... Будьте моей женой...

— Это просто безумие, — слабым голосом проговорила она.

— Но почему?

Она не ответила. Замужество... Придется сообщить дату своего рождения... Ему было тридцать пять, а ей... Она даже мысленно не решалась назвать свой возраст. Ее останавливал невероятный, причиняющий боль стыд. Нет. Ни за что, ни за что!.. Если он, несмотря ни на что, женится на ней, как избавиться от мысли, что ему нужны только ее деньги, что он обязательно оставит ее, может быть, не завтра, не через год, но если пройдет еще десять лет... А они пролетят очень быстро... И тогда... Он все еще будет довольно молод, а она... Но, в конце концов, может быть, Бог просто дает мне отсрочку, подумала она с отчаянием. Ведь достаточно мне сильно устать или заболеть, и на следующее утро я проснусь старухой... А он будет знать...

— Нет, нет, — мягко сказала она. — Не стоит... Разве мы не можем по-прежнему любить друг друга, любить без каких-либо договоров, каких-либо обязательств?

— Если бы вы любили меня, — холодно бросил он, — эти обязательства показались бы вам легкими и приятными. Вы должны выйти за меня, Гледис, если я нужен вам.

Тогда она стала думать, что с ее деньгами, рискуя большими неприятностями, можно попытаться изменить в документах дату ее рождения, эти страшные цифры, которые она видела всегда, даже во сне... Да, она была женщиной и никогда не заглядывала вперед дальше, чем в завтрашний день.

И она обратилась к Монти с обворожительной, немного усталой улыбкой:

— Вы нужны мне гораздо больше, чем вы думаете, мой дорогой...

Об их помолвке было объявлено официально, и вскоре после этого Гледис вернулась в родные края. Там она получила копию свидетельства о рождении, изменила одну цифру в дате, а затем на основе этого поддельного свидетельства оформила все остальные документы, выданные ей на протяжении всей жизни. После этого она вернулась в небольшой городок, где родилась, и услужливый писарь присовокупил выписку из свидетельства о рождении к другим бумагам. Эта операция обошлась ей в целое состояние, но нужный результат был получен: весной 1931 года она стала — официально — на десять лет моложе. Да, всего лишь на десять, потому что на одном укромном кладбище на мраморном надгробии значилась также фальшивая дата, которую изменить было невозможно...

Десять лет. Она могла теперь признать свои сорок шесть лет, и то, что она была всего на десять лет старше Монти. Конечно, она хотела бы быть для этого мужчины ребенком, слабым и беспомощным ребенком, которого мужчина должен бережно держать в объятиях. Она мечтала быть любимой, вызывать восхищение и стать для него не столько женой или подругой, а любовницей, как это было когда-то с одной юной девушкой. И у нее никогда не хватило бы мужества, чтобы выйти за Монти.

15

Пятью годами позже, в один из осенних дней Гледис возвращалась домой; она шла по пустынному бульвару вдоль парка. Смеркалось, хотя было всего четыре часа. Парижские сумерки всегда пахнут влажным лесом. Гледис отослала машину и теперь, быстро шагая, с наслаждением вдыхала влажный терпкий воздух. Бульвар казался совершенно пустынным; единственным живым существом был бежавший впереди Гледис пес, старательно обнюхивавший тротуар. Стоявшие по сторонам дома выглядели мрачно; сквозь закрытые ставни не пробивался ни один лучик света. Мокрая листва деревьев и кустов в палисадниках блестела в свете фонарей.

Внезапно она увидела стоявшего под светильником юношу в сером плаще; он как будто ожидал ее. С удивлением посмотрев на него, Гледис машинально прикоснулась к выглядывавшему из-под мехового воротника жемчужному ожерелью. Юноша подождал, пока она пройдет мимо, потом последовал за ней, отстав на несколько шагов. Она пошла быстрее, но он вскоре догнал ее; она слышала его дыхание за своей спиной. Теперь она почти бежала; преследователь скоро отстал, и ей даже показалось, что он остановился; но едва она вздохнула с облегчением, как опять послышались шаги преследователя, почти догнавшего ее. Когда она оказалась в круге света под очередным фонарем, он негромко окликнул ее:

— Мадам...

Худое юное лицо; тяжелая голова на длинной хрупкой шее была вытянута вперед, как будто его кто-то тянул на веревочке.

— Вы не могли бы выслушать меня, мадам?.. Я напугал вас?.. Не бойтесь, я не бандит...

— Что вам нужно?

Он ничего не ответил, но продолжал следовать за ней так близко, что она слышала его дыхание. Потом он начал насвистывать мелодию из «Веселой вдовы»[1], постоянно повторяя несколько первых тактов. Этот свист, ритмичный и прерывистый, странно звучавший на пустынной улице, будил в ней какую-то непонятную тревогу.

Остановившись, она открыла сумочку. Он поднял в отстраняющем жесте руку:

— Нет, что вы, мадам...

— Тогда чего вы хотите?

— Всего лишь идти за вами, — пылко воскликнул он. — И сегодня это не первый раз... Вы не будете сердиться на меня, мадам?.. Наверное, вы привыкли к тому, что мужчины... Всего лишь силуэты, появляющиеся из тени и следующие за вами, без просьб, без надежды... Вы никогда не замечали меня?.. Но скоро будет месяц, как я жду вашего появления на улице... Я знаю, когда вы выходите, когда возвращаетесь к себе... Я знаю ваших друзей. Часто я вижу, как вы уезжаете на машине. Вы не представляете, какие чувства охватывают меня, когда я вижу вас... Но до сих пор мне не приходилось видеть вас одну... Но вы и в самом деле не сердитесь на меня?

Гледис внимательно посмотрела на него и пожала плечами.

— Сколько вам лет?

— Двадцать.

— И вы уже способны преследовать на улице незнакомых женщин? Вы так развлекаетесь, когда вам нечего делать? — поинтересовалась Гледис. Она уже чувствовала, как в ней пробуждается желание обольщать; ее голос невольно стал звучать мягче.

[1] Оперетта Франца Легара.

— Мне кажется, что вы очень добрый человек, мадам. Поэтому разве вы не можете оказать бедному юноше такую милость, как беглый взгляд или легкая улыбка... Ведь он так давно думает о вас, — произнес он странным голосом, в котором прозвучала страстная мечта.

— Но вы же совсем ребенок, — сказала Гледис, — будьте благоразумны! Я терпеливо выслушала вас, но вы же не можете не понимать, что я должна идти по своим делам? И у меня есть муж, который может неправильно понять ваше безрассудство.

— Но у вас нет мужа, мадам. Вы совершенно свободны... И вы так одиноки...

— Так или иначе, я прошу вас оставить меня в покое, — сказала Гледис, почувствовав тревогу.

Юноша заколебался, потом поклонился и отступил в сторону.

Гледис поспешно двинулась дальше, надеясь поймать такси, но улица оставалась совершенно пустынной. Через несколько минут она снова услышала шаги за собой.

На этот раз она остановилась и подождала его.

— Послушайте! С меня достаточно! Вы должны оставить меня, или же я позову на помощь первого же встречного полицейского.

— Нет! — резко возразил юноша.

— Вы сошли с ума!

— Вы не хотите знать, как меня зовут?

— При чем здесь ваше имя?.. Нет, вы действительно сошли с ума, — повторила она. — Я не знаю вас, и ваше имя меня не интересует.

— Это не совсем верно. Да, вы не знакомы со мной, но вы заинтересуетесь мной, когда узнаете, как меня зовут.

Помолчав, он негромко добавил:

— Очень заинтересуетесь...

Гледис ничего не сказала, но было заметно, как она вздрогнула и на ее лице промелькнуло трагическое выражение.

Помолчав, он сказал:

— Меня зовут Бернар Мартен.

Из груди Гледис вырвался вздох, похожий на сдавленное рыдание.

— Или вы ожидали, что меня зовут иначе? — спросил он. — Увы, у меня нет другого имени.

— Я не знаю вас.

— И тем не менее я ваш внук, — сказал Бернар Мартен.

— Нет... — пробормотала она. — Я вас не знаю... У меня нет внука!

Она не лгала; она была не в состоянии связать воспоминание о маленьком безымянном существе, красном от крика, увиденном ею двадцать лет назад, со стоявшим перед ней высоким молодым человеком. Двадцать лет...

— Послушайте, бабуля, отпираться нет смысла, и мне будет очень легко доказать это. У меня есть письмо он Жанны, вашей тогдашней горничной, воспитавшей меня. Сегодня ее уже нет, но она написала очень красноречивое письмо. Мои права...

— Ваши права?.. Я ничего вам не должна!

— Действительно?.. Ладно, я проиграю судебный процесс... А как насчет скандала? Вы не подумали о скандале, бабушка?

— Не называйте меня так! — закричала Гледис в приступе слепой ярости.

Юноша ничего не ответил. Он засунул руки в карманы и снова принялся негромко насвистывать мелодию вальса из «Веселой вдовы». Чтобы сдержать дрожь, сотрясавшую ее, Гледис стиснула руки так сильно, что ногти у нее вонзились в ладони.

— Вам нужны деньги?.. Да, конечно... Да, я виновата... Как я могла забыть... Я ведь сказала Жанне, чтобы она обратилась ко мне, как только ей понадобятся деньги... Она этого не сделала, и я... — Она помолчала. — Я просто забыла, — упавшим голосом добавила она.

— У меня всегда было все необходимое. Мне нужны не деньги...

Прозвучавшее в его голосе отвращение мгновенно избавило ее от жалости и угрызений совести.

— Значит, скандал?.. Еще бы... Мой бедный мальчик... Вы ведь приехали из глуши, из провинции?.. Так что скандал в Париже, о котором вы говорите...

Он молча шагал рядом с ней с задумчивым видом, негромко насвистывая.

Она подумала, что как ни говори, а это сын Мари-Терезы. Но эта мысль не пробудила никаких чувств в ее сердце, заполненном болезненной тревогой.

Она с отчаянием снова повторила:

— Вам нужны деньги?

Юноша с трудом произнес:

— Да.

Она торопливо раскрыла сумочку, достала банкноту в тысячу франков и протянула ему. Но юноша покачал головой

— Вашего любовника зовут Альдо Монти, не так ли?

— Вы хотите припугнуть меня?.. Но какое дело моему любовнику до сына, когда-то родившегося у моей дочери?

— Совершенно верно, бабуля... Но я встречался с Гонзалес, и меня воспитала Жанна. Эти женщины знали вас так, как только слуги могут знать своих хозяев; ни одно движение вашей души не оставалось для них загадкой. И я знаю, что вы бросили меня совсем не потому, что я был внебрачным ребенком вашей дочери, а потому, что вы хотели скрыть свой истинный возраст. Я ненавижу вас.

— Оставьте меня в покое!

— Да, вы все еще выглядите очень моложаво... Что говорят о вас?.. Ей лет сорок?.. Или сорок пять?.. Вам не хочется иметь этот возраст?.. И что может быть плохого, если у сорокапятилетней женщины есть двадцатилетний внук? Или я все-таки ошибаюсь?.. А?.. Мне так хотелось встретиться с вами, поговорить с вами... Вы очень похожи на женщину, которую я представлял себе... И хотя мне говорили, что вы еще красивы, что вы выглядите очень молодо, издали вы представлялись мне настоящим чудовищем... И вы действительно чудовище!

Он наклонился к Гледис, жадно всматриваясь в ее лицо. Она же пыталась различить в нем черты Мари-Терезы и Оливье Бошана. Но все это было в прошлом. Они оба давно умерли. Сейчас для нее существовал только Альдо Монти, ее любовник!..

Этот худощавый хрупкий мальчишка был всего лишь карикатурой своих родителей. Бледный, с закрывавшими лоб длинными волосами, плохо побритый; впалые щеки казались совсем прозрачными от худобы. Только глаза его напоминали глаза дочери: светлые, яркие, пристально смотревшие из-под длинных ресниц; они казались еще более красивыми, потому что сверкали на худом некрасивом лице.

Он заговорил первым, и в его голосе прозвучала холодная угроза:

— Выслушайте меня внимательно. Если вы не хотите проводить ночи у телефона, потому что я буду непрерывно звонить вам, если вы не хотите бодрствовать ночами, потому что я буду стучаться в двери вашей гостиницы, пока вы не откроете мне, если вам не нужен скандал, письмо вашему любовнику, вы должны посетить меня. Я живу на улице Фоссе-Сен-Жак, дом номер шесть. Это студенческое общежитие.

— Вы действительно думаете, что я приду? — пробормотала она, пытаясь улыбнуться.

— Если вы умная женщина...

— Хорошо, я подумаю... А теперь уходите, умоляю, оставьте меня в покое!... Я совсем не такое чудовище, каким вы меня представляете, — закончила она дрожащим от страха голосом.

Он ничего не ответил. Тряхнув мокрой головой, он застегнул верхнюю пуговицу плаща и исчез.

16

Эту ночь Монти провел у нее.

Они поужинали перед открытым окном. Парк был окутан серым туманом с рыжеватым осенним оттенком. Похолодало. Монти встал, чтобы закрыть окно, но она, казалось, наслаждалась прохладой.

Она подумала, что молодая женщина в этих условиях явно почувствовала бы холод. Но не она, хотя и весьма легко одетая... Сейчас она, чтобы доказать самой себе, что она все еще сильная, гибкая и молодая, не испугалась бы ни огня, ни ледяной воды...

Запахи промокшего под дождем Парижа заставляли думать про осеннюю пашню под затянутым бурыми тучами небом. Свет фар проезжавших автомобилей, пробивавшийся сквозь мокрую листву, сразу же исчезал, и потом на протяжении нескольких секунд можно было видеть только быстро удалявшиеся красные огни.

Монти задрожал от холода.

— Вам действительно не холодно?

— Нет. А вы, мой дорогой, такой неженка... Вам не стыдно?

Гледис любила сидеть возле открытого окна, потому что им тогда хватало света, рассеянного в небе над ночным Парижем, и небольшого светильника в глубине комнаты. Она не доверяла слишком яркому освещению. Монти курил. Почувствовав его нервозность, она подумала: «Ведь он может заговорить со мной резко, как иногда бывает... Сегодня я этого не перенесу...»

На глаза у нее навернулись слезы. Она зажмурилась, пытаясь увидеть внутренним взором лицо Бернара Мартена, и вздрогнула так сильно, что Монти обеспокоенно поинтересовался:

— Что с вами, Гледис?

— Нет, ничего, совершенно ничего, — ответила она голосом, в котором чувствовались слезы. — Сядьте ближе ко мне, Альдо... Вы все еще любите меня хоть немного? Ну, скажите это, умоляю вас... Мужчины не любят говорить о любви, я знаю, — сказала она, пытаясь улыбнуться. — Мой дорогой, мой любимый... Я так люблю вас, вы бы только знали... Когда я смотрю на вас, во мне все трепещет от нежности. Я влюблена в вас, словно пятнадцатилетняя девочка, вы олицетворяете для меня почти семейное тепло...

— Гледис, на самом деле вы испытываете ко мне всего лишь весьма бледную привязанность, потому что отказываетесь стать моей женой. Я хотел бы постоянно находиться рядом с вами, вернуться с вами в Италию, дать вам мое имя... Почему вы отказываетесь?

Замотав головой, она со страхом посмотрела на него.

— Нет, нет, я прошу вас никогда не говорить со мной об этом. Это невозможно!

Монти замолчал. Гледис подумала, что, несмотря на сказанное, она никогда не была так близка к тому, чтобы согласиться и уехать с ним, чтобы рассказать ему все, чтобы больше не хранить в себе груз своих страхов...

Ведь на всем свете у нее не было другого близкого человека. Она подумала: «В конце концов, почему бы и не согласиться?.. Какая разница, сколько тебе — сорок, пятьдесят или шестьдесят? Все равно к тебе никогда не вернется юность, прежняя, неподдельная...

Она вспомнила нескольких знакомых ей женщин, которых и после шестидесяти лет не переставали любить мужчины... Да, но это говорили они сами, подумала она с печальной проницательностью, а в действительности старые любовники любили не их, а свои воспоминания... Если бы Дик был жив... Для него я никогда не превратилась бы в старуху... А как будет с Монти?.. Признаться ему, что мне уже шестьдесят лет? Сказать, что у меня есть внук двадцати лет?.. Какой стыд... Я хочу, чтобы он восхищался и гордился мной... Я хочу оставаться молодой. Ведь до сих пор я и была молодой. Никто не подозревал, сколько лет мне на самом деле. А теперь... Да, но что я могу сделать сейчас для мальчика?.. Я уже причинила ему зло, его не исправишь... Если бы ему нужны были только деньги... Согласится ли он?.. Он ненавидит меня...

Она закрыла лицо руками. Монти спросил с удивлением:

— Дорогая, что с вами сегодня?

— Не знаю, — в отчаянии пробормотала она. — Сегодня мне так грустно. Я хочу умереть. Возьмите меня к себе на колени, приласкайте меня.

Он притянул к себе Гледис, и она прильнула к его груди, почувствовав облегчение, оказавшись в его объятиях. Он гладил ей волосы, ласково шепча:

— Мое дитя, моя любимая...

Сердце Гледис таяло от нежности и печали; время для нее исчезло.

Если бы он знал, сколько мне лет, разве он смог бы говорить мне такие слова?.. Если бы двадцатилетний юноша назвал меня при нем бабулей?... Нет, я по-прежнему молода, все что было раньше — это только страшный сон...

Она обвила руками его шею, вдыхая слабый аромат одеколона на его щеках, и сидела так, закрыв глаза. Потом встрепенулась:

— Я такая тяжелая, Альдо... Вы устали...

— Ты легкая, как птичка...

— Вы еще любите меня?

— Как всегда, но вы не хотите поговорить со мной о будущем?

— Да. Ведь будущее страшно... Послушайте, закройте глаза и отвечайте мне со всей искренностью, потому что для меня это очень важно. Вы будете любить меня, когда я состарюсь?

— Вы забываете, что мы состаримся вдвоем... Ведь мы примерно одного возраста?

— Нет, но... — и она замотала головой. — Если бы вы только знали, как я боюсь старости...

— Гледис, дорогая, вы молоды и прекрасны.

— Нет, это неправда. Я давно старуха, — глухим голосом произнесла она.

— Но сейчас, дорогая, вы ведете себя, словно неразумный ребенок.

— Мне интересно, до какого возраста женщина остается желанной? — неожиданно спросила она.

— Странный вопрос, дорогая... До тех пор, пока она остается красивой, пока она остается женщиной... Ну, лет до пятидесяти, пятидесяти пяти... Перед вами еще столько лет счастья, Гледис... Целая жизнь впереди...

— Да, конечно, целая жизнь, — эхом отозвалась она.

— Если вы послушаетесь меня, то к тому времени мы будем состарившейся супружеской парой. Мы, конечно, вместе поседеем... Неужели это так страшно?

— А если любовь исчезнет?

— Она никуда не денется, только станет другой, вот и все. Вы рассуждаете, словно ребенок, Гледис.

— Когда я была совсем юной, — задумчиво сказала Гледис, — я поклялась, что покончу с собой, когда пойму, что начала стареть. Я должна буду выполнить это обещание.

Она не слушала нежные упреки Альдо. Закрыв глаза, она изо вех сил прижималась к нему. Потом внезапно зарыдала:

— Ах, Альдо, я так несчастна!

— Но почему, дорогая, скажите, почему, и я постараюсь помочь вам. Но, увы, вы не доверяете мне. Я даже не могу считать себя вашим другом.

Она обхватила его и прижала к себе с силой, неожиданной для, казалось бы, такой хрупкой женщины.

— Нет, нет, вы не должны быть моим другом! Вы мой любимый, я люблю вас больше всего на свете!.. Не обращайте внимания на то, что болтает глупая женщина!.. Просто у меня обычные женские неприятности... Неудачно сшитое платье, затерявшийся браслет, мало ли что еще!

— Вы, дорогая, просто избалованный ребенок, слишком избалованный для нашего времени.

— Вы издеваетесь надо мной, но... У меня все же случаются неприятности, — пробормотала она.

— Но вы никогда не говорите мне об этом.

— Господи, к чему?.. Альдо, я не отпущу вас сегодня.

Засмеявшись он пожал плечами:

— Как вам будет угодно.

Когда он заснул, она все еще лежала рядом, пытаясь уснуть. Потом она осторожно встала и перешла в соседнюю комнату. Дрожа от холода, она металась по комнате, стараясь не шуметь. Беспорядочные мысли теснились у нее в голове. Никого на свете, ни одного близкого человека, — думала она. Заломив руки, она негромко простонала: «Ах, Дик, почему ты оставил меня?»

Но Ричард давно умер, и его тело давно растворилось в земле. Потом она вспомнила Марка, тоже давно ушедшего... Потом Джорджа Каннинга, убитого на войне... Оставался только Клод... И еще этот мальчишка, этот внезапно появившийся ее внук.

Схватив перо, она принялась строчить на листке бумаги, не переставая прислушиваться к равномерному дыханию Монти в соседней комнате.

«Вы должны приехать и помочь мне... Не удивляйтесь, что я зову вас... Наверное, вы давно меня забыли? Но у меня больше нет ни одного близкого человека... Все мои близкие умерли, и я осталась одна. Иногда мне кажется, что я оказалась на дне глубокого колодца, в бездне забвения... Только вы еще помните о той женщине, какой я была когда-то. Мне стыдно, невероятно стыдно, но я надеюсь, что у меня хватит мужества позвать вас, человека, когда-то любившего меня...»

Продолжая писать, она с горечью шептала:

— Он, конечно, забыл меня... Он тоже состарился и живет в тишине, далеко от тревог нашей жизни... Как он может понять меня? Ах, мне придется до скончания века гореть в аду, потому что я отказалась от покоя старости. Но я исправлюсь, я попрошу прощения у мальчика. Я все сделаю для него, все, что мать может сделать для своего ребенка, все, что сделала бы на моем месте Мари-Тереза, только бы он промолчал, только бы Альдо ничего не узнал!

Утром она бросила письмо в ящик письменного стола. Она так никогда и не отправила его.

17

На следующее утро начались телефонные звонки, повторявшиеся каждые четверть часа. Бернар ничего не говорил и сразу же опускал трубку, как только в ней раздавался голос горничной. Гледис распорядилась, чтобы телефон перенесли в ее комнату. Подняв трубку после первого же звонка, она сказала дрожащим голосом:

— Это я, Бернар.

— Алло! — Она сразу же узнала голос. — Это вы, бабушка?

— Вчера вы получили от меня тысячу франков. Не могли бы вы оставить меня в покое на несколько дней?

— Вы считаете, что легко отделаетесь деньгами?

— Скажите мне прямо, что вам нужно?

— Сказать это по телефону?

— Нет, нет, не стоит, — поспешно ответила Гледис, услышав шум в соседней комнате. — Я перезвоню вам...

— Нет, вы должны посетить меня!

— Ни за что!

— Как вам будет угодно. Кстати, ваш жених, мой будущий дедушка, это действительно граф Монти?

— Послушайте, — нервно сказала Гледис, — это очень опасная игра. То, что вы делаете, называется шантажом.

— Но вы же знаете, что это очень необычный шантаж...

На следующий день она все же отправилась к Бернару. Юноша жил в небольшой темной комнатке с очень низким грязным потолком. Раковина умывальника была разбита трещинами и почти развалилась; постельное белье было сильно поношенным и желтым от многочисленных стирок; на окнах висели шторы из грубой ткани неопределенного цвета.

На столе в беспорядке лежали книги; книги валялись также на полу. На постели стояла миска с апельсинами.

— Какое жалкое у вас жилье, — пробормотала Гледис. — Вы можете переехать отсюда, как только захотите...

Он с улыбкой посмотрел на нее.

— Нет, мне нужно совсем не это... Вы никак не можете догадаться... Ей-богу, вы не способны понять меня...

— Послушайте, — проговорила Гледис, — скажите, наконец, что вам нужно от меня? Конечно, я ничего не могу изменить в прошлом, но...

Она замолчала, ожидая, что скажет Бернар, но тот молчал. Потом он пожал плечами:

— Говорите же, мадам, я слушаю вас. Вы не хотите сесть?

Она машинально подчинилась; заметив, как дрожат у нее руки, она постаралась спрятать их.

— Зачем вам нужен скандал?

— Я же сказал, мадам, что вы не понимаете меня... Вы продолжаете считать, что я буду отстаивать свои права, но у меня, как незаконнорожденного, нет никаких прав. Впрочем, дело совсем не в этом. Хотя я еще не все обдумал... Скажем, я просто хочу, чтобы вы смирились с моим присутствием в вашей жизни, хочу нарушить ваш душевный покой... Посмотрите на себя в зеркало... Вы уже ничуть не похожи на женщину, которую я видел всего лишь вчера, когда вы так любезно заговорили с преследовавшим вас на улице неизвестным юношей... Сейчас вы больше соответствуете своему настоящему возрасту, моя дорогая бабуля... Нет, не нужно расстраиваться. И не вздумайте спорить со мной. Ведь я же в известной степени ваша плоть

и кровь, разве не так? Я единственная память о дочери, которую вы так любили, если судить по великолепному надгробию из белого мрамора — я видел его на кладбище в Ницце. И я видел мадам Гонзалес... Это такая очаровательная дама... Я прекрасно понимаю, почему моя мать предпочла умереть, но не оказаться в ее руках...

— Кто вас воспитал? — спросила Гледис. — Жанна?

— Нет. Она должна была зарабатывать на жизнь после того, как ушла от вас. Обо мне заботилась ее кузина, бывшая повариха. Ее муж, некий Мартьял Мартен, до того, как ушел на пенсию, был метрдотелем. Человек простой, но добрый, он согласился признать меня своим сыном, чтобы оформить мне документы. Когда он умер, я остался на попечении его жены, мамаши Берты, как я ее называл...

Гледис спрятала лицо в ладонях.

— Это она все рассказала вам?

Бернар, не отвечая, пожал плечами. Женщины никогда не забывали ни малейшей подробности той ночи, когда он родился; казалось, они ни о чем другом не думали. Вначале они старались не говорить об этой драме в присутствии ребенка, и ему потребовалось несколько лет, чтобы восстановить правду по обрывкам случайно подслушанных фраз. Воспоминания Жанны о смерти матери, о поведении Гледис постепенно стали для него чем-то вроде произведения драматического искусства. Вечерами, когда его укладывали в постель, в которой он обычно спал рядом с мамашей Бертой, женщины устраивались у печурки в соседней комнате и неизбежно заводили разговор на одну и ту же тему.

Через приоткрытую дверь он видел сгорбившуюся мамашу Берту в небольшой шапочке, с наброшенной на плечи черной шалью и с вязаньем на коленях. Жанна штопала рубашки и чулки Бернара. Задремавший ребенок переживал в полусне рассказы Жанны. Некоторые ее фразы повторялись так часто, что Бернар хорошо запомнил их.

— У его матери не нашлось даже рубашки, чтобы набросить на несчастного ребенка, и это в таком богатом доме... Его бабка заплатила сто тысяч франков за памятник на могиле дочери, а ребенок, сын ее дочери, чудом остался в живых и вообще не имел самого необходимого...

Бернар тер кулачками глаза, чтобы прогнать сон, а потом жадно прислушивался к разговору; в его сердце постепенно рождалась глухая ненависть, придававшая его жизни остроту.

И вот сейчас он с холодным любопытством смотрел на не перестававшую дрожать Гледис.

— Так что вам нужно от меня? — повторила она.

— Мы поговорим об этом в другой раз, — улыбнувшись, ответил он. — Сегодня я не хочу от вас ничего. Достаточно того, что я увидел вас и мы побеседовали.

— Я больше не приду...

— Ну что вы! Я не сомневаюсь в этом. Обязательно придете, как только я попрошу.

— Нет, ни за что!

— Нет? — повторил он, ухмыльнувшись. — Наверное, вы подумали, что немедленно уедете, как только вернетесь к себе? Еще бы — вы достаточно богаты, чтобы завтра же оказаться на другом конце света, стоит вам захотеть. Но письмо еще быстрее дойдет до господина Монти.

Она молчала, пытаясь найти на его лице какие-нибудь черточки, характерные для Мари-Терезы. Нет, ей не удавалось обнаружить ничего говорившего о родной крови.

Голос Бернара казался мягким, словно говорила женщина, но смех звучал жестко.

Она вздохнула. Старость придет ко мне через несколько лет, если не месяцев, подумала она. Настоящая старость, спокойная и ничего не требующая. Настанет день, когда я почувствую усталость от погони за любовью, и если уж от природы нельзя дождаться чуда, если единственного существа, плоти от моей плоти, нет в живых, то почему бы и не он?.. У меня будет очаг, чтобы согреться, будет место для сна... Конечно, я очень виновата, но... И кто в глубине души не сможет найти себе прощения? Все случилось так потому, что я была молода и красива, меня сделали беспечной развлечения, мужчины, любовь... Я стала такой, потому что жила в таком мире...

Она хотела бы все сказать ему, но достаточно было одного взгляда на бледное некрасивое лицо, увидеть светившийся в светлых глазах холодный ум... И слова замирали на ее губах. Она еще раз окинула взглядом комнату, жилье бедного студента с грязными окнами, истертым ковром на полу и фотографией женщины на столе.

— Кто это? Это ваша любовница?

Он не ответил.

— Я пришла к вам, Бернар, не потому, что испугалась ваших угроз. Но вы не поймете меня. Мужчина не способен понять, что женщина может прожить много лет, полностью отгородившись от прошлого, что она может не ощущать, как течет время, и ей достаточно уверенности в любви мужчины, чтобы не вспоминать все остальное. Я пришла к вам не как враг. Да и как бы это было возможно?

Он перебил ее:

— Ведь вы подумали об отъезде, признайтесь?

— Да, но я хорошо представляю, что мой любовник может получить письмо. Видите, я не пытаюсь защищаться. Я ничего не отрицаю. Я только хочу помочь вам. Я богата и могу обеспечить вам завидное существование.

— Разумеется, где-то в глуши?

Она испуганно посмотрела на него.

— Что вы имеете в виду?

— Вы хотите дать мне денег? А что, если мне нужно нечто другое?

— Я готова, — чуть слышно сказала она, — полюбить вас, как мать.

Он сухо засмеялся.

— Кому нужна ваша любовь? Кому вы еще нужны? Конечно, только юным жиголо. Кстати, ваш Монти не работает сводником?

— Монти благородный человек, — негромко сказала она.

— И он живет с вами, женщиной шестидесяти лет?.. Скажите, он не изменяет вам?

— Может быть, — прошептала Гледис, почувствовав, как у нее внезапно болезненно сжалось сердце.

— Впрочем, меня это не касается. Вернемся к нашим делам. Значит, вы не видите ничего другого, кроме денег и запоздалой материнской любви?.. А если меня не устраивает общественное положение, в котором я оказался благодаря вам? С большим опозданием признанный вами приемный сын Мартьяла Мартена, бывшего метрдотеля?

— Это уже поздно исправить.

— Вы так полагаете? Об этом стоит подумать.

Он с удовольствием наблюдал за попытками трепещущей Гледис отделаться от него.

Сейчас он испытывал острое наслаждение не от надежд на свое возможное блестящее будущее, и даже не от мыслей об отмщении, а от сознания, что ему удается тонкая коварная игра.

— За эти двадцать лет вы ни разу так и не вспомнили обо мне?

— Должна признаться, да, ни разу.
— Я ведь мог умереть от голода.
— Я говорила Жанне, чтобы она обратилась ко мне, если...
— И вы тут же исчезли? Вы уехали из Франции?
— Клянусь, я собиралась вернуться через несколько месяцев.
— Но вы забыли меня?
— Да.
— Как забывают брошенную собаку?
— Ах, умоляю вас, — воскликнула она, ломая руки, — не будем вспоминать прошлое... Как вы смотрите не меня... С какой ненавистью...
— Вы не хотите познакомить меня с Альдо Монти?
— Вы сошли с ума... Зачем?
— Почему бы и нет?
— Это невозможно, — пробормотала она.
— Вы стыдитесь меня?
— Мне стыдно за то, что я сделала, — солгала она, инстинктивно пытаясь успокоить его.
Но он с улыбкой покачал головой.
— Неужели дело только в этом?.. Ладно, я прощаю вас. Кто бы не понял, что вам хотелось скрыть поступок вашей дочери?
— Именно поэтому я не могу... Мне очень трудно, Бернар...
Она замолчала, услышав, что он смеется. Потом он ласково сказал:
— Хватит ломать комедию. Вы забываете, что я хорошо знал Жанну, а от горничной у вас не было секретов. Вы просто боялись, что все узнают, сколько вам лет, вот и все.
Было заметно, несмотря на румяна, что кровь бросилась Гледис в лицо.
— Помимо всего прочего, я люблю Альдо.
— Своего любовника? В вашем-то возрасте? Вам не стыдно говорить такое?
— Я люблю его. И если я хочу сохранить его, то не ради соблюдения добропорядочности и не из-за красивых чувств. Вы еще ребенок, и вам не понять этого. Я хочу остаться с ним потому, что я женщина, которую еще считают красивой и молодой, и это льстит его тщеславию. Если он узнает, сколько мне лет, узнает, что я солгала и стыжусь этого, но поступила так потому, что старость для меня — это настоящая трагедия, он бросит меня. Но если он останется, то это будет еще хуже, потому что я буду думать, что он поступил так из-за моих денег, а этого я не перенесу. Я просто умру. Мне нужно, чтобы меня любили.
— И что вы собираетесь делать?
— Надеюсь, вы поймете, в чем заключаются ваши интересы. Вы ничего не выиграете от скандала. Легально я вам ничего не должна. У вас есть официально оформленный приемный отец. Впрочем, — она устало пожала плечами, — я не очень хорошо разбираюсь в законах. Я готова дать вам единственное, что имею в своем распоряжении — деньги. Потом, через несколько лет, может быть, через несколько месяцев, мой любовник обязательно бросит меня... Я стану старухой... Именно так должно случиться. И тогда все изменится... Но оставшееся у меня до старости время я никому не отдам, ни за угрызения совести, ни за моральные долги!
Бернар ничего не сказал. Встав, он подошел к Гледис и некоторое время с любопытством смотрел на нее. Потом пробормотал:
— Ну что ж, теперь вы можете уйти...
Она молча встала и ушла.

18

Выйдя на улицу, Гледис пересекла бульвар, на котором первые фонари тускло светили через рыжий осенний туман. В этом квартале находилась школа. Здесь все принадлежало юности. Встречные лица казались ей бледными, болезненными и истощенными, но молодыми, такими молодыми... Она смотрела на них с ненавистью. Слова Бернара сидели в ее сердце занозами. Она словно опять слышала его: «Скажите, он изменяет вам?»

Как наивно прозвучал этот вопрос... Он изменяет вам?.. Ведь он не может любить вас, такую старуху! Она никогда не была ревнивой; она была слишком уверена в своей власти над мужчинами. И вот впервые в жизни она ощущала неуверенность, беспокойство, отчаяние...

— Любит ли он меня? Вообще, любил ли он меня когда-нибудь? Почему он не оставит меня, несмотря на мою несговорчивость? Действительно ли он хочет жениться на мне? Или все дело в моих деньгах? Почему вчера вечером он не пришел? Где он был? С кем? Почему?

Когда она обнимала его и он принимал ее ласки, закрыв глаза, то делал он это от наслаждения или потому, что не хотел видеть ее лицо?.. Действительно ли она выглядела такой молодой, как надеялась?..

Остановившись на улице, она достала из сумочки зеркало и с тревогой всмотрелась в свое лицо. И подумала, что лет пять назад, всего пять лет, в такой ситуации ни один проходивший мимо мужчина не удержался бы, чтобы не бросить: «Как же, как же, конечно красивая, можете не сомневаться...»

А сейчас никто не обратил на нее внимания. Мимо проходили парочки, держась за руки. То и дело ей встречались бедно одетые девушки с раздувшимися от книг портфелями. Она услышала, как одна из них, толстая и некрасивая, крикнула подружке:

— Ты знаешь, ведь они уехали отдыхать в Италию!

Казалось, она не понимала, как можно было уехать в Италию без нее? Вместе с возмущением в ее голосе прозвучала обида, и Гледис с сочувствием посмотрела на дурнушку, тоже столкнувшуюся с невозможностью реализовать свои мечты.

Ночью Гледис никак не удавалось уснуть, она лежала с бьющимся сердцем и бесконечно прокручивала в голове одни и те же мысли: «Я красива, красива, несмотря ни на что... Другой такой женщины он не найдет нигде... Это неправда, что мне уже шестьдесят, я по-прежнему молода! Мне нет шестидесяти, это невозможно! Зачем только я встречалась с этим мальчишкой?.. Двадцать лет я прожила, не думая о нем... Мне нужно было сразу же уехать, уехать на край света... Но он послал бы Альдо письмо... Любит ли он меня?.. Где он сейчас? Может быть, он любит другую женщину? Что я знаю о нем? Вообще, можно ли знать хоть что-нибудь о человеке, которого ты любишь? Может быть, он украдкой смеется надо мной?.. Может быть, он...»

Она подумала об одной из своих подружек. Да, действительно, Жанин Персье последнее время постоянно вертелась вокруг Монти.

«Если он узнает... Если он узнает правду обо мне, он посмеется надо мной вместе с ней. Он никогда не простит мне обман... А она скажет с фальшивым сочувствием: "Бедная Гледис... Конечно, вы ничего не подозревали, но женщину не обманешь... Я всегда догадывалась, что она гораздо старше, чем старается выглядеть, но когда я узнала, что ей столько лет... Это просто смешно!"»

Значит, она, Гледис, окажется смешной? «Нет, пусть меня будут называть гадкой, обманщицей, но только не смешной!.. Пусть я прослыву

чудовищем, но я не хочу, чтобы меня называли бабулей, не хочу считаться влюбленной старухой!»

Охваченная бешенством, она проговорила:

— Я покажу ему, что еще могу быть желанной! А Бернар... Этот мальчишка придумал какой-то подлый план, чтобы отомстить мне... Нет, я красива!.. Кто может догадаться о моем возрасте? А если и так, то разве нет влюбленных женщин возрастом за пятьдесят или даже старше? Да, над бедняжками могут издеваться за их спиной... Им приходится делать вид, что они не слышат, как над ними смеются... Ах, если бы Альдо сейчас был со мной, я бы забыла обо всем!.. Он любит меня!.. Невозможно так искусно изображать страсть!

Она вскочила и с остервенением сорвала с лица пропитанную разными снадобьями ткань. Эта фальшивая молодость, поддерживаемая только разными ухищрениями!.. Эти кремы, эти румяна, этот незаметный корсет под купальным костюмом... Такое годится для женщин, никогда не отличавшихся подлинной красотой, но не для меня, подумала она с горечью. Ей безумно хотелось немедленно увидеть Альдо, еще раз удостовериться, что любима.

— Я поеду к нему. Конечно, он решит, что я свихнулась, — в отчаянии пробормотала она. — Но я не могу оставаться в одиночестве... Я просто заболела. Я могу умереть, а поэтому должна увидеть его. Я умру, если останусь одна до утра.

Включив свет, она подошла к зеркалу и с ужасом всмотрелась в свое отражение. Она не сразу поняла, что боялась увидеть вместо обычного своего облика лицо дряхлой, потерявшей всякую надежду женщины...

Торопливо одевшись, она отправилась к Монти. Тот жил недалеко от ее гостиницы, на небольшой улочке, в уютной квартирке на первом этаже. Добираясь до него пешком, она рассчитывала, что быстрая ходьба успокоит ее. Подойдя к дому, она увидела темные окна: очевидно, все спали. Она осторожно постучала в окно его спальни. Никто не отозвался.

«Мой Альдо спит».

Она постучала немного громче. Ей случалось уже посещать любовника ночью, но тогда он ожидал ее. Снова тишина в ответ. Прислушавшись, она различила приглушенный звонок телефона, стоявшего у графа в изголовье. Но никто не поднял трубку. Где же он?.. И кто мог звонить ему так поздно?.. Кто, кроме нее, имел право на звонок в пять утра? И где он сам в такой час?..

Она в ярости затрясла металлические ставни, но сразу же остановилась, испугавшись, что разбудит консьержку или соседей. Отойдя в сторону, она присела на скамью, покрывшуюся мелкими холодными капельками росы. Туман клочьями свисал с веток. То и дело сверху срывалась капля, медленно стекавшая по ее обнаженной шее. Фонарь на углу мигнул несколько раз и погас. Светало. На востоке небо заметно посветлело. Мимо протащился грязный пьяница, невнятно обругал ее и исчез. Стоявшие по обеим сторонам улицы здания с издевкой смотрели на нее подслеповатыми глазами. Она подумала, трепеща от гнева и отчаяния: «Какая я идиотка!.. Безмозглая дура!.. Все это время он обманывал меня!.. А я ничего не видела, ничего не понимала!.. Так кто же? Но мне, пожалуй, лучше не знать этого...»

Тем не менее, в душе у нее гнездился яростный вопрос: «Кто?»

Вопрос оставался, словно рана, которая зудит так, что ее хочется разодрать руками, пусть даже это приведет к смерти...

«Я просижу здесь до утра, — подумала она с холодным бешенством, — но узнаю правду... Он не посмеет солгать мне...»

Потом ее охватила слепая надежда. «Наверное, я слишком тихо стучала... Может быть, он крепко спит спокойным сном?.. А этот телефон-

ный звонок?.. Нет, он явно мне почудился... Кто мог позвонить ему среди ночи?.. Конечно, он мне почудился...»

Она снова бросилась к окну, постучала, потрясла оконную раму замерзшими руками, позвала. Никто ей не ответил, если не считать отозвавшейся встревоженным лаем собаки.

Она негромко позвала:

— Джерри?.. Это ты, Джерри?..

Узнав ее голос, пес завизжал.

— Так ты тоже остался один?.. Он и тебя бросил, мой бедный Джерри?..

Наконец она увидела подъехавшее к дому такси. За боковым стеклом она заметила силуэт Монти. Дверца распахнулась, граф вышел и помог выбраться из машины Жанин Персье. Гледис вспомнила, что муж Жанин вот уже неделю как в отъезде и должен вернуться только завтра. Конечно, они провели вечер вместе. Граф был во фраке, Жанин сверкала обнаженными плечами. Сейчас они возвращались к Альдо, как это неоднократно было с Гледис, чтобы достойно завершить ночь.

Она едва не бросилась к ним, но сразу же сообразила: мое лицо!

Конечно, сейчас, после бессонной ночи, она выглядело не слишком привлекательно... Ей нельзя было показать слезы, она не имела права демонстрировать на людях свои страдания. Теперь все было иначе, чем в юности, когда слезы только делают девичье лицо более прелестным, подобно тому, как капли росы украшают цветы... Жанин могла плакать сколько хотела, ведь ей не было и тридцати... Ее слезы только смягчили бы жестокое сердце Монти. А Гледис должна была помнить, что слезы сразу же смоют румяна с ее щек.

Стиснув зубы и прижав ко рту ледяные ладони, она наблюдала, как парочка вошла в дом, закрыв за собой входную дверь. Некоторое время она могла видеть пробивающийся сквозь щели в ставнях свет. Потом свет погас. Посидев еще немного, она ушла.

19

На протяжении недель, последовавших за ночным дежурством возле дома Монти, Гледис неоднократно посещала Бернара. Ее охватывало странное ощущение покоя, когда она находилась в этой жалкой каморке; здесь ей не нужно было ни опасаться чего-либо, ни притворяться. Только здесь она могла быть обычной женщиной, могла расслабиться, опустить голову, которую она всегда старалась держать как можно более прямо, чтобы скрыть под жемчужным ожерельем давно изуродовавшие ее шею морщины. Она даже узнала, как зовут любовницу Бернара, молодую женщину с приятным, несколько угловатым лицом, с черными волосами, низко опускающимися на лоб. Когда она смеялась, ее внимательные глубокие глаза оставались темными и серьезными. В то же время, когда она казалась печальной и задумчивой, ее глаза нередко искрились юмором. Звали ее Лоретта Пеллегрэн. В ее гардеробе имелись только бежевый шерстяной костюм, берет и шелковая блузка в цветочках; блузку нужно было стирать каждый вечер, чтобы надеть ее утром, и она постоянно носила ее, даже в холодную погоду. На Монмартре было много таких девушек, приехавших неизвестно откуда и целый день живущих единственной булочкой с кофе. Они никого не интересуют и рано или поздно исчезают так же незаметно, как и появились. Гледис очень быстро догадалась, что деньги были нужны Бернару именно для Лоретты.

В этот день Гледис долго сидела у Бернара, ни с кем не разговаривая и не отводя взгляда от стекавших по оконному стеклу струек дождя. Лорет-

та часто кашляла, и казалось, что этот глухой, продолжительный кашель разрывает ей грудь.

Бернар сказал:

— Мадам, малышку нужно отправить в Швейцарию... Вы не могли бы помочь нам?.. Конечно, я сам постараюсь заработать нужную для этого сумму, — добавил он, опустив взгляд.

— Но почему, Бернар? Ведь я рядом с вами, и я...

— Я не собираюсь просить у вас денег, — раздраженно бросил Бернар. — Я имею в виду совсем не это. Неужели вы не понимаете, что я должен сам зарабатывать на жизнь!

— Так в чем же дело? — сказала Гледис с наивностью человека, никогда не нуждавшегося в деньгах. — Мне кажется, что здесь нет никаких сложностей?

Бернар криво улыбнулся.

— Вы так думаете?.. Вы не знаете, в какое время живете... Или вы спите?.. Наверное, вы заснули перед войной и до сих пор никак не можете проснуться...

— Бернар, я дам вам любую сумму, не важно, сколько вам будет нужно. Но что я могу сделать для вас кроме этого?

— У вас есть друзья, есть связи... Я знаю, что вы знакомы с министром Персье...

— Нет, нет, — смущенно пробормотала она. — Это совершенно невозможно... Лучше скажите, сколько вы хотите...

Она тут же оборвала разговор; приближался вечер, возрождавший у нее иллюзии молодости, и она спешила увидеться с Монти. Она распрощалась, оставив на столе чек.

— Она скоро вернется, — проговорила Лоретта, задумчиво улыбнувшись.

Повернувшись к Бернару, она внимательно посмотрела на него, и на ее лице появилось характерное для девушки выражение требовательного вопроса.

— Эта женщина... она твоя мать?

— Почему ты так думаешь?.. Что, разве мы так похожи?

— И у тебя, и у нее на лице написана трудная судьба, ты знаешь это? Такой трагический взгляд характерен для женщин галантного Фрагонара[1]...

— Нет, Лора, не говори так! — Он с нежностью посмотрел на возлюбленную. — Ты рассуждаешь, словно начитавшаяся романов белошвейка!

— Ну, а как же еще, мой дорогой! — пробормотала она.

Бернар пылко обнял ее.

— Ты уедешь в Швейцарию и поправишься там, вот увидишь...

Она ответила, легко касаясь его лица хрупким пальчиком:

— Конечно. Я не собираюсь умирать. Видишь ли, если я умру сейчас, то моя жизнь будет выглядеть вот так...— Она изобразила в воздухе правильную окружность. — Но в жизни в действительности так не бывает, жизнь выглядит иначе... — И она нарисовала в воздухе изломанную линию, уходящую в бесконечность. — Или даже вот так... — Она нарисовала знак вопроса.

— Ты только вернись, обязательно вернись, и ты увидишь, что я заставлю эту женщину отдать нам последнюю каплю крови, я уже не говорю про деньги... Хочешь знать, как ее зовут?.. Ее зовут Иезавель... Не понимаешь?.. Это неважно... Я ведь тоже не всегда понимаю тебя, но я люблю тебя...

---

[1] Французский художник (1732—1806), писавший в стиле рококо, яркий представитель пасторального жанра с элементами эротики; его исторические картины и гравюры пользовались большим спросом в конце XVIII века.

Когда ты вернешься, я накуплю тебе на деньги Иезавели красивых платьев, разных драгоценностей...

Лоретта уехала с полупустым чемоданчиком, тяжелым от нескольких книг, держа в руке берет и дрожа от холода в легком бежевом костюме. Она не догадывалась, что далеко не все девушки, уехавшие в Швейцарию с надеждой на выздоровление, вернулись домой.

20

Бернар получил из Швейцарии только два коротких письма, казалось, написанных в спешке. Он знал, что Лоретта умрет, и каждый день ждал известия об этом. Он сильно изменился: похудел, оброс щетиной; лицо его пожелтело, у него сильно болели зубы. Он перестал заглядывать в учебники. После бессонной ночи он бросался, не раздеваясь, на постель и спал до вечера. Проснувшись, дожидался наступления тоскливых парижских сумерек. Он был не в силах выйти из своей печальной комнаты. Да и куда он мог пойти? Его везде ожидали печаль и одиночество. Он дожидался, когда на улице зажгут газовые фонари, и после этого тупо смотрел на тени на стене от жалюзи. Уставившись на небольшой зеленоватый огонек, он ощущал, как его голова становится пустой, словно в ней растворялись все мысли. Когда в окно стучали тяжелые капли холодного дождя, он думал о Лоретте. Лоретта... Так вспоминают об умершем близком человеке. Это была скромная, тихая девушка, очень красивая... С острым, несколько меланхоличным умом... Иногда он бродил по ночным кафе, надеясь, что выпитое спиртное позволит ему забыть о любимой, или по крайней мере, не вспоминать о ней с такой болью... Но, сколько бы он ни пил, отсутствие Лоретты продолжало оставаться в нем, словно пустота, словно острый голод, словно черная тоска.

Он лежал на жесткой постели и дрожал от холода в изношенном свитере, который некому было заштопать. Часами, до полного отупения, он смотрел, как капли дождя стекают по оконным стеклам, пытаясь сопротивляться охватывающему его отчаянию и заставляя себя думать о Гледис, о своей ненависти к ней.

Тем не менее ему хотелось, чтобы она заглянула к нему — ведь он мог загнуться без посторонней помощи... В конце концов, она была единственным в мире существом, близким ему по крови...

Он негромко позвал:

— Лора...

Со стыдом он почувствовал, как на глаза у него наворачиваются слезы. В бешенстве он скомкал одеяло, потом уткнулся лицом в подушку, распространявшую по комнате запах плесени, как, впрочем, все предметы в этом общежитии.

— Моя Лоретта... Я больше не увижу тебя... Подумать только, что на деньги Иезавель я мог купить тебе все, что ты захотела бы — шоколад, украшения, платья... Твоя жизнь потекла бы совсем по-другому... Но теперь ничего этого не будет...

Он устыдился своей слабости и подумал: «Ну и что?.. Я все равно ничего не могу изменить... Потом вместо нее будет другая...»

Ему опять стало стыдно, и он взмолился:

— Нет, только бы она поправилась, только бы вернулась... Я вытрясу душу из Иезавель, я заберу у нее все, что она имеет... Если потребуется, я буду пытать ее... Она проклянет день, когда родилась...

У него в голове образовалась странная связь между его возлюбленной и женщиной, которую он называл Иезавель.

«Девушка двадцати лет, у которой в жизни не было даже пяти счастливых минут, умирает, а эта старая идиотка со своими бриллиантами позволяет себе любить, ревновать... Я должен убить ее, мне за это ничего не будет... Ничего!.. Господа судьи!.. Она была моей бабушкой. Она бросила меня, оставила в нищете... Я всего лишь отомстил ей... Но они могут сказать, что она давала мне деньги...

Похоже, у меня поднялась температура... Она была бы рада, подхвати я что-нибудь вроде тифа или туберкулеза, от которого умирает Лора... Нет, я не должен позволять ей успокоиться... Но мне опять не повезло... Все против меня!.. Я мог исчезнуть тысячу раз... Но я еще жив... Конечно, это утешает, но этого мало!.. Нет, этого слишком мало!..»

Накануне Рождества ему сообщили, что Лоретта умерла. Он решил посетить родителей девушки. Их адрес он нашел, разбирая старые письма, оставленные Лореттой в ящике стола.

Бернара провели в богато обставленную гостиную, где его встретила пожилая дама в трауре, с ожерельем из черной яшмы на шее. Это была мать Лоретты. Он рассказал ей, что Лоретта заболела и уехала на лечение в Швейцарию.

Заплакав, дама сказала:

— Этого следовало ожидать... Вы говорите, она в Швейцарии? Ах, там все так дорого... Большие дети всегда такие неблагодарные... Она ушла от меня... Чем я могла ей помочь? — Она поднесла к глазам платочек с черной каймой; черные бусины затрепетали на ее груди. — Мой муж умер в прошлом году, оставив меня нищей... Посоветуйте ей, чтобы она жила как можно экономней... Я знаю свою дочь: духи, косметика, шелковые чулки... Она должна подумать обо мне. Конечно, я могла бы посылать ей пятьсот франков в месяц, лишив себя самого необходимого... Но от нее ни одного письма за пять лет... Только теперь, когда ей понадобилась помощь, она вспомнила про семью и прислала вас... Хорошо, мсье, я буду посылать ей пятьсот франков ежемесячно...

— Это уже не имеет смысла, — грубо перебил ее Бернар. — Сейчас будут нужны только деньги на похороны. Ваша дочь скончалась вчера.

Он ушел. Лил дождь. Вместе с ночью на город опустился ледяной туман. Он шагал, не разбирая дороги и ни о чем не думая. Не заметив этого, оказался в каком-то бистро... Затем зашел в небольшое кафе на острове Сен-Луи, мрачное помещение со старинными резными балками, освещенными шипящими язычками газовых светильников. Потом был бар, окутанный табачным дымом, грязный и шумный...

Наконец он очутился на Монпарнасе. Опорожнив очередной стаканчик, он сообщил случайно оказавшемуся рядом приятелю:

— Ты знаешь, Лора умерла.

— Бедная девочка... Ей не было и двадцати... Выпьем еще по стаканчику?

Почти сразу же он снова оказался на мрачной улице; красный свет, падавший из бара на уличную грязь, окрашивал ее в цвет крови. Он поднялся по бесконечной лестнице к собору. Ощущалась потребность сообщить всему миру о смерти возлюбленной.

При этом собеседник обычно сначала восклицал:

— Не может быть!

И сразу же затем:

— Видать, она была слабого здоровья!

Иногда задавался вопрос:

— И сколько ей было?.. Неужели только двадцать?..

Услышав подтверждение возраста, близкого к их собственному, они замолкали. Бернар пил, всматриваясь сквозь табачный дым в знакомые лица, и в нем рождалась мрачная злоба.

Он спустился к Сене. В пьяной горячей голове гудела пустота. Слышался шум дождя, барабанившего по мостовой. Машинально он направился в Буа, к отелю Гледис. Им владела отчаянная и злобная потребность повидаться с ней. Он тупо твердил:

— Я хочу домой... К себе... Падаю с ног, так хочется спать...

Тем не менее ноги сами несли его к дому Иезавель.

Потом он подумал о матери Лоретты, о ее черном ожерелье, ее вышитых подушечках; эта полуживая старуха упорно не желала расставаться с деньгами, лишь бы продолжить на несколько лет свое жалкое существование.

— Мерзкие старухи, — подумал он, стиснув зубы.

Он испытывал одинаковую ненависть к Гледис, к матери Лоретты, ко всем дряхлым существам, стремившимся сохранить свои деньги, свое счастье и свое место в жизни, оставляя детям только отчаяние, бедность и жалкую смерть.

Вскоре открытые кафе стали попадаться все реже. В одном из них, где многие посетители играли в карты, он долго слушал старый проигрыватель, игравший хриплую мелодию.

Он видел Лору в день их первой встречи; она сидела возле жаровни, освещавшей ее колеблющимся красным светом; на шее у нее был красный шерстяной платок, на фоне которого бросались в глаза ее бледные черты.

Что-то было в этой девушке... Нечто такое, чего он так и не смог понять, такое, чего не понимала она сама... Что-то, имевшее отношение к поэзии...

Он подумал о своей матери, но не смог представить ее лицо. Он не думал, что, будь она жива, сейчас ей было бы около сорока лет; он видел ее такой же юной, как он сам, как Лора... Она казалась ему сестрой.

«Бедные мои, вас уже нет. Вы пропали где-то во мраке, а здесь все веселятся, танцуют, наслаждаются жизнью. Как бы мне хотелось схватить Иезавель за плечи и трясти, трясти, пока с нее не посыплется штукатурка косметики, — с бешенством подумал он. — Как я ее ненавижу!.. Это она виновата во всем!.. Какая несправедливость, что она живет до сих пор!.. Что будет со мной?.. Тысяча приятелей и ни одного друга... Я должен работать, а не учиться... Мне все это давно осточертело... У меня болят руки от безделья, от того, что я только перелистываю страницы книг... Работать... На стройке метро, в «чреве Парижа», где угодно... Но ты думаешь, старина, что в наше время так легко найти работу? Лучше бы я с самого начала был рабочим... Мамаша Берта не должна была воспитывать меня, как сыночка господ... Да, бывают дни, когда ты зол на весь мир, — со стыдом подумал он. — Но мне так хочется пить...»

Он вошел в еще открытое кафе на углу, купил бутылку воды и выпил ее снаружи, под дождем, едва укрывшись под хлопавшим на ветру полотняным навесом. Он дрожал от холода.

— Меня спасет любая работа. Можно забивать гвозди, строгать доски и уставать так, чтобы ночью спать как убитому. Год такой работы с пьянкой по выходным — и я забуду Лору... В конце концов, мне всего двадцать... Я не хочу умереть от тоски... Не хочу!.. — повторил он, словно бросая вызов неизвестным богам. — Да, конечно... Деньги Иезавель... Деньги... Такие доступные... Нет, эти женщины губят все, к чему прикасаются их руки...

Так он бродил всю ночь. Струйки дождя стекали по его лицу, и все мысли, что копошились у него в голове, все слова, что он бормотал, вместе

с шорохом дождя падали на казавшийся вымершим город. Над мостовыми клубился туман. Он шел, полузакрыв глаза, словно слепой, наталкиваясь на стены, и думал: «Я все скажу тебе, Иезавель!... О, ты никогда не сможешь забыть эту ночь! Как приятно причинять страдание человеческому существу!.. Интересно, что она делает сейчас?.. Может быть, она забыла обо мне? Но я быстро заставлю ее вспомнить!.. Да, так где же она сейчас?..»

Он посмотрел на темные окна отеля.

— Конечно, ночь перед Рождеством... Иезавель сейчас танцует где-нибудь, если только она не занята любовью в своем номере... Танцует, развлекается... Эта старуха, этот призрак, это чудовище... Но почему я говорю это? Ведь она выглядит очень молодо. Старая колдунья, — пробормотал он в приступе алкогольной горячки. — Ты у меня поплачешь сегодня! Я еще порадуюсь твоим слезам...

Прислонившись к стенке возле двери на черную лестницу, он застыл, зачарованно наблюдая за дождем.

21

В это время Гледис танцевала у Флоранс. Они были вчетвером: супруги Персье, Монти и она.

На эту ночь она планировала нечто вроде «финального раунда» борьбы между ней и Жанин; по некоторым почти неуловимым признакам она чувствовала, что проигрывает партию, что Жанин нравится Монти больше, чем она. Жанин напоминала изящную хищную птицу своим узким, слегка изогнутым носом, большими непрерывно моргавшими беспокойными глазами, черными гладкими и блестевшими, словно оперение, волосами. Этим вечером у нее была модная в этом сезоне прическа, похожая на уложенные на голове крылья. Она была неутомима, относясь к типу внешне хрупких женщин, на деле обладающих стальными мышцами. Догадавшись, что скрывала Гледис, она примерно представляла ее возраст. Она была влюблена в Монти, но больше всего ее прельщала слава женщины, отобравшей возлюбленного у самой Гледис Эйзенах.

Она старалась раздавить свою состарившуюся, но все еще блиставшую красотой соперницу; Гледис была вынуждена принять вызов. Жанин много пила, и Гледис старалась не отставать от нее; когда Жанин неутомимо танцевала, она тоже продолжала кружиться, хотя чувствовала, что едва держится на ногах. Ревность разрывала ей сердце. Она была готова на любую жертву, лишь бы вырвать у Монти улыбку, пылающий страстью взгляд. При каждом взгляде на Жанин все ее тело охватывали спазмы; она мечтала, как выхватит из сумочки недавно купленный револьвер и...

Гледис продолжала болтать и смеяться, стараясь подхлестнуть свою красоту, подобно всаднику, безжалостно погоняющему уставшую лошадь. Пользовавшийся этой ситуацией Монти испытывал острое наслаждение, по очереди сжимая в объятиях то одну, то другую женщину, трепещущую в его руках.

Гледис уже давно не приходилось танцевать так, как сегодня, в праздничном чаде, среди мелькавших вокруг одинаковых лиц, с каждой минутой ощущая все более сильную боль во всем теле.

«Давай же, — с бешенством твердила она себе, — танцуй, улыбайся!.. Ты должна выглядеть беззаботной, юной, красивой!.. Ты должна нравиться всем мужчинам, увлекать их, вызывать у них ревность...»

Несмотря на то, что она обычно не надевала свои драгоценности, за исключением жемчужного ожерелья, сегодня она была увешана бриллиантами, потому что Жанин не могла блеснуть украшениями. Она должна

была любой ценой привлекать взгляды, и ее возлюбленный не должен был задаваться вопросом, останавливаются ли на ней восхищенные взгляды мужчин из-за блеска драгоценностей, или из-за ее красоты.

Даже в пять утра она продолжала блистать красотой среди множества прекрасных девушек, и никто не мог увидеть на ее лице ни появившиеся морщины, ни маску смерти, характерную для сильно накрашенных пожилых женщин. Ни на минуту она не позволяла себе расслабляться. Нет, она не окажется более слабой по сравнению со свежими юными красотками. Танцевать, пить, снова танцевать. Заставлять свое шестидесятилетнее тело не чувствовать ни боль, ни усталость. Держать прямо обнаженную спину, несмотря на то, что каждая мышца давно болит, словно открытая рана. Не дрожать в потоках холодного воздуха, врывавшегося в помещение через распахнутое окно.

Соперницы с улыбкой обменивалась шпильками:

— Осторожнее, дорогая... Вас может просквозить...

— О чем вы говорите!.. Я никогда не устаю и не болею...

Жанин язвительно бросала:

— Ну конечно, вы находите наше поколение слабым и болезненным...

Гледис чувствовала, что у нее дрожат колени; тем не менее она выпрямлялась, заставляя свое тело подчиняться. Улыбаясь, она изо всех сил старалась успокоить судорожно бьющееся сердце, сделать неслышным с трудом вырывающееся из груди дыхание.

В конце концов ей удалось не только победить свое непослушное тело, но и одержать верх над Жанин; в ее ногах вновь появилась гибкость, к ней вернулось чувство ритма, дыхание успокоилось. Она танцевала теперь так, словно к ней вернулись ее двадцать лет. Улыбаясь, она с удовольствием видела в зеркалах то мелькающее белоснежное платье, то уложенные в виде короны свои золотистые волосы, как будто ей удалось вернуться в юность.

Четыре часа утра... Пять часов... Она танцевала. Бернар упорно ждал под дождем.

Жанин начала проявлять признаки усталости. Конечно, она была на тридцать лет моложе Гледис, но ее менее совершенная красота оказалась менее надежной защитой.

Гледис, испытывавшая радость победы, все же не могла забыть о своем возрасте, не могла избавиться от тяжести прошлого. Она любезно болтала и улыбалась, но в ее голове неумолимо толпились мрачные мысли.

Окружающие видели в ней только женщину без возраста; таких сорокалетних женщин много в Париже. Но если при вечернем освещении, благодаря косметике и драгоценностям, она все еще блистала красотой, красотой хрупкой и патетической, то в свете утра она казалась обычной пожилой дамой. Несмотря на все ее усилия, на ее борьбу с собой и своими страхами, значение имели только небрежные слова, брошенные каким-то юношей своему приятелю:

— Гледис Эйзенах?.. Ну, она вполне ничего... С ней еще можно провести ночку...

22

Бернар ждал. Он не ощущал пронизывающего холода. Казалось, ему даже нравилось, что ледяной ветер хлестал его по лицу. Ветер был наполнен запахом воды, влажным и травянистым запахом болота. Ни о чем не думая, он не отводил взгляд от темных окон апартаментов Гледис.

Наконец он услышал шум мотора. Подъехала машина. В освещенном салоне он разглядел светлую головку Гледис.

— Она веселится, — пробормотал он сквозь стиснутые зубы, — танцует, развлекается... Но почему?.. Ей столько лет, она уже давно не имеет права на это...

Подойдя к машине, он распахнул дверцу и сразу же отодвинулся в темноту. Монти или не обратил на него внимания, или решил, что это какой-то бродяга пытается заработать на бутылку. Но Гледис сразу же узнала его. Бернар увидел, как она наклонилась к своему возлюбленному и попрощалась с ним, не разрешив провожать себя. Монти уехал. Бернар молча прошел до входа в отель за Гледис. Она оглянулась, почувствовав, как в ней волной поднимается злость.

Помолчав, она прошипела:

— Убирайтесь отсюда!

— Мне нужно поговорить с вами. Впустите меня.

— Вы сошли с ума!.. Уходите!

Чувство ненависти, которое она безуспешно пыталась подавить, как будто вскипело в ней, чистое, ничем не замутненное. Ей были отвратительны голос Бернара, взгляд его голодных глаз, его кривая ухмылка; то, что она чувствовала к нему, могло родиться только к существу одной крови.

— Я советую вам впустить меня, — сказал он, схватив Гледис за руку.

— Успокойтесь, отпустите меня... Портье увидит...

Он вошел вслед за Гледис. В вестибюле никого не было. Бернар огляделся; слабая лампочка освещала первые ступеньки лестницы. Они поднялись в слабо освещенный номер. У нее так сильно дрожали ноги, что она сразу же рухнула в кресло, дыша тяжело, словно загнанная лошадь; все ее тело скрутила судорога, вызванная продолжительным физическим напряжением.

Она зажгла лампу с розовым абажуром и машинально подняла воротник своего манто, чтобы скрыть лицо с явными следами усталости.

Бернар неуверенно приблизился к ней; он чувствовал, что пьян, и очень хотел спать; все происходящее представлялось ему кошмаром.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга, ощущая ненависть к противоположному лицу и некоторый страх перед этой ненавистью. Хмель и усталость создавали нечто вроде тумана, удушающего оцепенения кошмарного сна.

Наконец она негромко сказала, постаравшись, чтобы ее голос прозвучал как можно более мягко, без оттенков неприязни или скуки:

— Что случилось, мой мальчик? Вам что-нибудь нужно от меня?

— Я звонил вам позавчера. Звонил вчера. Потом написал вам. Мне кажется, что вы больше не боитесь меня, моя дорогая бабушка.

Он с удовольствием увидел, что она напряглась и побледнело ее лицо, как если бы он занес над ней хлыст. В ее взгляде промелькнула тревога.

— Вы пьяны, Бернар. Зачем вы пришли мучить меня?.. Ведь я стараюсь помочь вам, помочь чем могу. Я сделала все, чтобы убедить вас в моем расположении к вам...

— Расположении? — Он пожал плечами. — Да, конечно... Но я не нуждаюсь в вашем расположении.

— Я знаю, — со странной горечью произнесла она. — Вам нужны только мои деньги.

— Вы упрекаете меня в том, что я никогда не приходил к вам, надеясь на ваши теплые чувства?.. Это было бы слишком!..

Она устало закрыла глаза.

— Так чего вы хотите от меня?.. Говорите и уходите! Что вам нужно? — повторила она, топнув ногой в редком для нее приступе внезапного раздражения, исказившего правильные черты ее лица. — Не сомневаюсь, вам нужны деньги... Хорошо, говорите сколько и убирайтесь!

Бернар покачал головой.

— Мне не нужны деньги. Вы решили, что достаточно бросить мне очередную подачку, и я замолчу, радуясь вашему благодеянию?.. Правильно говорят, что труднее всего понять человека одной с вами крови!

— Тогда чего вы хотите? Могу предположить, что вам нужно заставить меня страдать... Это так?

Они опять долго смотрели друг на друга и молчали.

Он наконец не выдержал.

— Послушайте, я не могу дальше жить так. Я хочу, чтобы вы воспользовались вашими связями, вашими деньгами, вашими друзьями, чтобы устранить хотя бы частично эту чудовищную несправедливость, жертвой которой я стал. Я больше не хочу оставаться приемным сыном Мартьяла Мартена. Ведь я не Бернар Мартен. Или, если я все же останусь Бернаром Мартеном, я не хочу, чтобы это имя принадлежало какому-то жалкому неизвестному парню. У меня есть характер, я могу работать, сил и ума у меня хватит на многое. Послушайте! Вот что мне нужно от вас: вы сейчас же напишете письмо своему другу Персье, чтобы он взял меня на работу, — пусть простым писарем, кем угодно. Мне нужен всего лишь трамплин, понимаете?

Гледис смотрела на него, охваченная паникой, ослепляющей разум. Сердце у нее билось так сильно, что она едва расслышала сказанное Бернаром. Персье... Муж Жанин... Если Жанин узнает об этом...

Она вскрикнула:

— Нет!

— Почему?

— Я не могу. Только не Персье. Впрочем, он и не станет меня слушать. Сейчас не время заводить деловые разговоры. Я не могу!

— Но почему?

— Это невозможно!

— Значит, вы отказываетесь? — крикнул он, почувствовав, что за ее сопротивлением прячется какая-то тайная слабость, какое-то больное место, рана, которую он сможет или перевязывать, или бередить когда ему захочется.

— Хватит, Бернар! Уходите! Мы поговорим с вами завтра!

— Почему? Я так долго ждал вас сегодня. Я достаточно помучился. Теперь ваша очередь. Но вы, возможно, кого-то ждете? Надо же, какая будет неожиданная встреча! Невероятно забавная встреча! Только представьте: открывается дверь, и входит ваш любовник: «Мадам, кто этот молодой человек? Может быть, ваш юный любовник? Ах, вот как, это не любовник, это ваш внук?» Какое приятное мгновение!.. Посмотрите в зеркало на свое лицо: сейчас вы действительно смахиваете на старуху! Вам не удастся скрыть свой возраст! Только посмотрите на себя, — и он сунул ей под нос зеркало. — Посмотрите на эти мешки под глазами, на морщины, проглядывающие сквозь румяна! Да вы же старуха! Старая дряхлая женщина! Как я ненавижу вас!

Она схватила зеркало трясущимися руками и некоторое время всматривалась расширенными от ужаса глазами в свое изображение.

— Бернар, мне иногда кажется, что вы ненавидите меня не столько за прошлое, сколько за настоящее... Но почему? Почему вас не устраивает, что я еще не старуха, что у меня есть любовник?

— Потому что вы отвратительны мне, — пробурчал он.

— Почему, Бернар, почему? Вы молоды, у вас есть возлюбленная. Как же вы не можете понять, что я тоже влюблена, что я готова отдать жизнь, лишь бы меня любили? Вы хотите отобрать у меня мои платья, мои меха, мои драгоценности и отдать их Лоретте? Да я с радостью сама отдам вам

все это! Если бы вы только знали, какой можно быть несчастной, несмотря на все богатство! Если бы вы знали, как сегодня мне пришлось страдать! Мой возлюбленный...

— Замолчите! Есть слова, произносить которые у вас нет права! Они звучат чудовищно, когда вы произносите их! Вам шестьдесят, вы уже пожилая женщина... Любовь, любовники, счастье — это уже не для вас! Вы, старики, должны удовольствоваться тем, что мы не можем отнять у вас! — с бешенством выкрикнул он, подумав о матери Лоретты. — Оставьте себе деньги, место в обществе, свое счастье... Хотя, впрочем, счастье тоже должно принадлежать нам... По какому праву вы все забираете себе? Вы влюблены? Бедная старая сумасшедшая, — ухмыльнулся он. — Но если бы было так, если бы вы имели право любить и быть любимыми, почему бы вы так боялись признавать свой возраст? Наверное, даже соверши вы преступление, вы не так стыдились бы сделанного... И вы были бы рады моей смерти, позволь она вам скрыть свой возраст!.. Я ненавижу вас потому, что вы старая, а я молодой, и тем не менее вы счастливы, тогда как счастье должно принадлежать мне, потому что я молод! Вы ограбили меня! Впрочем, вы тоже ненавидите меня, только у вас нет мужества признать это! Вы обращаетесь ко мне «мой мальчик»... Вы пытаетесь улыбаться ртом, который готов укусить меня!

— Почему вы хотите, чтобы я любила вас? — негромко спросила Гледис. — Кто вы для меня?.. Родила вас не я, вы мне не сын. Для меня не имеет значения, что мы одной крови. Так могут рассуждать только мужчины! Я не знаю вас, вы для меня чужой человек. Для меня имеет значение только один человек — мой любовник!

— Подохнуть со смеху! — буркнул Бернар.

Но Гледис продолжала, словно не услышав его:

— Он для меня все, потому что, если он меня бросит, в моей жизни не будет никого, кто любил бы меня, кто хотел бы быть со мной, и у меня останется только жизнь старой женщины, что, по-моему, хуже смерти!

— Как вы смеете говорить о любви! И вы говорите, что не знаете меня, своего внука... Господи, что я несу? — с отчаянием пробормотал Бернар, но в глубине души он знал, что прав. — Вы думаете, что победили старость, но она все равно гнездится в вас. Вы можете заставить свое тело выглядеть так, словно оно принадлежит юной девушке, можете закрасить седину, можете танцевать ночь напролет, но душа у вас дряхлая! Даже хуже, от нее уже несет мертвечиной!

— Замолчите! Оставьте меня! Вы сошли с ума или напились. Что я вам сделала, в конце концов? Я ничего у вас не отняла... Каждый человек имеет право на свою долю счастья... Так что плохого я сделала? Я свободный человек, моя жизнь...

— Ваша жизнь... Какое значение имеет ваша жизнь?.. Вы уже прожили свое, вы уже получили свою долю счастья, тогда как я... О, как бы я хотел заставить вас страдать... Не понимаю, почему я до сих пор не убил вас!.. Вряд ли найдется человек, способный обвинить меня в убийстве... Разумеется, меня назовут матереубийцей, и это будет единственной возможностью доказать, что вы являетесь моей бабкой! Нет, лучше всего будет сказать правду вашему любовнику...

— Послушайте меня! Что вы выиграете, сказав правду?.. Хорошо, вы убьете меня, но у вас больше не будет ни поддержки, ни денег!

— К чему мне ваши деньги! Лора умерла вчера. Что касается поддержки, то я прекрасно понимаю, что это только слова. Так что я хотя бы испытаю удовлетворение тем, что отниму у вас ваши иллюзии! Так вот, послушайте, я скажу вам, что будет дальше! Я расскажу вашему любовнику, что вы старуха, что вам шестьдесят лет... — Он буквально смаковал эти

слова. — И он проглотит все это! Он останется! Ведь ему нужны не вы, а ваши деньги... Только тогда вы поймете все, несчастная сумасшедшая...

Он замолчал. Зазвонил телефон. Бернар засмеялся:

— Это он?.. Это ваш любовник?.. Ну, теперь мы действительно позабавимся...

— Нет, Бернар!

— Да!.. Случилось то, о чем я не мог и мечтать!.. Представляете наш разговор: «Вы граф Монти? Я Бернар Мартен». — «Мужчина ночью у моей любовницы? В такое время?» — «О, не совсем мужчина, скорее мальчик. Ребенок. Почти ваш ребенок...»

— Бернар!

Она бросилась на него, но он не позволил ей схватить телефон и пробормотал ласково, едва ли не с нежностью:

— Внук вашей любовницы! Внук прекрасной Гледис Эйзенах!

— Бернар, оставьте телефон! Перестаньте говорить глупости! Я ничего вам не сделала... Я прошу у вас прощения, Бернар!.. Бернар, простите меня!.. Я отдам вам все, вы будете богаты! — закричала она, пытаясь заглушить непрерывные звонки телефона, который Бернар издевательски нежно поглаживал. — Оставьте телефон!

Бернар сделал движение, словно хотел поднять трубку. Тогда она схватила револьвер, о котором помнила каждую минуту на протяжении последнего месяца.

Он посмотрел на нее, и лицо его перекосила странная презрительная гримаса. Она выстрелила. Бернар выронил телефон. На его внезапно смягчившемся лице появилось выражение удивления, и он упал, увлекая за собой телефон. Тот продолжал звонить на полу.

Она увидела, как на его лицо набежала тень смерти. Прежде чем она закричала и позвала на помощь, прежде чем почувствовала жалость и отчаяние, ее сердце заполнил покой. Телефон замолчал.

Перевод с французского Игоря НАЙДЕНКОВА.





БЁРРИС ФОН МЮНХГАУЗЕН

Я — последний в роду и последний в стране

Немецкий поэт Бёррис фон Мюнхгаузен родился 20 марта 1874 года в семье, принадлежавшей к знаменитому аристократическому роду Мюнхгаузенов. Его предки участвовали в крестовых походах, служили кондотьерами испанскому королю, воевали за независимость США. Мюнхгаузены основали Геттингенский университет, были премьер-министрами Ганновера. Но самым знаменитым среди них оказался барон Карл Иероним Фридрих фон Мюнхгаузен (1720—1797), бывший ротмистром русской службы и прославившийся своими веселыми рассказами-небылицами.

Бёррис фон Мюнхгаузен посещал монастырскую школу иезуитов, затем учился в университетах Гейдельберга, Мюнхена, Геттингена и Берлина. Изучал юриспруденцию, философию, литературу. В 1899 году защитил диссертацию, стал доктором права. Но точные формулы правовой науки мало интересовали молодого барона. Его настоящей страстью была поэзия.

На рубеже XIX и XX веков Бёррис фон Мюнхгаузен основал Геттингенский поэтический кружок. Его участниками стали молодые талантливые поэты Агнес Мигель и Лулу фон Штраус унд Торней. Они исповедовали идеи северогерманского неоромантизма, проявляя особый интерес к метафизике народного исторического бытия. Этим объяснялась их приверженность жанру баллады на средневековые темы. В 1901 году Бёррис фон Мюнхгаузен издал первый сборник своих баллад. Следом увидели свет «Книга рыцарских песен» (1903) и книга «Сердце под кольчугой» (1911). Эти издания создали ему славу воскресителя подлинной немецкой баллады.

Во время Первой мировой войны поэт, будучи офицером гвардейского кавалерийского полка, сражался на фронте. Поражение Германии переживал как личное несчастье. После войны всецело отдался литературе. В 1924 году к своему полувековому юбилею опубликовал итоговую «Книгу баллад». Творчество Мюнхгаузена было оценено по достоинству — его избрали президентом Германской академии поэзии.

В тридцатые годы поэт отошел от активной литературной деятельности. Жил в своем замке неподалеку от Дрездена. В конце 1944 года умерла его жена Анна. Семидесятилетний поэт остался в полном одиночестве. Изредка его навещали друзья, которых он потчевал последними припасами. И, прощаясь, говорил: «Если мне дела не понравятся, я тут же уйду к Анне». В феврале 1945 года американская воздушная армада нанесла страшный бомбовый удар по Дрездену. Погибло 135 тысяч мирных жителей. Многие, покинув горящий город, нашли приют в замке Мюнхгаузена. Эта трагедия потрясла старого поэта, и 16 марта 1945 года он покончил жизнь самоубийством.

В историю литературы Бёррис фон Мюнхгаузен вошел как автор замечательных баллад, повествующих о рыцарской доблести, верности и нежной любви. Однако на русский язык они до недавнего времени не переводились. Сегодня на страницах нашего журнала публикуются стихотворения выдающегося немецкого романтика Бёрриса фон Мюнхгаузена.

Римский возница

Везерские горы под снегом,
Под снегом родная земля…
Скрипя деревянным ковчегом,
Возница встречает меня.

Дворцы удивительных зодчих
Встают из холодной реки.
Смежаю печальные очи,
Сжимаю руками виски.

И вижу сквозь белую вьюгу
Мой буковый лес наяву,
Где бродит олень по яругу,
Все ищет под снегом траву.

И дети мужают в деревне,
Где вьюга гуляет одна,
И женщины с благостью древней
Прядут зимний лен у окна.

И слышится римскому краю
Дыханье еловых ветвей…
Мой меч посвящен государю,
А сердце — Отчизне моей.

Старый рыцарь

«Угасает мой род. Я — последний в роду.
Золотая листва опадает в саду,
И дыханье зимы уже слышится мне.
Я — последний в роду и последний в стране.

Помню, пылкая страсть уносила меня:
Я держался за гриву лихого коня.
Но другая, увы, наступила пора,
И теперь меня держит за гриву хандра.

На последнюю встречу в мой каменный дом,
Возведенный над древним Везерским холмом,
Собралась вся моя записная родня —
Проводить в одинокую вечность меня.

Я был рад раздарить напоследок добро:
Кому — тучные нивы, кому — серебро,
И мужам благородным напомнить наказ:
Вековые законы священны для нас!

И копье мне вручили мужи, а затем
Нахлобучили сверху заржавленный шлем,
Повели попрощаться к воротам стальным:
Как бродяга, я встал перед домом родным.

И стоял я на пыльной дороге один,
Сам себе человек, сам себе господин,
И, как гостя, меня пригласили в мой дом,
И наполнили кубок кипящим вином.

Я сказал: пью за доблесть в смертельном бою,
За святые могилы в родимом краю
И за ветхое древо с последним листом,
Что теперь опадает в саду золотом».
…………………………………………..

Старый рыцарь умолк, и с глухою тоской
Посмотрел на туманный рассвет над рекой,
И навеки смежил перед миром глаза,
И сорвавшийся лист отлетел в небеса.

И тотчас над притихшим Везерским холмом
Разразился прощальный серебряный гром:
Застонали, заплакали колокола,
Развевая печаль от села до села.

А когда растворился туман на заре,
Раздались песнопения в монастыре,
И возвысилась к небу вся святость земли,
Ибо прочные камни в основу легли.

На дворе спозаранку седлали коней,
Расставались мужи до рождественских дней
И скакали домой по туманной меже…
Только наш старый рыцарь был дома уже.

Сага о кожаных штанах

Этот царский олень жил бы тысячу лет,
Но его подстрелил на охоте мой дед.
Его кожа была и толста, и крепка —
Можно сшить превосходную вещь на века.
Долго дед над оленьею шкурой мудрил,
Наконец он штаны из нее смастерил,
Потому что идут за годами года,
А штаны остаются штанами всегда.

Это дивные были штаны, и мой дед
Их носил, не снимая, почти тридцать лет,
А когда по наследству отцу перешли,
То стоять без труда уже сами могли.
Задубев на морозе, они вечерком
Перед жарким камином стояли колом.
От колючих метелиц, от хлестких дождей
Становились штаны лишь прочней и прочней.

Вот родителю стукнуло за шестьдесят.
Он решил починить свой любимый наряд.

Оказалось, что кожа все так же крепка,
Только пуговицы поистерлись слегка,
Как зубцы шестеренок в старинных часах.
И отец гарнитур поменял на штанах.

Не вернуться веселым денькам никогда:
Очертела отцу верховая езда,
Да и правду сказать, сумасшедший галоп
Разутешит едва ли почтенных особ.
Над подарком недолго раздумывал я:
Очутились штаны на заду у меня.

Был приказ воевать в кавалерии мне,
И штаны в тот же час подскочили в цене.
Во спасенье не раз на баталиях им
Приходилось сливаться с моим вороным,
А потом на просушке они вечерком
Перед жарким камином стояли колом.

В тех местах, где я рос и мужал на глазах,
Сохранился от деда рассказ о штанах,
Что когда-то весенней цветущей порой
Отливали они изумрудной волной.
Но позднее отец подмечал между строк
Сероватый оттенок, мышиный намек.
А сегодня штаны эти выглядят так,
Как чуть-чуть побуревший турецкий табак.

Что ж, меняя хозяев, штаны каждый раз
Обретали внезапно и новый окрас.
И, как знать, не придется ли им покраснеть,
Если кто-нибудь вновь пожелает надеть,
Потому что идут за годами года,
А штаны остаются штанами всегда.
Сквозь далекую дымку все чудится мне:
Старший сын поутру скачет в них на коне.

Пусть он носит штаны круглый год напролет,
Ни в дожди, ни в метелицу не бережет.
Их дубленая кожа, как прежде, крепка,
Только пуговицы поистерлись слегка.
По примеру отца пусть мой сын дорогой
Гарнитур поменяет на них роговой.

Если будут штаны так и дальше служить,
Если будет штаны честолюбец носить,
Если будут штаны так же ездить верхом,
Если будут стоять так же сами колом, —
Мальчик мой, пусть идут за годами года,
Но не сносятся эти штаны никогда.

Кинжал

«Лежать на старинном диване
И брать безрассудно взаймы
Издревле привыкли дворяне —
Иные, но только не мы!

Рассвет начинается мерно,
Клубится над Рейном туман.
Знамена несут из Гельдерна,
Стучит вербовщик в барабан.

Но что я возьму для похода
Из милых отцовских пенат?
С мечом знаменитого рода
Мой старший сражается брат.

Судьба так щедра на расплату
И вместе с последним добром
Второму оставила брату
Родительский перстень с гербом.

Никто обо мне не заплачет,
Обычай дворянства такой:
Я младший из братьев, и значит,
Я должен стать верным слугой.

Я медленно шел через залу,
Мой шаг триумфально звучал.
И к верности, как к пьедесталу,
Я нес наш фамильный кинжал.

Его рукоятка светилась,
Клинок растекался огнем,
И надпись «Последняя милость»,
Как солнце, сияла на нем.

Куда-то — к рассвету, наверно, —
Помчался мой конь напролом.
Я графу служу из Гельдерна —
Плати, вербовщик, серебром!

Турниры, охоты, потехи,
Война за земной передел.
Мои не ржавели доспехи
И меч никогда не ржавел.

А пир продолжался без края
И с песнею мчался обоз,
И пенилась кровь голубая,
И с кровью мешалась из лоз.

Когда же мой граф отправлялся
На небо в заоблачный плен,

То сыну служить я поклялся
Без страхов, упреков, измен.

Но длилась недолго разлука,
И сын за отцом поспешил.
Так стал я наставником внука
И преданно внуку служил.

Его научил я, как надо
Владеть и мечом, и щитом.
При нем был булат, было злато,
И женщины были при нем.

Он землю, как рыцарь, покинул
И доблестный меч до небес,
Как будто распятие, вскинул,
Целуя холодный эфес.

Псалтырь я прочел над могилой,
О милости Божьей моля.
Отныне сие говорило:
Голубчик, гуляй от рубля!

Куда-то — к закату, наверно, —
Побрел мой коняга... Увы,
Я графам служил из Гельдерна,
Теперь эти графы мертвы.

И в каждой усадьбе богатой
Я слышал надменный ответ:
Ты был слишком верным когда-то,
А стал слишком старым, ландскнехт!

Никто обо мне не заплачет,
Обычай дворянства такой:
Я младший из братьев, и значит,
Я должен погибнуть слугой.

Людей милосердие бесит.
Жестокость — печальная быль.
Никто поводок не повесит
На старый засохший горбыль.

Кому состраданье под силу,
Когда оборванец с клюкой
Под окнами роет могилу
Себе же своею рукой!»
………………………………
И кровь по кинжалу струилась,
Стекая на землю ручьем,
И надпись «Последняя милость»,
Как солнце, погасла на нем.

Паж

Я — паж и за шлейфом хожу день-деньской,
Служу королеве бургундской.
Сегодня она говорила со мной
На мраморной лестнице узкой:

«Поведай, так трепетно ты почему
Касаешься шлейфа губами?
Мне кажется, паж, ты целуешь кайму,
Усыпанную жемчугами!»

Я пал перед ней на колени, моля:
«Прошу не наказывать строго!»
В ответ госпожа усмехнулась моя,
Поправила локон немного:

«Ты видишь, как сокол перчатку когтит?
Как топчется лошадь на месте?
Одно наказанье тебе предстоит:
Со мной поохотиться вместе».

И мы понеслись — так, что ветер отстал
И знатная свита отстала.
Мой конь вороной подо мною плясал
И шпага на ленте плясала.

Где высится дуб, опаленный огнем,
И ельник разлапистый слева,
Оставшись вдвоем на лугу голубом,
Призналась моя королева:

«Сегодня мне руку свою предложил
Кастильский властитель надменный.
От замков ключи он к ногам положил,
А рядом — свой герб драгоценный.

Горит на гербе серебро и топаз,
Сияют ключи среди ночи…
Твой смех серебристее в тысячу раз,
Лучистее юные очи».

Я — паж и за шлейфом хожу день-деньской,
Служу королеве по чести.
Ловлю налету поцелуй неземной,
Когда мы охотимся вместе.

А если, возможно, хотите узнать,
Что было потом на свиданьях,
То я ничего не смогу вам сказать,
Затем что молчу при лобзаньях.

Песня ландскнехта

Танцует лигурийский конь под барабанный бой,
Когда по пыльной мостовой мы тащимся с тобой —
Один в рубцах, в бинтах другой — идем из боя в бой.
Никак нельзя, братишка мой,
Скакать на взмыленном коне под барабанный бой.

Едва ли для тебя секрет, что мы обречены,
Поскольку бродим тридцать лет дорогами войны.
В пути состарится ландскнехт, и вот уже близки
Его последние деньки:
Никак нельзя бродить весь век дорогами войны.

Отбарабанил барабан в неведомом краю.
Моя ничтожная судьба похожа на твою:
Она от крови солона, что пролита в бою.
Братишка, руку дай свою:
Чтоб мирно спали на земле, я под землею сплю.

Ландскнехты в раю

На небе во дворце старинном
Сидят они перед камином,
Ландскнехты отгремевших битв.
Далёко от седых пророков
Сидят они, не зная сроков,
Талдыча тысячи молитв.

В подсумке флягу жестяную
Порой пошарят, но впустую:
Нет выпивки в святой глуши.
Лишь ангел, заглянувший кстати,
Подаст стаканчик благодати —
Отраду праведной души.

А кто захочет побраниться:
«Черт побери муштру и смерть!»,
Уста не смогут оскверниться,
Но смогут аллилуйю спеть.
Тут даже раненый рейтар
Улыбку выдавит сквозь жар,
Тряхнет ошметком бороды
И сплюнет в сторону звезды.

В раю блаженство — это так,
Но как немного здесь вояк!
Ведь остальные капитаны,
Полковники и капелланы
Сидят внизу, горят в аду,
Плюются на сковороду.

Вот слышат братья по оружью,
Как прорывается наружу
Откуда-то призывный шум:
Турум-тум-тум, турум-тум-тум.

Тогда по облакам чудесным
Они спешат к вратам небесным
И обращают слух к земле.
Там барабаны бьют под стягом,
Идут друзья железным шагом
И трубачи трубят во мгле.
Скрипят телеги, латы блещут,
Знамена на ветру трепещут,
Горят деревни, вьется дым,
К вратам вздымаясь неземным.

Вдыхая горький дым и плача,
Они глядят на жаркий бой:
Кому достанется удача
И кто останется живой?

Придет апостол и солдат
Прогонит от небесных врат.
И снова во дворце старинном
Сидят они перед камином,
Молчат, раздражены и грубы,
Лишь прорывается сквозь зубы
Глухой мотив, призывный шум:
Турум-тум-тум, турум-тум-тум.

Барабан Жижки

В далекой Богемии — там, там —
Стучат барабаны: татам, татам.
Стучат неспроста, стучат в ворота
Гуситы — крестьянская сволота.
Стучат сердца, тревожно стучат,
Кричат уста, истошно кричат:
«За Господа Иисуса Христа!»

Гремят барабаны, гремят семь лет:
Ни сна, ни покоя в Богемии нет.
Все руки в округе, что сеют и жнут,
Дробь барабана как знамя несут.
Что толку овес допоздна собирать,
Когда можно лучшую долю избрать:
Пора с крестоносцев шкуру сдирать!
Есть колос в полях — патронташ боевой,
А меч — это серп для страды полевой,
И колокол жатвы гремит в вышине:
Сегодня железный порядок в цене!
……………………………………

Говорит Жижка:
«Великий герой — жестокий герой,
Тень Бога на нашей земле дорогой.
Его роковой ореол для страны
Куда величавей звезды сатаны,
О ком молва непрестанно твердит.
Он бьется за Бога, за Слово стоит
В самую кровавую круговерть.
Но есть у победы сестра — это смерть.
Он шлет на ужасную гибель солдат,
Не зная ни жалости, ни утрат».

Сиял ореол над седой головой,
Когда наступил его час роковой,
И сердце его трепетало слегка,
Как полог палатки от ветерка.
Когда зазвучал походный рожок,
Он молвил друзьям: «Приближается срок!
Как только возьмет мою душу Господь,
Моя зарокочет ослепшая плоть —
Прошу мою кожу в дубильне распнуть,
Потом на пустой барабан натянуть,
И палочки будут на ней танцевать,
И будут в последний поход призывать
Мою лихую гуситскую рать:
— Пора с крестоносцев шкуру сдирать!
И колокол вновь загремит в вышине:
— Сегодня железный порядок в цене!
И голос раздастся, исполненный гроз:
— Сегодня желает сражаться Христос!»

И каждый рассвет, и каждый закат
Фрисландские ветры разносят набат
По склонам крутым, по зеленым полям,
Далеко, далеко по синим морям.
……………………………………

Они развели костерок небольшой
Под небом чужим, на границе чужой,
Легли у огня на краю тишины —
Печальны, разгромлены, смятены.
Они потеряли знамя в бою,
В бою потеряли славу свою,
Свой путь потеряли в зыбких песках,
И лишь барабан остался в руках!

Поет под брошенным шлемом песок.
Взметнувшись, искра замирает у ног.
Смеркается. Дождь обложной моросит.
Рассказывает бывалый гусит:
«А наш барабан — не пустозвон,
Он исповедует высший закон:
Он даже мертвый поднимется в бой
И всех солдат поведет за собой.
Шестнадцать лет я шагаю за ним —
Неужто не верите басням моим?

Тревога ему протрубила поход,
И нет у солдата прочих забот.
Ему ни любовь, ни чертог не нужны.
Он может шагать лишь дорогой войны.
Поэтому он и в могиле не спит,
Что слышит, как праведный бой кипит,
А там, наверху, позабыли о нем...
Он хочет с нами лежать под огнем
И дождь над палаткою слышать во сне,
И крик часового в ночной тишине,
И конницы гром на мосту разводном…»

Они потеснее сбились в кружок.
Они позабылись тревожным сном.
Холодный ночной ветерок
Барабан засыпает песком.
…………………………………………
Мечты согревают и ночью, и днем.

Набег

Темное небо, ветер шальной,
Дикая пустошь, ливень стеной,
Зарево, словно деревня горит,
Сумрачный отблеск в болоте дрожит.

И вдруг из-под неба клокочущий вой,
Как будто внезапный порыв штормовой.
Колеблется твердь и трепещет, когда
Все ближе и ближе несется орда.

О, гуннов веселые крики во мгле!
Грохочут копыта по зыбкой земле,
И брызжет с налету болотная грязь
К седельной луке, на точеную вязь.

О, буйный набег в озаренных ночах!
Железные бляхи звенят на плечах.
К растрепанным гривам прильнули гонцы,
Сжимает кулак верховые уздцы.

Летят напролом под холодным дождем
Кто ведать не ведает, где его дом,
Кто с детства считает седло на гнедом
Своей колыбелью и смертным одром.

Последний наездник во мраке исчез.
Растоптана, выбита пустошь окрест.
Лишь ветер давай хохотать и свистеть,
Как будто гуляет по заводям плеть.

Темное небо, ветер шальной,
Дикая пустошь, ливень стеной,
Зарево, словно деревня горит,
И мутный отблеск в болоте дрожит.

Колокол

Колокол нынче гремит перед бурею,
Нынче на улице ливень стеной,
Но через эти предвестия хмурые
Слышится издали голос иной.

Вынутый из деревянного ящика,
К небу охотничий рог вострубит,
Будто застонет душа и расплачется:
«Бог да простит тебя, Бог да простит!»

Бог да простит тебя, белое рыцарство!
Крепко бунтует у нас мужичок,
И силой темною, силой корыстною
Будет ославлен твой щит и значок.

Рыцарский замок сияет за облаком,
Но с топорами сюда подойдут.
Старый кузнец поработает молотом —
И вековые врата упадут.

Вознаградят оплеухой хозяина
И между ребер лопатой его.
Доблестный меч все же в ножнах останется —
Рыцарь не станет клеймить никого.

Черное пламя под сводами рыскает,
Рушатся стены, растоптан значок.
Бог да простит тебя, белое рыцарство!
Крепко бунтует у нас мужичок.

Предисловие и перевод с немецкого
Евгения ЛУКИНА.



ИГОРЬ КОТЛЯРОВ,
директор Института социологии НАН Беларуси,
доктор социологических наук, профессор

Народная память о Великой Победе в Великой войне: социологические тренды

Мой отец, будучи совсем юным, встретил Великую Отечественную войну в форме пограничника 22 июня 1941 года в четыре утра на границе под Перемышлем. На него, молодого человека, и его однополчан фашистские самолеты обрушили тонны бомб. Он до последнего патрона защищал свою Родину — Советский Союз и весь мир от коричневой чумы. После Великой Победы он неоднократно с гордостью говорил: «Мы победили фашизм». Да, действительно, старшее поколение победило коричневую чуму, а их дети и внуки не смогли защитить и развить эту победу.

Сегодня наступило время Брейвиков, и фашизм наступает по всем фронтам. Он уже не угроза и не химера, он уже во дворе и способен пройти «по главной улице с оркестром», с криками «зиг хайль», под знаменами Степана Бандеры и Романа Шухевича. Фашизм шествует в идеологическом, политическом, физическом, ментальном и духовном смыслах. Современные неандертальцы, считающие себя интеллектуалами и интеллигентами, свиньей, как «псы-рыцари» на Чудском озере, лезущие в Европу, с диким восторгом, с сияющими и самодовольными лицами крушат памятники Ленину, отгрызая куски от поверженного Ильича на сувениры. В центре Европы на глазах восторженной толпы заживо жгут стариков и детей. «О, святая простота», — говорил Ян Гус старушке, подкладывающей вязанку хвороста в костер, на котором горел мыслитель. И те, кто сегодня не замечает возрождения фашизма, готовят вязанки хвороста, заточенные штыри, «коктейли Молотова» для себя и своих семей, родных и близких.

Это страшные симптомы. При подобном векторе развития событий могут возникнуть сомнения, назовут ли современные дети Великую для всех Победу выдающимся событием прошедшего столетия? А может быть, вырастут поколения белорусов, из сознания которых будут вычеркнуты годы войны, названной их предками Народной и Священной? Недаром многих ветеранов Великой Отечественной войны мучает вопрос: кто придет к ним на смену, кто примет наследие Великой Победы?

В этом году весь мир отметит 70-летие Великой Победы Великого народа в Отечественной войне, Победы в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества, унесшей огромное количество человеческих жизней и на века сделавшей бессмертным Союз Советских Социалистических Республик — главного победителя «коричневой чумы». В прошлом году 70-летний юбилей освобождения Беларуси отметили жители нашей страны. Каждый гражданин белорусского государства, в душе которого не угасло чувство гордости за свою Отчизну и величие подвига советского народа, снова и снова размышлял о величии Победы, старался более глубоко уяснить сущность самого грандиозного события прошлого столетия. Как оказалось, для подавляющего большинства соотечественников это событие ценно и важно. Оно не ушло из активного пласта человеческой памяти, не было вытеснено другими, более мелкими историческими явлениями.

Уже многие поколения родились и выросли после Великой Отечественной войны, на фронтах которой сражались и погибали за свободу и независимость миллионы советских солдат. В огне пали жертвой и многие мирные жители. Было бы непростительно лишать подрастающее поколение исторической памяти о героическом подвиге советского народа, спасшего не только свое Отечество, но и всю Европу от коричневой чумы, о советском солдате, вбившем осиновый кол в сердце фашизма.

Чем дальше отдаляемся мы от тревожного и героического военного времени, тем величественнее становится бессмертие подвига наших защитников. Время бессильно уничтожить человеческую память о мужестве советского народа, о славе тех, кто положил голову на алтарь истории. Все дальше вглубь веков уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны, но живут в памяти большинства людей имена тех, кто ценой своей жизни отстоял честь, свободу и независимость Родины. Дети, юноши и девушки, изучая историю народа, получают возможность гордиться Отчизной, своими предками, их делами и подвигами. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — отмечал А. С. Пушкин. «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — утверждал великий поэт. Очень важно всегда помнить героев прошедшей войны, сделать так, чтобы белорусская земля никогда не страдала от боли, чтобы ее сыновья не умирали с оружием в руках, чтобы по улицам белорусских городов не ходили, как в Киеве или Львове, молодчики с бандеровскими стягами в руках.

Незадолго до Второй мировой войны итальянский революционер Антонио Грамши писал из фашистской тюрьмы: «Старый мир умирает, и мир новый борется за собственное рождение — наступает время чудовищ». Остановить чудовище могут только люди, много людей, тогда и никакой Брейвик не страшен. Для эффективной борьбы с фашизмом, со всеми чудовищными явлениями важно знать мнение людей, их желания, стремления, чувства. Каковы они сегодня?

На этот вопрос может ответить прежде всего социология. В этих условиях особенно важны результаты социологических исследований, проведенных Институтом социологии НАН Беларуси в прошлом году. Ученые изучили отношения белорусов к Великой Отечественной войне, к Победе над фашистской Германией. Выборочная совокупность опрошенных представителей различных социальных групп и регионов республики репрезентативна, что позволяет считать результаты социологических исследований достоверными, отражающими общественное мнение и оценочные суждения жителей Беларуси.

Великая Отечественная война и Великая Победа вобрали в себя 1418 дней и ночей, миллионы унесенных жизней, страдания и надежды, ненависть и героизм, страх и горе, счастье и торжество, гордость и радость со слезами на глазах. Социологи выясняли, помнят ли жители Беларуси эти годы, эти события, чтят ли тех, кто героически сражался за будущее Родины. Историю как прошедшую социальную реальность, события и процессы прошлой жизни нельзя изменить или поправить, но их можно забыть и потом жалеть об этом. Память о войне — это память о наших предках, их жизни и подвигах, героизме на фронте и в тылу, партизанских отрядах и подполье, любви и ненависти. Война против исторической памяти о Великой Отечественной войне — это не просто диверсия против отцов и дедов, бабушек и матерей. Это и удар по будущему каждой семьи и Отчизны в целом.

Солдаты Великой Отечественной — это простые и в то же время великие люди. Это школьные учителя, как мои отец и мать, это колхозники, как моя бабушка, безусые студенты и маститые профессора, сыновья гор и полей, степей и лесов. Они любили Отчизну, советскую Родину, и не щадя собственной жизни, сражались за нее, воевали за отчий дом, «за родной огонек», за своих близких и любимых. Их защита, победа в праведной битве стоила того, чтобы платить

за нее столь высокую цену. Наш святой долг преклоняться перед теми, кто победил, помнить тех, кто не пришел с войны.

Результаты социологических исследований показали, что подвиги ветеранов не забыты. Ветеранов помнят и знают! Их любят, ими гордятся! Что очень важно, по именам называют своих дедов и прадедов, а также бабушек и их сестер — участников Великой Отечественной войны, знают, где они воевали, где положили головы, поклоняются им, бережно хранят пожелтевшие фотографии. «Портреты ветеранов на стене — это не шаг в прошлое, как утверждают некоторые, это дверь в будущее», — убеждена старшеклассница из небольшого белорусского городка. И эта девушка не предаст своих стариков, не продаст свою Родину.

Социологические исследования показали, что Великая Отечественная война — это единственное историческое событие, которое в значительной степени объединяет население нашей страны, России и бывших союзных республик, которое подавляющее большинство людей оценивают как выдающийся период истории, как событие, которое демонстрирует дух, мужество и характер великого советского народа.

88,7 % жителей страны убеждены, что победа в Великой Отечественной войне — это важнейшее событие в истории Беларуси, Великая победа отцов и дедов, героический подвиг всего советского народа, величайший взлет человеческого духа, духовности и патриотизма. Пройдя через сложнейшие испытания, народ осознал самого себя, меру силы и воли к жизни, осознал свою роль в собственной и мировой истории. Следует подчеркнуть, что практически все социальные группы, все возрасты белорусского общества примерно одинаково воспринимают важность и значение Великой Победы. «Если бы не было Великой Победы в Великой войне, и нашей страны, и нас самих тоже не было бы, это надо знать и понимать каждому жителю Беларуси», — подчеркивал 20-летний студент. Представитель куда более старшего поколения убежден, что «надо знать уроки истории, чтобы ничего подобного не повторилось впредь». 90 % белорусских юношей и девушек в возрасте до 30 лет считают победу в Великой Отечественной войне важнейшим событием в истории белорусского народа. Несколько критичнее отношение к Великой Победе у тех поколений, которые сформировались во время перестройки и первые годы национальной независимости. И все же следует отметить, что белорусские показатели «исторической памяти» значительно выше, чем у российских друзей и коллег.

Белорусский народ оценивает Великую Отечественную войну как символ мужества советского народа, а ее итоги и последствия — как знаковые для Родины. Война против фашизма была самой тяжелой из всех войн в истории Отечества. Она стала суровым испытанием жизнеспособности Советского Союза, Великой Отечественной войной советского народа за свободу и независимость. Именно — Великой и именно — Отечественной. И что бы кто ни говорил, она была народной, справедливой и священной. Историческая память о Великой Отечественной войне, победе над нацизмом стала системообразующим, основополагающим элементом духовного сознания белорусского народа, фактором его сплочения и мобилизации на преодоление имеющихся проблем, на решение стоящих перед белорусским обществом экономических, социальных и политических задач.

Перед государством, общественно-политическими структурами стоит сложная задача — сохранить эту память у молодого поколения на долгие годы, постоянно формировать ее у подрастающих юношей и девушек. Забывая подвиги своих предков, человек теряет тот ценностный стержень, уникальный патриотический дух, который чтим и уважаем во всем мире. До тех пор, пока будет жить человеческая память о Великой Отечественной войне, День Победы будет одним из самых великих и почитаемых праздников белорусского народа, а мальчики и девочки, юноши и девушки будут стремиться продолжать дело своих отцов. Кроме того, как считают многие респонденты, праздник Великой Победы явля-

ется важнейшим фактором консолидации народов многих государств, проявляющих благодарность и признательность Советскому Союзу, советскому народу, выполнившим Великую освободительную миссию. Об этом говорят и многочисленные интервью гостей Беларуси в дни всенародных торжеств.

На вопрос «С чем из нижеперечисленного в первую очередь у Вас ассоциируется участие Беларуси и белорусского народа в Великой Отечественной войне?» более половины жителей страны заявили: это освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Среди других ответов респонденты выбрали — массовое партизанское движение, защиту Брестской крепости, Минское подполье и т. д.

Социологи спрашивали: «Какие чувства Вы испытываете в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков?» Более двух третей жителей страны испытывали чувство огромной благодарности к участникам войны, спасшим страну от порабощения, чувство гордости за Великую страну, победившую фашизм. Многие респонденты отмечали, что они испытывают чувство патриотизма и огромной любви к своей Родине.

В основе исторической памяти о Великой Отечественной войне лежат знания о ней. Три четверти граждан Республики Беларусь в целом удовлетворены тем, как в нашей стране освещаются военные события, как и в каком количестве люди получают знания о них. Однако это несколько меньше, чем пять лет назад.

Респонденты называли литературу одним из важнейших источников знаний о Великой Отечественной войне. Книга у старших поколений всегда была окном в мир и настоящим другом, спутником в свободное время. Будучи школьниками, они любили читать, что показывает большое разнообразие любимых книг о войне, написанных десятки лет назад. Наиболее любимыми книгами старших поколений являются «Живые и мертвые» Константина Симонова и «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Они сражались за Родину» и «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Блокада» и «Победа» Александра Чаковского, «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова и «Горячий снег» Юрия Бондарева, «А зори здесь тихие» Бориса Васильева и «Реквием каравану PQ-17» Валентина Пикуля, «Звезда» Эммануила Казакевича и «Дорогой мой человек» Юрия Германа. Гораздо меньше любимых книг о войне у младших поколений.

Важную роль в формировании знаний о войне и оценки военных событий играет кино. Половина населения страны получают такую информацию. Есть фильмы, любовь к которым объединяет все поколения и не ослабевает годами. Среди них — «В бой идут одни старики» и «Летят журавли», «А зори здесь тихие» и «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и «Освобождение», «Офицеры» и «Белорусский вокзал».

В то же время у белорусских респондентов есть существенные претензии к национальной литературе и кинематографу. За последние двадцать лет, как они утверждают, в Беларуси не написано ни одного романа о Великой Отечественной войне, который будут читать, которым будут гордиться будущие поколения. Подавляющее большинство молодых респондентов вообще не читало ни одной книги о войне, написанной в независимой Беларуси, не назвали ни одной фамилии современных белорусских писателей. Имея великолепные традиции (многие поколения воспитывались на фильмах «Константин Заслонов» или «Дзяўчынка шукае бацьку», а киностудия «Беларусьфильм» еще совсем недавно называлась в народе «Партизанфильм»), белорусские кинематографисты в последние годы так и не создали национальных шедевров типа «Летят журавли» или «А зори здесь тихие».

43,6 % жителей Беларуси получают сведения о войне из средств массовой информации. Пять лет назад их было — 60,8 %. Телевидение и радио, газеты и журналы снизили свою активность и результативность, причем значительно.

Телевидение постоянно критикуют, и совершено справедливо. Самая большая претензия респондентов — отсутствие чувства нормы и вкуса при освещении военных событий. Часто какому-то не очень важному событию, вполне вероятно, родившемуся в головах авторов передач, придается глобальное значение, оскорбляющее историческую память о Великой войне. Как результат, по нашему телевидению постоянно кочуют с канала на канал, по мнению ветеранов, нравственно вредные фильмы, с откровенной клеветой на защитников Родины, плохо прикрытой ложью о войне. Среди них респонденты называли «Штрафбат» и «Полумгла», «Сволочи» и «Сталинград», «Иди и смотри» и, к сожалению, многие другие.

Важную роль в формирования исторического сознания, сохранения и поддержания, укрепления и обогащения исторической памяти играют ветераны Великой Отечественной войны. Пятая часть респондентов получают информацию из личных бесед с ними. И хотя ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, активность их продолжает оставаться достаточно высокой. Это очень важно для подрастающего поколения. Сегодня подростки целыми днями резвятся в Глобальной сети. Они ищут в виртуальном мире общение, которого так не хватает им в реальном мире, ищут сверхъестественное и героическое. И вдруг к юношам и девушкам приходит старик-ветеран и становится им намного дороже и понятнее, чем сотня неодушевленных доменов. Именно этот старик в таком же возрасте, как они, смог с гранатами на Буйничском поле под Могилевом броситься под фашистский танк и остановить его. Я всю жизнь себя спрашивал: мог ли я, как мои мать и отец, с таким же мужеством и человеческим достоинством пройти фронтами Великой Отечественной войны? И не находил ответа на этот вопрос, но всю жизнь, пока были живы мои старики, учился у них жить и сражаться, любить жизнь и Родину. Так и многие современные юноши и девушки. Они умные, образованные, грамотные молодые люди, но у многих из них отсутствует тот стержень, который имеется у ветеранов Великой Отечественной войны, который помог им победить и который можно целенаправленно формировать у молодых поколений.

Каждый четвертый респондент получает информацию о Великой Отечественной войне через систему образования. Как утверждает социальная реальность, фундамент исторической памяти закладывается именно в учебных заведениях. Здесь учащиеся и студенты получают в большей или меньшей степени систематизированные знания по отечественной истории, в том числе и по истории Великой Отечественной войны. История как наука, оперирующая конкретными историческими материалами и опирающаяся на конкретные факты, не может служить моде, вкусовщине, произвольному выбору того или иного политика. Это относится, прежде всего, к истории Великой Отечественной войны. Респонденты отмечали, что в структурах белорусского образования всегда были хорошие учебники по истории. Эти учебники утверждали, показывали, доказывали, что советский народ — народ-победитель. Это рождало гордость за свою страну, свой народ и свою армию. Огромную гордость и радость приносили школьные музеи. Сегодня, как утверждают многие эксперты, интерес к школьным музеям воинской славы у чиновников и руководителей учреждений образования резко снизился. Есть определенные претензии и к учителям. Школьный учитель должен быть всегда бойцом в вечной войне за души детей. И он должен быть в этой борьбе честным и порядочным, умным и справедливым. Он не имеет права лгать и кривить душой. Если солгал один раз, то тебе уже никто никогда не поверит. Особенно дети. Особенно тогда, когда это касается самого ценного и вечного — памяти о судьбе своих предков, погибших за честь и достоинство Родины.

Совсем мало респондентов отмечали лекции как важный и нужный источник новых знаний о Великой Отечественной войне. Действительно, сегодня все чаще и чаще говорят об Интернете, глобальной сети, электронных средствах массовой информации. Но, как ни парадоксально, в век информационного общества одна

простая лекция способна заменить сотни телевизоров, тысячи компьютеров. Людям нужно живое слово, умное общение, живой разговор. Лет двадцать назад это делали, причем на высоком уровне, простые лекторы общества «Знание». Общество «Знание» должно усилить свою деятельность по донесению правды о Великой Отечественной войне до широких народных масс, особенно в сложнейших современных международных условиях.

Представляет особый интерес еще один канал, через который постоянно передавалась и передается «живая», событийная историческая память о Великой Победе — рассказы родителей, старших родственников и знакомых. Когда мой отец рассказывал о том, как молодые пограничники в первый день войны отбивали атаки фашистов, как погибали героями, даже не думая об этом, мы, дети, слушали, открыв рот, впитывали все до последнего слова. Просили повторить вновь и вновь. Я до сих пор не могу понять, как моя бабушка, тонкая, маленькая и хрупкая женщина, она тогда еще не была моей бабушкой, могла пройти 60 километров с мешком соли для партизан. А как мать еще с двумя партизанами постоянно ходила взрывать эшелоны. Они, дорогие мне люди, были простыми учителями, колхозниками, а стали солдатами и победили. И это были не киношные или книжные герои, а те, кто был со мной рядом и на кого я хотел быть похожим. Потом, когда учился в институте, оказалось, что не только я храню в душе подвиги близких людей. Историческая память имеет свойство бледнеть, меркнуть, истончаться с годами, растворяться во времени. Уже давно нет в живых моих бабушки, папы, мамы, но их рассказы, их подвиги никогда не забуду. Они для меня живее всех живых.

В центре Минска возведено фундаментальное здание Музея Великой Отечественной войны. Музеи в целом являются важнейшими хранителями исторической памяти, оставаясь таковыми на протяжении всей истории человечества. Даже только хранение музейных экспонатов обеспечивает иллюстративное сохранение исторической памяти. А если здание музея является одним из самых красивых в городе, если оно строилось с душой, всем народом, если ветераны считали делом чести передать свои кровные сбережения на это строительство, если ему в многочисленные субботники своим трудом помогала вся страна. Экспонаты действительно народные, собраны народом, отражают его борьбу во время Великой войны. И сегодня вся страна, да и не только, идет в этот Храм памяти поклониться Великому подвигу. Идут ветераны, идут влюбленные парочки, в музей идут молодожены. Впереди мамы и папы бежит трех-четырехлетний мальчишка. Это дорогого стоит. У мальчишки впереди еще будет много музеев, но этот — Музей Великой Отечественной войны — он запомнит навсегда. Он, впервые прикоснувшись к подвигу, будет всю жизнь нести его в своей памяти и сделает все, чтобы, как семьдесят лет назад, по мирным деревням не били фашистские пушки.

Особое значение для решения данных проблем имеет дальнейшее развитие идеологии белорусского государства. Именно патриотизм является базовой идеей и ценностью белорусского общества. Его особенность заключается в том, что он является показателем высокой гражданственности, сопричастности судьбы каждого патриота с судьбой государства, стремлением во всех делах быть вместе с Отечеством и своим народом. Для государства и общества очень важно, станут ли такие понятия, как патриотизм и Родина, патриот и гражданин, Отчизна и чувство долга, в условиях постоянных и целенаправленных нападок на Беларусь значимыми, весомыми для подростков, или юноши и девушки будут цинично улыбаться и сплевывать сквозь зубы, смеяться и раздражаться при этих словах? Воспитание патриотических чувств сегодня является социальной потребностью и проблемой всего белорусского общества. Формирование патриотизма — это, прежде всего, сохранение памяти о Великой Победе, воспитание подрастающего поколения в традициях Победы. Известный австрийский исследователь Конрад Лоренц утверждал, что «радикальный отказ от отцовской культуры — даже если

он полностью оправдан, — может повлечь за собой гибельное последствие, сделав презревшего напутствие юношу жертвой самых бессовестных шарлатанов. Юноши, освободившиеся от традиций, обычно охотно прислушиваются к демагогам и воспринимают с полным доверием их косметически украшенные доктринерские формулы».

К сожалению, в последнее время работа по формированию патриотических качеств ведется не совсем системно. Людей, настроенных патриотически, понимающих важность и необходимость патриотического воспитания, в нашей стране достаточно много, но эта работа строго не структурирована. Как результат, воспитания в традициях Победы, такого, как было в советское время, сегодня нет. И чем дальше, тем меньше остается традиций, и молодежи, знающей эти традиции, с каждым годом становится все меньше. В условиях постоянных и целенаправленных идеологических диверсий, возрождения фашизма эта работа не должна быть формальной. Не должно быть мероприятий «для галочки» по субботам. Всем придется много поработать, чтобы уровень патриотизма нынешних юношей и девушек хотя бы приблизился к уровню тех мальчишек, которые, как поется в знаменитой песне, «собой заслонили страну».

В этой работе нет мелочей. Она не должна быть формальной. Необходим постоянный и системный поиск. Приведу только один, но очень интересный пример. Социологические исследования, проведенные нами, показали, что 95 процентов начинающих хоккеистов приходят в большой спорт для того, чтобы на чемпионатах мира, Олимпийских играх защищать честь своей Родины — Республики Беларусь, и практически не думают о долларах и евро. К 14—16 годам хоккеистов с такими ценностными ориентациями остается примерно половина. Но когда вырастают, некоторые заявляют, как, например, перед отборочными играми перед Сочинской Олимпиадой: сначала заплатите, потом играть будем. Президент страны поставил задачу формировать патриотические качества у молодых спортсменов, да и не только у них. Однако некоторые чиновники, даже высокопоставленные, утверждают, что это сделать нереально. Жизнь показывает, что это трудно, сложно, но при желании можно. Начинающий хоккеист два раза в день тренируется, еще к занятиям в школе готовится, у него нет больше времени чем-то другим заниматься. Он даже не знает, что в нашей стране есть Хатынь или «Линия Сталина». И если ему один раз в две недели или раз в месяц показать Беловежскую пущу и наши музеи — Великой Отечественной войны или краеведческий, организовать встречи с знаменитыми людьми, олимпийскими чемпионами, той же Дарьей Домрачевой или Александром Медведем, рассказать о героях Великой Отечественной войны, то этот подросток, стоящий на пороге большой жизни, увидит, почувствует, поймет, что он живет действительно в великой стране — Республике Беларусь, защищать ее — огромная честь, и стоит это дороже всяких долларов. Вспоминаю, как мальчик после такой целенаправленной работы в рамках социального эксперимента социологической диссертации с гордостью стал постоянно говорить «моя Беларусь», а не «эта страна».

Если бы концепция этой диссертационной работы была внедрена в спортивную жизнь страны несколько лет назад, белорусская национальная команда по хоккею на чемпионате мира могла бы быть в турнирной таблице значительно выше, чем на седьмом месте. Белорусские футбольные клубы «БАТЭ» и «Динамо» не проигрывали бы 0:7, 0:6, 0:5 своим соперникам. В нашей футбольной национальной сборной команде есть хорошие футболисты, но их личностных лидерских качеств и умений, усилий и возможностей явно не хватило, чтобы дома победить украинцев и словаков. Эффективной работы по воспитанию настоящих лидеров в командных видах спорта, формированию у них патриотических чувств в Беларуси, к сожалению, практически не ведется.

Необходимо особо подчеркнуть, что к историческим датам активно и целенаправленно готовятся различного рода «черные гробокопатели» и «падальщики» различных мастей, политтехнологи и рупоры их грязных идей — юродствующие

журналисты и писатели, разномастные специалисты по фальсификациям и обману. Они, не щадя памяти миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны воинов, тиражируют фальшивки, стремятся доказать, что не фашистская Германия была агрессором, а Советский Союз напал на Германию. Я, как и многие мои сверстники, с детских лет не верю этим бредням. Я вновь вспоминанию рассказы отца-пограничника. Это не он напал на мирных граждан. Это не он развязал войну, но до последнего патрона защищал свою Родину — Советский Союз и весь мир от коричневой чумы. И что бы ни говорили подленькие голоса, для меня отец всю жизнь олицетворял красоту, силу и мужественность, он был и остается Героем с большой буквы. Так и для многих жителей Беларуси, молодых и не очень, солдат Великой Отечественной — это Герой и Защитник, а не агрессор, июньской ночью напавший на спящих граждан.

В некоторых соседних государствах историю Великой Отечественной войны в прямом смысле этого слова пытаются стереть с лица Земли и из памяти человеческой. Правду о Великой войне убирают из школьных учебников, стирают из исторической памяти, обливают ее грязью. Что это? Умственный паралич или неконтролируемое сокращение желудка, стремящегося избавиться от накопившейся ядовитой желчи и вылить ее на головы честных и порядочных людей? Нынешние правители некоторых государств пытаются воспитать поколение гоблинов, сделать так, чтобы наркотики заменили им все: память и честь, любовь и порядочность, патриотизм и уважение к своим старикам. Слышать и видеть, читать и знать такое — очень горько, страшно и обидно. А ведь эти государства и их народы, как и все человечество, должны быть бесконечно благодарны Советскому Союзу, советскому народу, Красной Армии, партизанам и подпольщикам за ту безмерную жертву, которую они положили на алтарь Победы, за тот бессмертный подвиг, который они совершили. Великий Советский Союз спас человечество от мирового зла — фашизма, который грозил мировым господством и геноцидом многим народам. И с какой ненавистью нужно относиться ко всему человеческому, чтобы не видеть, не признавать этот факт.

Есть конкретные примеры стран, где забыли правду и пытаются переписать историю. Типичный пример — Украина. Растоптанная память породила Майдан, который сеет ненависть и зло, ярость и ложь, шантаж и насилие. Он разделил многих жителей Европы на тех, кто сражался и сражается за свободу и честь своей Отчизны, и тех, кто наносит ракетные удары из установок «Град» по школам и больницам, убивает детей и женщин, фотографирует себя на фоне заживо горевших стариков, разделил соседей по лестничной площадке, страны, нации и народы. Ненависть витает в воздухе, оседает в душах, возникает там, где никто не ожидал. Типичный пример — футбольный матч национальных сборных Украины и Беларуси, так и пылавший ненавистью, причем не футболистов, а приезжих болельщиков. Тот, кто топчет историю и сеет ненависть, обязательно когда-нибудь пожнет беду. Всходы из таких семян непредсказуемы, но долговечны. Ненависть к истории, человеческой памяти разрушает все и вся. Она не приносит людям ничего, кроме ответной ненависти.

Белорусское государство ответственно за сохранение памяти о войне с фашизмом. Очень важно на государственном уровне не предать ее забвению, передать героику тех лет новым поколениям, не втягивать их в дискуссии с сослагательным наклонением: вот если бы. Необходимо добиться, чтобы, несмотря на все жизненные проблемы, финансово-экономический кризис, все социальные обязательства перед ветеранами были полностью выполнены. Государство, политические партии и общественные объединения, трудовые, воинские и учебные коллективы, поисковые отряды и молодежные движения должны постоянно вести патриотическую работу. Нужно постоянно говорить, вспоминать, показывать (через памятники, книги, фильмы и другие произведения искусства) о войне и ее уроках, чтобы они никогда не забылись в череде событий и поколений. В школьных учебниках должна излагаться четкая, наступательная позиция, каса-

ющаяся истории Второй мировой войны. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне не должна подвергаться сомнению.

Каждый житель Беларуси должен внести свой посильный вклад в общее Великое Дело — сохранение исторической памяти народа. Он может и должен рассказать своим детям и внукам об их прадеде — участнике Великой Отечественной войны, организовать встречу с ветеранами в школе или сельском Доме культуры, провести урок мужества в учебном заведении, принести экспонаты в школьный музей и цветы к мемориалу, посадить дерево у могилы павшего воина, постоянно ухаживать за ней и другими братскими могилами павших героев.

Великая Отечественная война явилась для народов Советского Союза величайшей трагедией неизмеримого людского страдания, нечеловеческой жертвенности, но она была и вершиной невиданного ранее взлета человеческого духа, поразившего весь мир. Победа советского народа в Великой войне — воплощение мужества, стойкости характера, величия советского государства. Идеология Великой Победы — непререкаемая нравственная ценность.

Память о Великой Отечественной войне, о Победе, о Народе-Победителе священна. Никто не забыт, ничто не забыто — это не дежурный лозунг, это зов души каждого гражданина нашей страны. Так в белорусском обществе было всегда, так должно быть и завтра. Память о прошлом объединяет нас. Память о Великой Победе в Великой войне необходимо сохранить навсегда. Пока она жива, Республике Беларусь не страшны никакие кризисы и давление. Как показывают социологические исследования, жители Беларуси с этим полностью согласны и все делают, чтобы всегда было так. Но как сказал в свое время великий чехословацкий публицист Юлиус Фучик — «Люди, будьте бдительны!» Его «Репортаж с петлей на шее» должен быть напоминанием, предостережением для тех, кто забывает историю, пытается ее переписать, стереть народную память о своих героях.



Театр

ЗОЯ ЛЫСЕНКО

«Территория мюзикла»: труппа белорусская, авторы — российские

Сегодня в нашей стране насчитывается 27 разных по жанровым направлениям государственных театров, и только два из них — музыкальные: Национальный Большой театр оперы и балета и Белорусский музыкальный театр. Оба имеют звание «академический» и оба находятся в столице.

А что такое академический театр? Это большой высокопрофессиональный творческий коллектив, опирающийся в своей работе на устоявшиеся традиции и призванный в первую очередь блюсти законы своего жанра. Также это театр, требующий больших государственных вложений. Творческий и финансовый риск (в случае провального проекта) здесь неприемлем. Другими словами, академическая сцена — не место для поисков и экспериментов, даже в таком наиболее демократическом жанре, как мюзикл.

А ведь сегодня среди музыкально-сценических жанров именно мюзикл является наиболее динамично развивающимся и наиболее востребованным у широкой публики. И это не только американский мюзикл, являющийся своего рода эталоном жанра, но и современный российский, с которым хорошо знаком белорусский зритель. Более того, теперь уже можно говорить о появлении белорусского мюзикла, основоположником которого по праву считается наш композитор Владимир Кондрусевич. И до недавнего времени единственным местом, где ставились спектакли в этом жанре, являлся Белорусский государственный академический музыкальный театр.

Налицо был своеобразный дисбаланс: если среди большого количества драматических театров, имеющихся в республике, есть немало молодежных и экспериментальных, то такой альтернативы среди музыкальных театров, по существу, не было. Следовательно, рано или поздно она должна была появиться...

И появилась. Уже третий сезон в Минске функционирует частный музыкальный театр, а если точнее — творческое объединение «Территория мюзикла», имеющее в своем названии интригующий подзаголовок: «Театр Геннадия Гладкова». А все объясняется очень просто: репертуар этого молодого театра состоит из произведений Гладкова, а сам композитор является его идейным вдохновителем. Теперь Геннадий Игоревич шутит, что настало время «отработать должок» перед белорусской публикой: после окончания Московской консерватории его распределили на работу в Минск, но он поступил в аспирантуру и до Минска так и не доехал.

Даже трудно представить, что на постсоветском пространстве кто-то не знаком с музыкой, написанной этим автором к множеству кино-, телефильмов и незабываемых мультфильмов (достаточно вспомнить хотя бы «Бременских музыкантов»). Большое количество произведений написано им и для музыкального театра (мюзиклов, оперетт, балетов). Это удивительный композитор, соединяющий в своем творчестве академические традиции, новые техники письма и то неуловимое чувство современной интонации, что и создает присущий только ему синтетический стиль — узнаваемый и неповторимый.



Создатели и руководители творческого объединения вместе со своим идейным вдохновителем народным артистом России Г. Гладковым.

Произведения Геннадия Гладкова ставятся во многих российских театрах — и не только. А в репертуаре Белорусского музыкального театра их даже три: мюзикл для детей «Приключения бременских музыкантов», эксцентрический балет «12 стульев» и мюзикл «Обыкновенное чудо». И постановочная группа этих спектаклей одна и та же: режиссер Анастасия Гриненко, балетмейстер Дмитрий Якубович, художник-сценограф Андрей Меренков, художники по костюмам Юлия Бабаева и Татьяна Лисовенко.

Первый из названных спектаклей был поставлен в 2006 году, то есть на протяжении почти десяти лет росла и укреплялась творческая дружба минских постановщиков с Геннадием Гладковым и его постоянными соавторами, создателями либретто для его театральных сочинений — драматургом Юрием Энтиным и поэтом Юлием Кимом. В процессе такого творческого взаимодействия сам собой возник вопрос о новых постановках произведений Гладкова в Минске, но было ясно, что для этого не может постоянно использоваться сцена Белорусского музыкального театра (даже вряд ли можно найти российский театр, где бы в репертуаре одновременно было три произведения этого композитора). Поэтому и возникло творческое объединение «Территория мюзикла», организаторами и создателями которого стали Анастасия Гриненко и Дмитрий Якубович (не только творческая, но и супружеская пара). Официально функции административного руководства объединением осуществляет Дмитрий, а функции художественного руководства — Анастасия. Размещается вновь созданный коллектив в помещении Дворца профсоюзов. Штат его совсем небольшой, а сотрудничество с приглашенными актерами и постановщиками осуществляется на договорной основе. Что же касается самих создателей творческого объединения, то поначалу свою деятельность они оба совмещали с работой в Музыкальном театре. Но с нынешнего театрального сезона Анастасия Гриненко сосредоточилась только на работе в «Территории мюзикла», а Дмитрий Якубович по-прежнему остается актером и балетмейстером Белорусского музыкального театра, естественно, исполняя те же функции и во вновь созданном театре, которым сам он и руководит.

— Мысль о создании подобного творческого объединения витала у нас давно, и на одной из встреч Геннадий Игоревич ее выразил, — рассказывает Дмитрий. — Было решено, что всеми организационными вопросами будем заниматься мы, а Гладков будет поддерживать нас творчески. Так оно и есть. Геннадий Игоревич не только наш идейный вдохновитель и автор, но и неиссякаемый источник новых творческих задумок. С его поддержкой мы можем экспериментировать и пробовать все что угодно. Он нам оказывает и практическую помощь,

например, к двум нашим постановкам из трех предоставил качественные фонограммы, сделанные в его московской студии.

Таким образом, при создании нового театра было обозначено его творческое кредо: эксперимент в рамках жанра и расширение самих рамок жанра мюзикла. Что за этим кроется, рассказывает Анастасия Гриненко.

— У нас сложилось довольно однобокое представление о мюзикле, кроме того, в этом жанре существует целый пласт материала, вообще неизвестного нашим зрителям. К примеру, в основу мюзикла сейчас берутся такие сильные драматургические темы, которые раньше никто бы не рискнул привнести в музыкальный театр. Это можно сравнить с тем, как в свое время произошел переворот в сознании, когда на музыкальной сцене появились «Порги и Бесс» Гершвина или «Вестсайдская история» Бернстайна. К тому же, в последнее время во всем мире идет активный эксперимент в жанре мюзикла. Наблюдается он и в России: например, известный композитор Александр Пантыкин, очень успешно работающий в этом жанре, создал свое направление, названное лайт-оперой, — это своеобразный сплав характерных черт оперы, рок-оперы, мюзикла и музыкальной комедии с элементами классического балета и современного танца. То есть, такие постановки осуществляются на стыке всех музыкально-сценических жанров и к ним не предъявляются какие-то единые критерии оценки. Так что в своей работе мы стремимся всесторонне исследовать мюзикл, развивать его и расширять представление о нем. Такие эксперименты мы можем себе позволить, и в этом нас очень поддерживает наш идейный вдохновитель. Мы знаем, что Геннадий Игоревич не всегда бывает доволен постановкой своих произведений в том или ином театре и в связи с этим очень переживает. И он не так просто дает авторские права, как это может показаться. Поэтому мы очень благодарны ему за доверие к нашей деятельности. К примеру, работая над постановкой, я прихожу к мысли, что нужно сократить или добавить тот или иной музыкальный номер, звоню Геннадию Игоревичу, спрашиваю разрешения... И он не опасается, что мы можем как-то некорректно обойтись с его музыкальным материалом, то есть во многом мы уже говорим на одном языке.

А если рассуждать о постановочном процессе, о том самом эксперименте в рамках жанра и расширении этих рамок, то тут, разумеется, очень важно, чтобы постановщики не понаслышке знали их суть и владели новыми методами и приемами работы. И определенный запас в этом плане у них уже есть. Анастасия и Дмитрий имеют опыт сотрудничества с одним из лучших музыкальных театров России — Свердловским театром музыкальной комедии, где осуществляются неординарные постановки произведений Александра Пантыкина (о чем уже упоминалось выше) и где работает один из лучших современных режиссеров Кирилл Стрежнев. У Анастасии есть также опыт работы в Литве, где активно внедряются современные театральные тенденции и ставится немало лицензионных мюзиклов. Ну а Дмитрию, можно сказать, повезло еще больше: три года назад ему удалось побывать на стажировке в Нью-Йорке в Broadway Dance Center, где он ознакомился с современными направлениями хореографии и с новыми тенденциями в развитии мюзикла в целом. Ну а что может быть ценнее, чем лично окунуться в живую атмосферу функционирования этого жанра там, где он, собственно, и зародился?

— В Америке существует большое многообразие хореографических направлений, стилей и жанров, которые легко и органично соединяются и переплетаются между собой, — говорит Дмитрий, — и ими владеют не только профессиональные танцовщики, как это принято у нас, но и артисты мюзикла. Вообще одна из главных черт бродвейской труппы — очень высокая техничность. Там артистам изначально закладываются все универсальные качества, необходимые для этого жанра, поэтому они одинаково хорошо и танцуют, и поют. У них в труппе нет деления на солистов, хор и балет, как это принято у нас. Да там даже актеры драмы все поют! И киноактеры — тоже, по крайней мере, в фильмах их никто не озвучивает.

И как тут не отметить, что сам Дмитрий Якубович — живой пример такого актерского универсализма: будучи одним из ведущих солистов-вокалистов Музыкального театра, он при этом является профессиональным танцовщиком и балетмейстером. И само собой разумеется, что в «Территории мюзикла», помимо постановочной работы, на нем держится весь репертуар. А все остальные актеры, как уже отмечалось, сотрудничают с этим театром на договорных основах. Так же как и члены постановочной группы, с которыми у Дмитрия и Анастасии уже давно сложились тесные творческие и просто дружеские взаимоотношения.

— Костяк нашей труппы составляют совсем еще молодые артисты, выпускники Академии искусств 2013 года по специальности «актер музыкального театра», — продолжает Дмитрий Якубович, — которым мы стараемся привить самые необходимые навыки исполнительского универсализма. Также с нами сотрудничают и многие актеры Музыкального театра, с которыми у нас уже давно сложилось творческое взаимодействие и которым также интересно проявить себя на другой сценической площадке и в несколько другом жанре. Это в первую очередь Денис Немцов — по-настоящему универсальный артист, а также Александр Осипец, Дмитрий Матиевский, Сергей Спруть и другие актеры, а из солисток — конечно, Илона Казакевич, с которой у нас сложился удачный сценический дуэт с самого начала нашего творческого пути, а также Екатерина Дегтярева, Светлана Мациевская и другие. Сотрудничают с нами известные драматические артистки: Елена Дубровская из Горьковского театра и Юлия Шпилевская — из Купаловского. В общем, на сегодняшний день проблемы с кадрами нет — мы имеем по два состава исполнителей на каждый спектакль.

Итак, первым крупным проектом нового театра был творческий вечер Геннадия Гладкова, который проходил в марте 2013 года на сцене Белгосфилармонии. Подготовили его режиссер Анастасия Гриненко, балетмейстер Дмитрий Якубович и дирижер Николай Макаревич, который готовил программу с симфоническим оркестром Минского музыкального колледжа имени Глинки. А попеременно с ним за пульт становился еще один участник проекта — дирижер академического симфонического оркестра Крымской областной филармонии Игорь Каждан.

В программу вечера были включены известные номера из кино- и телефильмов, а также театральных постановок, музыку к которым в свое время написал Геннадий Гладков («12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Собака на сене», «Джентльмены удачи», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов», «Бременские музыканты»...).

Этот творческий вечер представлял из себя театрализованный концерт, потому что на филармонической сцене блистали приглашенные солисты Белорусского музыкального театра, и конечно же, сам Дмитрий Якубович — в одном лице и актер, и балетмейстер, и постановщик, и директор нового театра. Запомнилась зрителям и ведущая того вечера — известная белорусская актриса театра и кино Елена Дубровская, которую зритель знает по многочисленным российским телесериалам. Но живее и непосредственнее всех был сам Геннадий Гладков, который и комментировал происходящее на сцене, и дирижировал прямо из ложи, а в финале, выйдя на сцену, предался своему излюбленному занятию — прямому диалогу с публикой.

А буквально через две недели после творческого вечера Геннадия Гладкова уже на сцене Дворца профсоюзов состоялась первая театральная премьера — спектакль для детей и взрослых «Иохим Лис — детектив с дипломом». Для большинства зрителей это название представлялось совершенно новым, и в этом был определенный риск для только что созданного театра — ведь, как известно, родители куда охотней ведут детей на уже известные, брендовые названия спектаклей типа «Бременских музыкантов»... Но в неизвестном произведении тоже есть свои плюсы (которые проявляются уже во время просмотра спектакля): никто не знает, чем закончится эта детективная история, что и подогревает интерес публики.

Хотя, как говорится: новое — это хорошо забытое старое. Геннадий Гладков написал этот мюзикл примерно четверть века назад для московского экспериментального театра «Детектив», организаторами которого были Василий Ливанов и Виталий Соломин — народные Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Литературной основой для этого сценического произведения послужила сказочная повесть шведского писателя Ингемара Фьёля (либретто Игоря Ливанова и Олега Тихомирова, стихи Юрия Энтина).

И хоть этот спектакль является пародией на детектив, однако сюжетные линии в нем развиваются по законам детективного жанра (не будем забывать, для какого театра он создавался). Главный герой этой невероятной истории — Иохим Лис, окончивший заочные курсы частных детективов и получивший в подтверждение этого диплом. Ему-то и удается раскрыть преступление века — похищение из суперлавки Барсука Бонифация десяти банок малинового варенья. В спектакле действуют очень занятные персонажи: многодетная мадам Барсучиха с дочерьми, лиса Амалия — подруга Иохима, волк по прозвищу Клык-Потрошитель, таинственный Ромуальд Росомаха из Экологического управления по учету сосновых игл и другие не менее колоритные участники этой таинственной истории, проникнутой тонким и неспешным скандинавским юмором. И самое главное, маленькие зрители сразу узнают их характерные черты: через манеры, пластику, и конечно — через интонации голоса исполнителей.

А исполнителями этого спектакля стали на то время совсем еще молодые артисты — выпускники Академии искусств по специальности «актер музыкального театра», многие из которых уже проявили себя и на сцене Белорусского музыкального театра: Эдуард Вайнилович, Шамхал Хачатурян, Александр Шкут, Сергей Жаров, Александра Войцехович, Ксения Малахвейчук, Александра Римкевич, Дарья Новик, Александра Жук и другие.

Этот спектакль ориентирован и на семейный просмотр, и на посещение детским коллективом. И что необходимо отметить, создатели и руководители



Сцена из детского мюзикла «Иохим Лис — детектив с дипломом».

молодого театра нашли возможность проводить благотворительные акции: еще год назад «Иохима Лиса...» увидели воспитанники одного из минских детских домов семейного типа; позднее подобные акции стали приурочивать ко Дню матери, когда на спектакль приглашались мамы с детьми из неполных и опекунских семей, а также из семей, воспитывающих детей с особенностями развития и приемных детей. (Здесь также уместно отметить, что театр находит возможность на все спектакли распространять билеты на третий ярус за символическую цену — для учащейся молодежи.)

А следующая постановка театра была уже основана на известном материале и ориентирована на взрослую публику. На сей раз сценическое воплощение получил мюзикл-водевиль «Сватовство гусара», премьера которого состоялась в ноябре 2013 года. Этот спектакль сегодня воспринимается как театральный ремейк одноименного музыкального фильма режиссера Светланы Дружининой с музыкой Геннадия Гладкова, вышедшего на «Мосфильме» в 1979 году, в котором блистали Михаил Боярский, Елена Коренева и Андрей Попов.

Но если внимательнее рассмотреть литературную основу и фильма, и мюзикла — водевиль Николая Алексеевича Некрасова «Петербургский ростовщик», — то обнаруживается его продолжительная театральная история. Как известно, в творчестве Некрасова этот жанр занимал значительное место — он писал водевили для Александринского театра под псевдонимом Перепельский. «Петербургский ростовщик» — последнее обращение писателя к жанру водевиля, поднявшего его на новую высоту. Это произведение литературоведы поставили в прямую связь с формировавшейся в то время «натуральной школой». (Известно, что у Некрасова было намерение даже включить этот водевиль в программный сборник «Физиология Петербурга».)

Самой отличительной чертой «Петербургского ростовщика» является то, что любовная интрига в нем отодвигается на второй план, и водевиль из комедии положений перерастает в комедию характеров. Хотя основные жанровые признаки здесь сохраняются (имеет место даже традиционное для водевиля переодевание и подмена персонажей), но композиция строится по принципу обозрения, благодаря чему драматург создает целую галерею петербургских типов, где на первый план выступает острохарактерный образ скряги-ростовщика.

Первое исполнение «Петербургского ростовщика» на сцене Александринского театра состоялось в июне 1845 года. И отзывы критиков на него были неблагоприятными. В основном в укор автору ставили неправдоподобность сюжета и чрезмерную утрированность образа ростовщика. А «Литературная газета» утверждала, что и водевиль, и его главный герой «грязны» в силу их чрезмерной реальности.

Видимо, благодаря реалистичности показанных в этом водевиле образов он и принадлежит к числу тех произведений Некрасова, которые до наших дней способны привлекать к себе внимание. И если он не пользовался особой популярностью на театральной сцене, то воплощение его на теле- и киноэкране оказалось более запоминающимся. Так, в 1964 году на Ленинградской студии телевидения по водевилю «Петербургский ростовщик» был создан телеспектакль, а в 1977 году он был поставлен на Центральной студии телевидения. Но все же в памяти не одного поколения зрителей остался именно музыкальный фильм «Сватовство гусара» с музыкой Геннадия Гладкова, о котором говорилось выше. И до сих пор у всех на слуху куплеты скряги-ростовщика: *«День-день-деньжата, деньги, денежки, слаще пряника, милее девушки...»* в исполнении Андрея Попова.

И хоть минская постановка водевиля считается театральным ремейком названного фильма, но она оказалась ближе к замыслу самого Некрасова, чем этот фильм. Ближе тем, что в ней центральное место занимает именно образ ростовщика, а все остальные персонажи создают то хитросплетение невероятных событий, в которых и раскрывается вся сущность его натуры. И это при том,

что в основе постановки лежит не сама пьеса Некрасова, а либретто, созданное режиссером по ее мотивам.

«Играем в водевиль!» — так определяют постановщики принцип и эстетику своего спектакля. «Я попробовала по-новому интерпретировать сам жанр водевиля, слегка как бы пародируя его и шутя над его штампами, — говорит Анастасия Гриненко. — В результате получился мюзикл-водевиль: мы в него ввели не вошедшие в фильм мелодии, дописали несколько сцен, поставили танцы, и получился игривый музыкальный спектакль из двух актов».

Понятно, что большинство зрителей помнят фильм «Сватовство гусара» и вольно или невольно сравнивают театральных и киношных исполнителей — особенно главных ролей. Но здесь трудно проводить прямые параллели, потому что театр и кино — разные виды искусства, и у каждого из них свои выразительные средства. И зритель действительно очень быстро окунается в атмосферу этого живого сценического действия, ощущая как самодостаточность исполнителей, так и самой постановки.

Итак, все действие водевиля вертится вокруг одного персонажа — отца-скряги, жизненные принципы которого ну никак не позволяют ему выдать дочь замуж без выгоды для себя. Облик ростовщика подается в яркой пародийной форме, сквозь которую все явственнее просвечивается, как, казалось бы, безобидный бытовой юмор перерастает в острую социальную сатиру, обнажая ту самую повседневную «физиологию» Петербурга.

Ясно, что исполнителем этой роли должен быть очень многогранный актер, сочетающий в себе глубину драматического таланта с феерической мюзикловой легкостью и целым каскадом ярких выразительных средств. Вполне ожидаемо им стал ведущий солист Музыкального театра Денис Немцов — актер неограниченных творческих возможностей, которому тесно в рамках одного жанра. И просто замечательно, что работа над этой ролью позволила артисту раскрыть те грани его драматического дарования и отточенного актерского мастерства, которые не всегда можно проявить на сцене Музыкального театра в силу специфики этого жанра.

Роли дочери ростовщика Лизы и ее жениха гусара Налимова исполняют Илона Казакевич и Дмитрий Якубович — также ведущие солисты Музыкального



Денис Немцов в роли ростовщика в спектакле «Сватовство гусара».

театра, притом, уже давно сложившийся дуэт, что уже заранее предопределяет успех их работы. Но что интересно: если Якубовича зритель привык видеть в разных амплуа, то Казакевич — обычно в амплуа героини, однако работа в этом спектакле позволила выявить и ее комедийные артистические способности. И это в очередной раз доказывает, насколько актерам важно пробовать себя в разных жанрах и в спектаклях разной эстетической направленности.

В ролях других гусаров, друзей Налимова, выступают Сергей Спруть, Эдуард Вайнилович, Шахмал Хачатурян, а в ролях актрисок — Екатерина Дегтярева, Александра Римкевич, Александра Войцехович, Ксения Малахвейчук, Ангелина Подоляк. И это тот сплав опытных и начинающих актеров, когда профессионализм одних способствует развитию профессионализма других, и в целом получается слаженная ансамблевая работа. А эта постановка как раз и держится на крепкой ансамблевой игре, где в калейдоскопе сменяющихся одна за другой сцен все персонажи вовлекают ростовщика в хитроумную комбинацию, чтобы «выкупить» его дочь из домашнего плена и проучить при этом его самого.

Следующий спектакль молодого театра также можно считать ремейком известного фильма. Это мюзикл-оперетта «Собака на сене», премьера которого состоялась в сентябре 2014 года. Ведь понятно, что именно благодаря великолепному фильму Яна Фрида с музыкой Геннадия Гладкова, снятому на «Ленфильме» в 1977 году, советская публика с головой окунулась в перипетии испанских страстей, так живописуемых Лопе де Вега 400 лет назад.

— Работая над литературной основой спектакля, я вначале пыталась сократить пьесу и сделать быструю развязку, но потом поняла, что при этом будет теряться логика и мотивация поступков персонажей, и восстановила все сокращения, — говорит Анастасия Гриненко. — Мы даже восстановили некоторые сюжетные перипетии, которых нет в фильме Яна Фрида. Поэтому история любви Дианы и Теодоро в нашем спектакле раскрывается несколько шире. Кроме того, в нем гораздо больше музыки, чем в фильме. Ведь Геннадий Игоревич после выхода фильма сделал театральную версию этого произведения — написал большую трехактную оперетту с тем же названием. Работая над нашей постановкой, мы пошли на совмещение жанров, с согласия композитора немножко сократили музыкальный материал оперетты, и в итоге у нас получился мюзикл-оперетта. Поэтому в спектакле есть присущие мюзиклу темпоритм, пластика и хореография, а также присущие оперетте мелодраматические ходы, но без привычных штампов. Так что зрителей, пришедших на наш спектакль, ждет много сюрпризов — они увидят знакомую историю, но в новой и современной интерпретации, — заключает режиссер.

Однако не нужно опасаться — любимые не одним поколением зрителей шлягеры в постановке, конечно же, остались. «Любовь, зачем ты мучаешь меня?», «Настанет день и час...», «Сталь подчиняется покорно...», «Ах, если б можно, если б можно было, чтоб сердце самовольно разлюбило...» и другие узнаваемые мелодии своеобразной красной нитью проходят сквозь музыкальное полотно всего произведения, делая его еще более близким и понятным.

При этом явственно ощущается, что постановщики спектакля отдают должное драматургии Лопе де Вега, воссоздавая атмосферу комедии плаща и шпаги. Однако, несмотря на то, что эта пьеса принадлежит к жанру комедии, она по своей сути является драмой: ведь основной ее конфликт связан с сословным неравенством героев. Очень явственно показано, как в душе Дианы идет постоянная борьба любви и сословной спеси и как она мечется между голосом сердца и доводами рассудка. А у Теодоро, в свою очередь, зарождающаяся любовь вступает в конфликт с гордостью простолюдина. К тому же, «Собака на сене» — это настоящая анатомия любви, где показывается, что *любовь может зародиться из ревности* и утверждается, что *любовью оскорбить нельзя.* Вот что значит высокая драматургия и бережное отношение к ней создателей спектакля. Выявлению всех этих нюансов способствует и стихотворная форма пьесы, что хоть и создает

трудности для исполнителей, но зато помогает им держаться в рамках заданной драматургической эстетики.

Как и ожидалось, в ролях Дианы и Теодоро выступили Илона Казакевич и Дмитрий Якубович — тот дуэт, на который всегда полагаются постановщики и который всегда с радостью воспринимают зрители. Конечно, они не такие, как Маргарита Терехова и Михаил Боярский в фильме — они такие, какими должны быть исполнители этих ролей на театральных подмостках, притом — в постановке именно этого режиссера.

То же относится и к исполнителям других ролей, преимущественно опытным актерам. Например, в образе дуэньи (сподвижницы Дианы) запомнилась всегда фонтанирующая какой-то особенной внутренней энергией Светлана Мациевская. По-настоящему колоритными и комедийными (как и задумано у драматурга) получились незадачливые женихи Дианы. В роли графа Федерико снова всех покорил Денис Немцов, представ в гротесковой, притом острохарактерной возрастной роли, в очередной раз продемонстрировав свой талант перевоплощения, когда, играя другого, артист остается самим собой, потому что никому не подражает. А в роли второго неудачливого жениха — маркиза Рикардо — довольно уверенно выступил молодой артист Шамхал Хачатурян, который не разочаровал публику, особенно при исполнении всем известной, насквозь проникнутой комизмом серенады «Дивная Диана». Не перечисляя всех участников этого спектакля, все же стоит еще раз отметить, что и здесь наблюдается такой подбор исполнителей, когда профессионализм одних способствует развитию профессионализма других.

«Собака на сене» выгодно отличается от двух предыдущих спектаклей и своим оформлением, особенно богатством костюмов. В этом плане здесь уже ничего не осталось от лаконичной студийной эстетики (во многом вынужденной), к которой театр прибегал в начале своей деятельности. Более того, в этой постановке заметно явное тяготение к академичности, когда форма соответствует содержанию. Художник по костюмам Юлия Бабаева, воссоздавая внешний облик героев спектакля, очень много внимания уделяла деталям, характеризующим не только историческую эпоху и социальную принадлежность персонажей, но даже их внутреннюю сущность. К примеру, богатые наряды Дианы, конечно, отличаются изысканным вкусом и характеризуют ее как знатную даму, а не менее богатые костюмы ее женихов, сверкающие золотой парчой и драгоценными камнями на дивном бархате, выдают их напыщенность и стремление к внешней броскости. В оформлении нарядов даже не очень знатных дам удачно используется тема кружев, без чего вообще невозможно представить испанский костюм, и интересно обыгрывается их неотъемлемая часть — веера.

Таким образом, этот спектакль, основанный на серьезном драматургическом и музыкальном материале, к тому же притягательный своей зрелищностью, на сегодняшний день является самой сильной работой молодого театра. И что хочется отметить: я знала о приверженности режиссера к переделке и «осовремениванию» классических сюжетов, поэтому на премьере спектакля все время не покидало чувство настороженности: когда же возникнут неожиданные сюжетные линии и новые коллизии, и главное — как это отразится на литературной основе? Но, как оказалось, не прибегая ни к каким нововведениям, постановщики сумели современным театральным языком показать, насколько универсальны для всех эпох проблемы, поднимаемые в признанном образце мировой литературы.

Конечно, столичные зрители, в первую очередь любители жанра мюзикла, уже давно познакомились с постановками этого театра. Однако до сих пор не иссякает интерес родителей и детей к «Иохиму Лису...», и по всему видно, что маленький зритель с готовностью пойдет на новую постановку «Территории мюзикла». Казалось бы, всего три спектакля в репертуарной афише — ну что это за театр? Но кроме этого в творческой копилке молодого коллектива — масштабные концертные про-

граммы, которые приобретают международный резонанс, и, естественно, в содружестве с российскими авторами готовятся новые постановки. (Оглядываясь на историю белорусского театрального искусства последних десятилетий, можно вспомнить некоторые молодые театры, которые довольно продолжительное время держались на одном-двух спектаклях.)



Илона Казакевич и Дмитрий Якубович в спектакле «Собака на сене».

Но у «Территории мюзикла» есть то, что позволяет этому коллективу продолжительное время держаться на плаву даже с таким малым репертуаром — постоянные выездные спектакли по всей республике. Этот театр, в отличие от больших академических, мобильный и легкий на подъем, и для показа своих спектаклей ему не нужны большие и хорошо оборудованные сценические площадки, а тем более — оркестровая яма. Соответственно и элементы сценографии к спектаклям изначально создаются с расчетом на их легкую трансформацию и перевозку. Поэтому за период своего не столь продолжительного существования коллектив уже успел побывать во всех областях Беларуси, притом не только в крупных и средних городах, но нередко и в сравнительно небольших районных центрах — там, где есть подходящие помещения для показа спектаклей.

— Самые тесные отношения у нас сложились с Гомелем, где на сцене Дворца культуры железнодорожников мы периодически показываем свои спектакли и концертные программы и где нас уже знают и ждут, — говорит Анастасия Гриненко. — Например, когда мы в очередной раз приехали туда со спектаклем «Сватовство гусара», то в антракте зрители раскупили билеты на нашу новую постановку — «Собака на сене». Хорошо нас принимают также в Жлобине — одном из крупных городов Гомельской области, где периодически бывают различные коллективы и где публика довольно продвинутая. А вот в Калинковичах атмосфера совсем другая: театральные постановки там вообще в новинку, поэтому встречали нас там с особенным интересом.

Зрители в регионах, конечно, отличаются от столичных зрителей, но что интересно, они отличаются и между собой, — продолжает Анастасия Гриненко. — Например, нас просто поразила публика в Бресте и Пинске: там из-за смеха даже продолжительность спектакля длиннее. Вообще можно сказать, что полешуки — более эмоциональные и непосредственные, они не только от души смеются, реагируя на то, на что не реагирует, скажем, столичный зритель, но еще и вслух комментируют происходящее на сцене — как при просмотре сериала в кругу семьи. А вот в Могилеве совершенно иная картина: зрители сидят тихо и не хлопают даже в тех местах, где обычно это происходит, — им для этого нужно делать паузу. То есть публика там более сосредоточенная, дисциплинированная... Но зато все эмоции они выплескивают после окончания спектакля — очень долго не отпускают со сцены и еще стараются пообщаться с нами после выхода из театра. Поначалу многие считали, что мы — московский театр,

и все были удивлены, что наша постановка отличается от ставшей привычной им заезжей антрепризы.

Но самое значимое выездное мероприятие «Территория мюзикла» осуществила в Полоцке в начале текущего театрального сезона. В сентябре 2014 года на базе Дворца культуры ОАО «Полоцк-Стекловолокно» — крупнейшей и наиболее современной концертной площадке города — состоялась презентация проекта «Искусство без границ», который открылся показом спектакля «Сватовство гусара».

— Для нас было очень почетно открывать новый театральный проект в старинном Полоцке, — говорит Анастасия Гриненко. — На протяжении сезона 2014/2015 в его рамках сюда будут приглашаться различные театральные коллективы Беларуси и России. А в дальнейшем планируется расширить географию этого проекта и придать ему статус международного. Появление собственного театрального фестиваля в древнейшем белорусском городе с богатыми культурными и духовными традициями вполне закономерно. Ведь в 2010 году Полоцк был выбран первой культурной столицей Беларуси, и его активная творческая жизнь в дальнейшем должна постоянно развиваться. В рамках этого фестиваля предусмотрен и выезд «Территории мюзикла» в некоторые российские города: например, в Полоцк приезжает Смоленский драматический театр, а мы в это время едем туда со своими спектаклями, подобные планы сотрудничества существуют также с театрами Калуги и Брянска.

Вообще для творческого объединения «Территория мюзикла» 2015 год является особенным: 18 февраля его идейному вдохновителю Геннадию Гладкову исполнилось 80 лет, и в связи с этим весь текущий год проходит под символом этого юбилея. Первым большим мероприятием, прошедшим именно в день 80-летия маэстро, стала театрализованная музыкальная программа — мюзик-шоу «Формула любви», в которую вошли все хиты Гладкова из его самых известных произведений. В этом концерте-спектакле приняли участие артисты, которые сотрудничают с объединением «Территория мюзикла» с момента его основания и поэтому с головой погружены в музыку Гладкова. В мюзик-шоу была собрана золотая коллекция мелодий из кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов, в том числе и тех, которые зритель уже слышал со сцены этого театра: «Сватовство гусара», «Собака на сене», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тиль», «Дульсинея Тобосская», «Проснись и пой», «Человек с бульвара Капуцинов», «Бременские музыканты», «Джентльмены удачи», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Ну, погоди!» и других известных произведений композитора. Это был вечер ностальгии и восторженности, эмоционального и духовного единения всех его участников — и зрителей, и исполнителей, — ведь в душу каждого навсегда запала частичка этого щедрого и безграничного таланта...

Сейчас творческое объединение работает над созданием театральных версий еще двух произведений с музыкой Гладкова, получивших широкую известность благодаря кино- и телеэкрану. «У Геннадия Игоревича не только композиторское мышление, но и режиссерское, — говорит Анастасия Гриненко, — он в целом видит сценическую версию того или иного произведения и предлагает нам некоторые интересные сюжетные ходы, придумывает новых персонажей, а иногда к только что созданному музыкальному номеру может даже сам стихи написать. Он всесторонне одаренная личность, как говорил Марк Захаров — один из «могучей кучки» — современной, естественно, и мы очень дорожим и гордимся сотрудничеством с таким маститым творцом».

Так что почитателей жанра мюзикла, и в частности ценителей творчества Геннадия Гладкова, в год его юбилея еще ждут интересные сюрпризы. И что самое интригующее — композитор обещал написать для минской труппы произведение по мотивам белорусской сказки. Какой — пусть это пока останется творческим секретом.

Фото Анжелики Грекович.



Михась Дриневский в хоре жизни

Нынешней весной забот прибавилось: Михасю Павловичу предложили возглавить... «Хоровое вече»! А точнее — пригласили на совещание в Министерство культуры и поручили включиться в подготовку и проведение названной так новой республиканской культурной акции, возложив на него обязанности главного дирижера.

Ответственное государственное дело маэстро Дриневскому доверили, разумеется, не только и не столько потому, что сегодня он самый титулованный хормейстер в стране, и к тому же, человек общественно активный. Да, Дриневский — это имя, давным-давно не нуждающееся в рекомендациях. Художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного хора имени Геннадия Цитовича, профессор кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки, председатель правленния Белорусского союза музыкальных деятелей, почетный академик Международной кадровой академии, председатель нескольких конкурсных жюри. Народный артист, лауреат Государственной премии БССР и премии «За духовное возрождение», кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена Франциска Скорины, обладатель медали Ирины Архиповой Международного союза музыкальных деятелей, номинант на соискание премии Союзного государства в области литературы и искусства... Я пытаюсь напомнить читателю о профессиональных достижениях, педагогической и общественно-просветительской деятельности, о знаках официального признания исключительных заслуг нашего героя перед национальной художественной культурой. И понимаю, что информация такого рода хороша лишь «к сведению», а за подробными перечнями статусных достоинств спрятано самое основное и важное: творческая индивидуальность.

Так вот, о самом важном. Бог дал нашему герою Талант и Призвание. Чтобы представить, какой феноменальный дар достался ему свыше, достаточно и одного эпизода биографии Дриневского. Школьник тринадцати лет, мальчишка из полесской глуши, не знавший элементарной нотной грамоты, он стал работать руководителем колхозного хора в родной деревне и просто на слух разводил по голосам каждую песню, «каб гучала прыгажэй»!

В современном белорусском хоровом искусстве есть талантливые личности, амбициозные лидеры, самоотверженные труженики, видные и уважаемые специалисты. Но вряд ли кого-то еще, кроме Дриневского, можно уже сейчас безоговорочно назвать явлением. Подлинно народный артист, являющийся таковым не вследствие надлежащего правительственного указа о присвоении высокого звания (это произошло в 1987 году), а по воле Божьей — по духу своему, мироощущению, образу жизни. Музыкант-самородок, сызмальства причастный к сокровищам фольклора и этнографии, умудренный академическим образованием и колоссальным опытом долгих лет, прожитых в искусстве; «апантаны» рыцарь лучших певческих традиций, не утративший творческий азарт и вкус к поиску. Обаятельный, искренний весельчак. Он добродушен и жизнелюбив.

Неутомим, энергичен, легок на подъем, хотя паспорт напоминает про «семьдесят с гаком» и грядущий, не такой уж и далекий, очередной юбилей... Кому же, как не ему, собирать всебелорусское «Хоровое вече»!

Живица по-тонежски

Задолго до появления «всемирной паутины» здесь уже существовала своя беспроводная связь. Туров, Лельчицы, Житковичи, Мозырь да еще множество исторических уголков гомельского Полесья, в том числе и не помеченных на больших картах, издревле были связаны невидимыми духовными нитями богатой и загадочной культуры. И по сей день именно в этой среде умозрительное слово «самобытность» обретает черты, к счастью, пока не утраченного, реального, некоего самодостаточного и неповторимого мира. Его частичка — Тонеж, весьма приметная деревня в Лельчицком районе.

Славен Тонеж как «самая спеўная вёска» на Полесье. Здесь и суждено было родиться Михасю Дриневскому.

А родился он в феврале 1941-го, и о том, что происходило в годы войны, знает по рассказам матери. Вспоминая эти рассказы, Михась Павлович словно и сам становится очевидцем былого.

«В августе 41-го в деревню нагрянули немцы, люди запаниковали, побежали в лес. В нашем доме оставались мои родные братья четырех и шести лет, Дима и Коля, а еще 12-летний двоюродный брат Вася — принятый в нашу семью сын раскулаченной тетки. Они должны были присмотреть за мной, быстро уходить в лес, найти маму».

Мальчишки взяли из хаты кожух, подхватили полугодовалого Мишу и последовали за односельчанами. Что произошло по дороге, не смог потом объяснить даже самый старший, Вася. Наверное, детям просто стало невмоготу, потому и бросили они малютку в картофельном поле. «Потерявшегося» ребенка нашли на другой день, здорового и невредимого. Прошло время, люди обжились в партизанской зоне, даже ясли для малышей сделали.

Из тех же материнских рассказов он знает, что с малых лет полюбил песни. Однажды отцова сестра даже пожурила: «А ты ўсё спяваеш? Можа, тату на фронце забілі, а ты спяваеш!» Маленький Михась ответил очень серьезно и с достоинством: «Я спяваю, я і думаю».

«Недаром поэт-песенник Адам Русак назвал нашу деревню «салаўіны бераг». Более 500 дворов. И в каждой семье пели. В 1930-е годы при Тонежском сельском доме культуры был создан хор. Известно выражение: «Будет хлеб — будет и песня». Так это — не про наш Тонеж! Тяжело после войны жилось. В детстве так хлеба хотелось. Зерна не было. Из макухи хлеб пекли, жмых льняной и конопляный перетирали на муку, чтобы хлеб сделать. Бывало, просили — я за соседскими свиньями приглядывал, и тогда мне как пастуху хлеб давали, но я матери относил, чтобы на всех поделила. Бесхлебица. Но ведь пели, да как!

Песня была для наших сельчан как воздух. Песня сопровождала любую работу. Я, пацаненок, наблюдая за людьми, удивлялся их неутомимости. Для них же на самом деле петь было все равно что дышать. Девчата, например, занимались добычей живицы. Подсочка на стволе сосны делалась на определенном уровне от земли, и с каждым последующим летом этот уровень продвигался все выше, усложняя работу сборщиц живой смолы. Они поднимались по лестнице на головокружительную высоту и спускались с тяжелыми, килограммов по 25, полными ведрами. Но при этом их пение не умолкало! Песни вокруг звучали только свои, тонежские. Радио в деревне тогда еще не было, как и электрического света. Кажется, в разгар 1950-х довелось услышать репродуктор, закрепленный на столбе: оттуда доносилась песня на модную тогда тему — «Едут новоселы по земле целинной…». А мы пели свои песни. Они из деревни в деревню передава-

лись, а рядом и Украина — с нашими соседями обменивались: для песен же границ нет. И в поле пели, и на болоте, когда траву косили. Мужики косили, а ворошить и сгребать сено было женской обязанностью. Сенокос — пора горячая, бывало, едва ли не до рассвета приходилось работать, и всё — с песней! Меня это завораживало, притягивало. И вот что еще поражало. Тяжко приходилось, а люди были добродушные, отзывчивые, никто не скулил, радовались уже тому, что живы и жизнь у них продолжается. Старались и друг друга добрым словом поддержать, и помочь: не смотрели, родственник или нет».

Теперь Михасю Дриневскому, Почетному гражданину Лельчицкого района, бывать на своей малой родине доводится все реже. Но если не получается хотя бы пару раз в год проведать земляков, то на Пасху он обязательно приезжает в Тонеж — собраться с уже, к сожалению, не столь и многочисленной родней, посетить могилы близких.

«Мне кажется, наши «тонежскія могілкі» — самые красивые в мире. Возможно, в этой части Полесья было когда-то древнее море. Во всяком случае место, где расположено кладбище, очень похоже на морское дно. Здесь совсем необычный, очень сыпучий песок: такого нигде, кроме как на море, не увидишь... А когда заходишь на территорию, сразу же обращаешь внимание на памятник с портретом поразительной красавицы. Это наша тонежская знаменитость — Ганна Венгура. Сколько песен она знала, в какой чудесной манере пела! Ее да еще одного нашего прославившегося солиста, Степана Дубейку, много записывали в фонд Белорусского радио.

Кстати, когда выдающаяся белорусская исследовательница фольклора Зинаида Можейко возила полесских певуний (тонежских да еще из двух соседних деревень) на Всемирный конгресс ученых-фольклористов в Москву, то пригласила поехать и меня — сопровождать тонежских землячек, опекать в огромном городе, помогать им в подготовке к выступлению. Сколько было смешных приключений: в столовой, на улицах, в метро! Вот спустились мы всей группой в московскую подземку. Подошли к автоматам для размена денег. Объяснил: тем, у кого не нашлось «пятачка» для одной поездки, надо опустить в железный ящик 10, 15 или 20 копеек, и он разменяет монету. Гляжу, а наша шустрая полешучка денежку в прорезь кинула и под автомат быстренько свой вышитый



У родных стен. Семья Дриневских.

фартук подставила! А какой оглушительный «лямант» сотрясал станцию метро, когда наши зычноголосые артистки кучей попадали с эскалатора! А когда Ганна «згубіла сапліўчык з грашамі», разыгрался целый детектив, но «вялікія грошы» в количестве трех рублей все-таки нашлись.

Если же вспоминать о серьезном... На всемирном конгрессе Ганна сказала о том, что всегда любила петь: «Нават у вайну. Немцы стралялі, а я ўсё адно — спявала!» Люди у нас жизнерадостные и с юмором, но про войну никогда не забудут».

Трава забвения не скроет глубокую рану, которую оставили на тонежской земле необратимые события войны... Читатели, возможно, знают, что несколько месяцев назад по инициативе Белорусского союза музыкальных деятелей, поддержавшего личный душевный порыв своего председателя Михася Дриневского, состоялись благотворительная акция и концерт духовной хоровой музыки. Целью этого доброго дела было оказание посильной денежной помощи в восстановлении храма Николая Чудотворца в деревне Тонеж. Ранее Михась Павлович по собственному почину неоднократно вносил свою лепту в общие усилия земляков, направленные на возрождение святыни.

Война вписала в историю храма, как и самого Тонежа, незабытую трагическую страницу. В ночь с 6 на 7 января 1943 года, в канун Рождества, фашистские каратели согнали жителей деревни в Николаевскую церковь, где всех их сожгли заживо. Там оказалась бабушка Михася Дриневского, которая в этот день покинула лесной лагерь и направилась к родному подворью — кажется, собиралась испечь к празднику хлеб. В лес она уже не вернулась... В огне погиб 261 человек, в том числе 108 детей до 15 лет.

Благотворительный концерт прошел в столичном концертном зале «Верхний город» при участии двух хоров из православных минских храмов, хора Белорусской государственной академии музыки под руководством Инессы Бодяко и Национального академического народного хора с маэстро Дриневским. К тому времени тонежский храм благодаря всевозможным пожертвованиям был отстроен более чем наполовину.

«В результате акции БСМД удалось собрать необходимые средства, чтобы завершить строительные работы. И сегодня, слава Богу, можно сказать, что храм возрожден. Однако возведена церковь не на самом пепелище. Там, где она находилась до той страшной ночи, установлен мемориал: большая плита, крест, четыре скульптурные фигуры. Новую церковь поставили рядом. И я знаю, как люди старались, чтобы наш тонежский храм был подготовлен к освящению в праздник Пасхи».

Отцовская педагогика

«Помню май 45-го. Теплое весеннее утро. Мне уже целых четыре года и почти три месяца! Иду по селу, замечаю: люди о чем-то оживленно говорят. Прислушиваюсь, из разговора понимаю, что война закончилась. Я — скорее домой! И заявляю: «Мамка, снедаць не будзем, будзем тату чакаць, ён зараз дахаты прыйдзе, бо вайна скончылася!» День прождали напрасно. Домой отец вернулся только в ноябре».

Сыновей он держал в строгости. На видном месте висели три разных по весу ремня, каждый — для своего «воспитательного случая». Попадать под отцовский ремень — боязно, потому что больно, да и стыдно. Дети старались быть прилежными, дисциплинированными, но... Мальчишки есть мальчишки. Случалось всякое. Жила неподалеку единственная на всю деревню коммунистка. Фамилию ее мало кто знал, все называли по прозвищу: Ольга «сивая». Однажды между малолетками возникла какая-то стычка, и племянник той самой Ольги обозвал Михася полицаем. Это было страшное оскорбление. В отместку Михась,

встретив на улице Ольгу, показал ей кукиш и пулей убежал домой. Испугавшись последствий своего дерзкого поступка, забился на печь, при этом все рассказал матери и попросил не говорить отцу, а если начнет искать провинившегося сына, объяснить, что, мол, тот сильно заболел, слег, и не надо его тревожить. Отец, придя домой, забеспокоился, почему не видно Михася, затем стал расспрашивать о его внезапной болезни. Тогда жена и сообщила, что их Миша «паказаў дулю Вользе «сівай» — единственному партийному человеку в деревне, теперь страшится, что будут неприятности у всей семьи, вот и занемог. Что же ответил строгий отец, разобравшись в случившемся? «Я мінамётамі рэйхстаг абплёўваў, а майго сына паліцаем назвалі?!!» Обошлась та история без отцовского ремня, и ни последствий, ни продолжения у нее не было.

Вообще же с малых лет наш герой знал: жить надо по справедливости, отвечая на незаслуженные обиды. Их в детстве хватало.

«До войны в Тонеже были две школы: семилетка и десятилетка, но мне уже довелось, чтобы получить полное среднее образование, ходить в школу за 13 километров, до соседней деревни. В теплую пору велосипед выручал (а я из-за своего тогдашнего небольшого роста ездил под рамой, только в 9 классе смог сесть на велосипед по-настоящему, как взрослый). А дорога — одни мучения: то песок, то грязь, болото. Зимой те самые 13 километров — пешком. В непогоду, по морозу. Никто не подвозил. Но по той дороге самосвалами возили щебень. Однажды мы повскакивали в порожний кузов: идти зябко, хотелось хоть немножко подъехать. Шофер заметил и стал опускать кузов, чтобы сбросить нас. Мы пытались удержаться, голыми руками — рукавиц у нас не было — цеплялись за какие-то жесткие железяки, детали кузова. Но безжалостный дядька жал на рычаг, и дети буквально посыпались на землю вместе со своими торбочками, в которых было самое необходимое для занятий да нехитрая селянская еда. Перепачканные, в ссадинах и синяках (еще хорошо, что живые и не покалеченные!), мы потопали в школу. Я решил наказать шофера, который вместо того, чтобы поговорить, посочувствовать и помочь, обошелся с нами просто не по-людски. Подсмотрел, где он ставит машину, и проколол колеса. Притом чувствовал я себя не хулиганом, а «борцом за справедливость», отомстившим нашему обидчику».

Вспоминая, Михась Павлович может прервать свой рассказ, улыбнувшись: «Так закалялась сталь...» И вновь заговорить о традициях семейного воспитания.

«Отец с его образованием «вполкласса» производил впечатление человека, получившего высший балл не только за знание Закона Божьего. Он отличался незаурядным инженерным умом, в качестве военного трофея привез богатейший набор сверл, благодаря чему вся деревня активно и толково строилась. А еще он привез немецкую губную гармошку. Освоить ее захотелось всем, но такой привилегии был удостоен самый «взрослый» брат, Гриша. А я, и Володя (старше меня на два года), и Дима (на два года старше Володи) ждали своей очереди. Потом в доме появился аккордеон-«четвертушка» и тоже по старшинству достался Грише, зато губная гармошка перешла нам. Отец сам делал для нас бубны. Любил, когда дети играли, танцевали. Тут у него тоже была своя методика воспитания. Кто из сыновей первый шел танцевать, тому доставалось 20 копеек».

Но Михась в этих соревнованиях не участвовал, потому что... играл танцы! За это получал неплохое поощрение и даже заработал себе на ботинки.

В школе братья были не просто способными — пытливыми учениками. (К слову, отец с матерью пережили немало горя, потеряв половину детей, рожденных в их семье. Но сыновья, которых удалось поставить на ноги, оказались для супругов Дриневских настоящей опорой и гордостью. Три брата Михася Павловича стали докторами наук.) Итак, в 6—7 классе Гриша увлекся высшей математикой, решал сложнейшие задачи, докучал своими недетскими вопросами учительнице, которая с раздражением отвечала: «Это выходит за рамки программы средней школы, вам этого знать не нужно!» В конце концов дотошные ребята

устроили обструкцию недалекой математичке, довели до слез, она вынуждена была уволиться и уехать. Гриша окончил школу с золотой медалью, получил высшее образование в Ленинграде, остался там работать и всю жизнь увлеченно, как говорит Михась Павлович, «занимался спутниками».

«Мне тоже нравились точные науки. Но я особенно знал химию. Таблицу Менделеева, валентность каждого элемента наизусть помнил. За одного из братьев сдавал экзамен по химии, когда он поступал в мединститут. Это всего лишь формальность. Его успехи в дальнейшей учебе, научные достижения дали серьезный результат: брат стал доктором медицинских наук. Ну, а мои познания в химии пригодились и мне. В шутку или нет, но я думаю, они не исчезли, а перешли у меня в увлечение кулинарией, которое передалось и моему сыну. Он тоже умеет и капусту замариновать, и сало засолить, и «закатки» поставить. И супы у него отменные получаются, и плов, особенно с теми настоящими восточными приправами, что дочка, его сестра, из Узбекистана привезла, когда в командировку туда съездила. В моем детстве было не до «прысмакаў». Это сегодня в деревне знают, как помидор вкусным на зиму сохранить и каких специй добавить, чтобы мяско вяленое удалось... А всякий рецепт — это большая химия!»

О таких говорят: «носит солнце в сердце». Наверное, от солнца у него — искренность и душевное тепло. От неба — вдохновение. От земли — мудрость. Белорусская «шчырасць». И юмор: где Дриневский — там веселый остроумный дух и заразительный смех, сочное, смачное народное словцо, житейские анекдоты да самобытные шутки с «перчинкой»... За столом он и закуской полюбуется, нахваливая: «Во якое салка беленькае, прыгожае, — як высціранае!», и невзначай, но к месту, обронит, хитро прищурившись: «Чаем душу не падманіш!» И поведает секрет фирменной «Дрынёўкі», целебной настойки, рядом с которой — говорят, не раз проверено — проигрывают и знаменитые бальзамы, и марочные коньяки: «Там і мёдзік ёсць, и зёлкі лекавыя, і лімончык, і перац... Усё, як у Мендзялеева!»

В суетном хоре обыденной жизни порой бывало и бывает не до шуток. Но наверное именно этот непритязательный беззлобный юмор поддерживает Михася Павловича в самых разных ситуациях.

1 апреля — день серьезный...

«Я уже в юном возрасте был на деревне «публичный музыкант»: приглашали играть на крестинах, на свадьбах, на танцах. Нот не знал, подбирал все по слуху. А завклубом был у нас «музыкант номер один» в Лельчицком районе — Жора Моисеев (один из немногих ныне живущих старших моих земляков, с которым связывают общие воспоминания). Он и пригласил меня для общественной работы в художественной самодеятельности, как тогда говорили. Так в свои 13 лет стал я руководителем хора колхоза «Труд» в родном Тонеже. Еще и школьный хор я вел. В 8—10 классах тоже оба хора были на мне. Работа была ответственная, но бесплатная. Ездили выступать в Мозырь, занимали на смотрах самодеятельности призовые места... В областном смотре мой хор взял 1-е место. И в 1957 году я должен был поехать в составе делегации от Гомельщины на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москву, сестра даже специально вышила мне сорочку для этой поездки. Однако в последний момент, как это бывает, для меня «места не хватило».

Тем не менее, я уже, наверное, почувствовал вкус к работе с хором и решил получить необходимое образование. Но тут резко запротестовал отец. Да, ему очень нравилось, когда сыновья музицировали, всячески поощрял такие занятия. Но чтобы музыка стала для кого-то из нас профессией — боже упаси! Мой выбор выглядел в его глазах недостойным, «не мужским делом», я выслушивал

по этому поводу самые унизительные слова. (Спустя годы отец уже радовался за меня, увидев, что и музыкант может быть весьма уважаемым человеком.)

Тогда мне всего лишь хотелось научиться играть на баяне по нотам и вернуться домой, работать в родном Тонеже. Я вообще не мог себе представить, что жить доведется в городе. Поступил в Гомельское музыкальное училище, стал привыкать к городской среде.

Поскольку пришел учиться «с нуля», абсолютно безграмотным в музыке, для полноценных занятий надо было срочно освоить фортепиано. Моя терпеливая наставница придумала для меня ликбез: на большом листе бумаги прочерчивала определенные линии и по этому чертежу учила разбираться, где, что и как звучит на клавиатуре. На 4-м курсе я уже и наставничал. И в годы учебы работал с народным хором деревни Прибытки (это Гомельский район), с хором городского Дворца пионеров. Как-то само собой, но не без влияния поверивших в меня педагогов, пришло понимание, что суждено мне остаться в большой музыке, учиться дальше, поступать в консерваторию. В 1963 году так и произошло».

Годы студенчества... Ему посчастливилось быть в числе первых учеников Анны Зеленковой, мыслящего, эрудированного, творческого музыканта. Легендарный педагог, она проработала в Белорусской государственной консерватории (академии музыки) более полувека, снискав славу интеллектуального, энергетического и эмоционального центра кафедры хорового дирижирования.

«Анна Павловна была педагог «з рукавіцай». Я никогда не спрашивал, зачем такие нагрузки, к чему столько занятий. Постоянно открывал для себя новое: в музыке, в профессии. Я понял, что хоровому дирижеру не нужна игра на публику, эффектная техника рук: не в «махании» дело, а в том, чего ты хочешь достичь в звучании хора. По звучанию, передающему твое внутреннее состояние, твой душевный посыл, а вовсе не по тому, как ты «машешь», люди почувствуют, музыкант перед ними или нет. Но прежде надо понять, чего ты хочешь, пропустить свой замысел через себя, пережить его внутренне. И захватить хор. Потому что если ты людей не захватишь, то отдачи от них не жди. Ничего не отдадут. Не раскроются. А «разбудить» большой хор бывает нелегко. Ради этого и топать приходится, и ругать...»

В начале 1960-х, когда Дриневский с певческим коллективом деревообрабатывающего комбината занял 1-е место на очередном смотре-конкурсе в Гомеле, слух о молодом хормейстере с Полесья дошел до столицы. Композитор Юрий Семеняко был в составе жюри, запомнил фамилию талантливого музыканта, посоветовал профессионалам при случае обратить на него внимание. Его Величество Случай не заставил себя долго ждать. Год проучившись в консерватории, Михась Дриневский получил предложение поработать с капеллой Минского тракторного завода.

«Поработать с хором академического плана — я мечтал об этом, к этому стремился! Предложение принял, не раздумывая. Капелла считалась творческой спутницей знаменитого государственного коллектива, созданного и руководимого Рыгором Ширмой. Тогда же, в 1964 году, мы с ним и познакомились. Хотя, разумеется, я знал его и раньше как выдающуюся личность. А в пору своей учебы в Гомеле я приезжал в Минск на отчетное выступление творческих коллективов вместе с училищным хором (им руководил Лукомский). Так мы своей большой компанией зашли к Ширме на квартиру — все даже и не вместились. А жил он тогда в старинном доме по улице Советской, неподалеку от Красного костела, и на стене того дома теперь есть приметная мемориальная доска.

И вот пришел я в капеллу тракторного завода. Мы со слесарями, токарями пели интереснейшие вещи! С Ширмой сложились прекрасные отношения. Он звал меня сынком. Бывал у него дома, много общались. Я уже чувствовал себя академистом, продолжал работать в этом направлении, мечтал о сотрудничестве с уникальной ширмовской капеллой.

А жизнь-то усложнилась: на третьем курсе, когда мне был 21 год, я женился, никому из родни об этом не сообщив. Но, конечно, вскоре все узнали. Отец был очень рассержен: мол, куда ты, еще и старшие братья семьями не обзавелись! Но я влюбился как сумасшедший в красавицу Светлану — она пела в капелле тракторного завода. (Прожили мы с нею долгую жизнь, но в прошлом году жены моей не стало...) Женившись, я осознанно взял на себя ответственность за содержание семьи. С квартирой проблемы не было: еще на 2-м курсе консерватории, начав работать в капелле, я получил жилье от завода. А вот денежной подмоги ждать было неоткуда. Отец получал 60 рублей, мама болела — порок сердца, работать не могла. Да и вообще деревенским жителям туго приходилось: тяжелый сельский труд недооценивался, все, что было на личном подворье, — от дерева до курицы, — облагалось налогами».

Как ни странно, с Геннадием Цитовичем наш герой впервые встретился, когда уже заканчивал консерваторию: в мае 1967-го. Дриневский подготовил к выпускному экзамену кантату Флярковского «Песни, вырвавшиеся из ада», сложнейшее двуххорное произведение Сергея Танеева и собственные обработки песенного фольклора. На том концерте присутствовавл и Цитович.

«Геннадий Иванович разыскал меня за кулисами, предложил прийти в августе к нему в народный хор. После окончания консерватории меня направили в Минское музыкальное училище — преподавать. Но, дождавшись августа, я все же и к Цитовичу заглянул — и стал работать в Государственном народном хоре БССР хормейстером».

Получал поначалу 5 рублей, потом зарплата была увеличена до 12-ти. Кто бы возмущался, но Дриневский даже не жаловался: «Не из-за денег же я шел туда работать, а из уважения к почитаемому человеку, который меня заметил и пригласил сотрудничать». И надо ли рассуждать о неосознанном и необъяснимом притяжении глубин своей песенной стихии? Это — как прикосновение к детству, как магия сна, как зов родной крови, как голоса предков: деньгами не измеришь...

С 1973 года Михась Дриневский стал главным хормейстером, а еще через пару лет — художественным руководителем и главным дирижером. В 1983-м его коллективу, одному из первых в СССР, было присвоено звание «академический». В 1987 году в официальное название хора вошло имя его создателя — легендарного «бацькі хору» Геннадия Ивановича Цитовича... Но всему этому предшествовали события, оставшиеся за строками энциклопедий.

Многие ли знают, например, что, заканчивая Гомельское музыкальное училище, Михась Дриневский «шел на красный диплом», но был по настоянию одного из педагогов-хоровиков лишен документа с отличием, т. к., комментируя свою работу по специальности, «путал белорусский и русский язык». Правда, этот факт не помешал нашему герою успешно сдать вступительные экзамены в консерваторию. Но после окончания вуза, когда был объявлен прием в аспирантуру, для него там в некотором смысле «не хватило места». Зато маэстро Виктор Ровдо, который в общем-то не жаловал вниманием младших коллег-академистов, проявил нежданное участие в судьбе Дриневского. Каким образом? Написал своему именитому московскому коллеге и наставнику Александру Свешникову целую рекомендательную оду — с тем, чтобы талантливому белорусу позволили просто находиться рядом с маэстро и наблюдать за его работой, репетиционным процессом и т. п. Все должно было завершиться написанием диссертации.

Жена Дриневского не сомневалась: он должен поехать к Свешникову, а потом и диссертацию сможет защитить... Но ему в Москву не хотелось. Это ведь не в гости к друзьям и не на гастроли. Не хотел привыкать к чужому городу даже на время: «Для меня вообще непонятно в людях стремление «з’ехаць далей ад родных мясцін». В своей стране я — дома, я тут свой человек. И мне хорошо, когда я — дома, оттого что я — дома».

Все-таки надо было ехать, и он, кажется, начинал настраиваться на разлуку с домом. Но случилось непредвиденное: Дриневского срочно вызвали в Мини-

стерство культуры БССР и сообщили, что из хора его не отпустят, от работы не освободят, и уже в общем-то решен вопрос о его назначении на должность художественного руководителя — в связи с уходом Геннадия Ивановича Цитовича на заслуженный отдых.

«Так что я три ночи не спал, до Москвы не доехал, в конце концов пошел на работу, в народный хор. И остался с ним — наверное, уже имею право сказать, что до конца. С той поры день 1 апреля знаменателен для меня не только как праздник юмора. Потому что именно в этот несерьезный день (кстати, ровно 40 лет назад) я впервые пришел в хор в качестве его руководителя, с особенно серьезным настроением...»

Через три года Михасю Павловичу предложили возглавить Государственую академическую капеллу — детище Рыгора Ширмы. Казалось бы, сбывается мечта его студенческой юности! Но Дриневский отказался. Он просто не мог изменить людям, которые поверили в него. Он три года дышал с ними одним воздухом. Эти люди поддержали его — молодого преемника всенародно любимого Геннадия Цитовича. И Дриневский принял на себя ответственность за всех, кто работает рядом. За дальнейшую судьбу сложного, разноголосого и многоликого творческого организма, каким является академический народный хор.

Академия народной песни

Да, ему хотелось поработать в капелле, и, возможно, в определенном смысле это было бы даже легче. Не возникало бы, например, проблем с репертуаром, ведь для академического хора писал и пишет весь мир, а единственный в своем роде народный коллектив требует и соответствующего уникального репертуара, который не так-то просто искать, собирать, тем более — обновлять. Руководителю часто приходится самому заниматься хоровыми обработками не только аутентичных акапельных образцов, но и авторских песен, рассчитанных на иной исполнительский состав. Кроме того, опираясь на синкретическую природу белорусского фольклора, этот коллектив изначально развивал свое творчество в единстве жанров. В многослойных зрелищных композициях на сцене разворачивается полифоническое действо. Его практически невозможно «поделить на составляющие», его воспринимаешь целиком, ведь общее движение вовлекает в песню и танец всех артистов: поющих, пляшущих, музицирующих, превращая их в универсалов.

Стилизованные мотивы народных игр, старинных обрядов и праздников; эстетика декоративно-прикладного искусства в сценическом костюме; этнографические элементы в хореографии; колорит звучания инструментальной группы — заботы отдельных специалистов. Но в концертной программе, как и в традициях народной жизни, все это — не набор обособленных вещей, а своеобразный художественный сплав, непременно увенчанный песней. И его качество всегда под пристальным компетентным взглядом лидера творческого коллектива. Руководитель-академист, разумеется, подобными хлопотами не обременен.

Летописцы хора подсчитали, что в его репертуарной сокровищнице более полутора тысяч произведений, и ежегодно она пополняется десятками новых фольклорно-этнографических постановок, а также премьер, создаваемых на основе собственной «классики» — сценических композиций из так называемого золотого фонда. «Добры вечар добрым людзям!», «Лявоніха», «Із-за гор-гары едуць мазуры», «У ноч на Купала», «Вясельная сюіта»... За чередой концертных номеров — десятки людей: авторы вокальных обработок, хореографии, музыкальных аранжировок, постановщики, хормейстеры, артисты и солисты хора, балета. И композиторы, которые пишут или писали в соответствующем жанре: Владимир Оловников, Владимир Будник, Игорь Лученок, Вячеслав Кузнецов, Эмиль Носко, Леонид Шурман... В программах с белорусскими песнями неред-



М. Дриневский среди артистов хора.

ко соседствуют и золотинки творчества разных народов. В том числе и тех, что аплодировали нашим землякам во время их гастрольных турне.

В хоре под руководством Дриневского культивируют художественное качество, эстетический вкус и чувство меры. Здесь не ублажают публику сувенирной продукцией «а-ля фольк». Преемнику Цитовича, влюбленному в слово родное и добрую песню, в жизнь и людей, удалось не только придать свежесть обновления творческим постулатам «дзядзькі Генадзя», но и осуществить, казалось бы, невозможное: соединить народность и академизм, синтезировав самобытность, поэтическую образность национального песенного фольклора и высокую культуру классических музыкальных традиций.

Тонкий знаток природы голоса, законов хорового исполнительства и секретов акапельной звукописи, Михась Дриневский создает поистине ювелирные обработки песенных сокровищ, сохраняемых нашим народом. Какую восхитительную огранку придает рука мастера народному белорусскому шедевру «Ночы мае, ночушкі», превращая песню в чистейший бриллиант! Столь же бережно, с пониманием первородной ценности песни, работает мастер над популярными образцами русского фольклора, очищая их от исполнительских штампов и наслоений, искажающих суть народного шедевра. Итог такой работы всегда потрясает. И публика не устает удивляться тому, например, сколько боли, неизъяснимого отчаяния, трагической безысходности раскрывается в пронзительном сюжете хоровой новеллы «Шумел камыш». Это — произведение искусства, не имеющее по сути ничего общего с теми пошлыми заунывными куплетами, что горланит подвыпившая компания.

«В искусстве все надо переболеть. Ничего простого и легкого нет в искусстве, если оно настоящее. Искусство надо выстрадать».

Когда-то Дриневскому надо было выстрадать и свой хор. Народный хор... Это близкая, генетически своя музыкальная интонация, это живое, родное, певучее, поющее и поющееся, песенное слово. Это великое духовное богатство, которое всегда с тобой, ведь оно, как замечает Михась Павлович, и в самом деле впитано с молоком матери. Позже, во время учебы, маэстро познал мир академического искусства, и этот мир уже никогда не отпустит его, постоянно маня своим клас-

сическим совершенством и глубиной. Два мира — народную песню и академическую классику — объединило художественное кредо Михася Дриневского. А вскоре еще один мир открылся для его творческих поисков.

«Ко всему прочему мне давно хотелось освоить музыку церковную. Тем более, что для народного хора она исторически, по сути, — своя! Ведь на самом-то деле в большинстве церквей, и не только деревенских, певчими были не оперные солисты, не музыканты с академическим образованием. Кто в основном пел в церкви? Бабки! Почему бы нашему хору не поднять этот исторический репертуарный пласт? Я поборол собственные сомнения. Обдумал эту идею. Принес ее в хор. И не ожидал, что у нее окажется довольно много противников именно в самом коллективе».

Причина? Пожалуй, она в том, что даже людям творческих профессий бывает нелегко пускаться в поиски, перестраиваться, пробовать себя в чем-то новом. Им чужд энтузиазм. Им гораздо удобнее «отработать свой хлеб» в рамках уже достигнутого и не прилагать особых усилий. Открывая новую репертуарную страницу в своей богатой истории, хор под руководством Дриневского соприкоснулся с непривычной эстетикой и принципиально иным образным смыслом. Артисты-«консерваторы» противились и самой технике исполнения: музыка религиозного содержания требует и другой подачи вокального звука, нежели традиционный концертный репертуар. А еще дали о себе знать некоторые специфические нюансы, связанные с диапазоном народного пения...

«Однако я не отступил. На каждой репетиции стал по чуть-чуть пробовать с хором новый материал. Люди постепенно втянулись в работу. И когда что-то стало получаться, противоречия ушли. Даже у тех, кто поначалу пытался протестовать, пробудился интерес, появился вкус к этой работе, и теперь все с удовольствием поют церковную музыку: только давай!»

Помню, как без малого полтора десятка лет назад на международном фестивале духовной музыки «Магутны Божа» в Могилеве была представлена премьера такой программы. Потрясение, которое пережили присутствовавшие на концерте в костеле святого Станислава, не с чем было сравнить. Могучая природа народного пения, словно сакральное соитие необъяснимой земной глубины и возвышенного небесного трепета, вовлекала слушателя в некий мистический ритуал. Расцветая завораживающими обертонами живых голосов, звучащий поток, напоенный сокровенными нюансами храмовой акустики, устремлялся ввысь величественной Молитвой... Международное жюри конкурсной программы фестиваля устроило тогда хору овацию и единодушно наградило его главным призом.

Помню, с каким благоговением восприняли прихожане православной церкви в Поставах необычный хоровой концерт, состоявшийся там во время традиционного международного фестиваля народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік». Артистам было позволено расположиться перед алтарем. Радушные хозяева поддерживали их выступление аплодисментами, звучавшими в этом храме, возможно, впервые за всю его историю.

С программой сакральной музыки хор становился триумфатором конкурсов и фестивалей в Литве, Польше (Гран-при в Гайновке), России....

Так благодаря Михасю Дриневскому в народном хоре впервые зазвучали белорусские религиозные песнопения, а также образцы русской литургической классики (даже «Литургия святого Иоанна Златоуста» Чайковского!). И зазвучали достойно, убедительно, органично, опровергая мелочные сомнения скептиков. (Один весьма уважаемый и очень авторитетный маэстро позволил себе и вовсе оскорбительное высказывание: дескать, «что эти доярочки смыслят в духовной музыке?». Но услышав премьеру, беспардонный оппонент по достоинству оценил прекрасный эстетический результат, признав свое заблуждение.) С именем Дриневского, кстати, связано и открытие для широкой публики, введение в филармоническую жизнь хоровых партитур гомельского композитора Николая Бутомы. Белорусские исследователи истории отечественной культуры относи-

тельно недавно обнаружили ноты этого автора, писавшего богослужебную музыку для православной церкви…

Но получая вместе с хором особую радость от исполнения церковной музыки, Михась Павлович в самой манере народного пения находит сегодня дополнительные краски, обогащая тембровую палитру неожиданными «звуковыми вспышками», когда сквозь молитвенную строгость, академическую сдержанность ошеломляюще внезапно и всего на несколько мгновений раскрывается во всей полноте природная краса и сила женских альтовых голосов.

Когда на светском филармоническом концерте в исполнении народного хора звучит возносимая к небу молитва, потолок над залом словно расступается, и образуется купол...

Надежда на тех, кому... больно?

Со свойственным ему обостренным чувством справедливости Михась Павлович очень переживает за земляков, уже, можно сказать, в наши дни пострадавших от самоуправства бесчеловечного районного начальника. И времени с тех пор немало прошло, да и начальник тот теперь — бывший. А ничего не забывается, болит.

«Многие годы Тонеж оставался центром: отличный мехдвор, хорошо оборудованные мастерские, основательные хозяйственные постройки, баня... Была вся, как говорится, соответствующая инфраструктура. За то, что на местных выборах здешние люди проголосовали не так, как этому начальнику хотелось, он вздумал отыграться. Единолично принял решение о переносе административного центра в соседнюю деревню, не обустроенную должным образом. Техника там оказалась под открытым небом, доярки отовсюду направлялись «мясіць гной» вокруг коров, стоявших по вымя в грязи. Мало того, что из Тонежа подчистую вывезли общественный скарб (не осталось даже коня!), вдобавок снесли все капитальные колхозные постройки, прошлись бульдозером...»

Жестоко. Глупо. Недальновидно. Откуда такая агрессия, такая воинственная бездуховность? Бездуховность плюс агрессия — это всегда пугает. Особенно опасно, когда и то, и другое пытается проникнуть в массовую культуру и подобраться к душе самого обыкновенного человека, не искушенного в духовных ценностях, не знакомого с большим искусством. Наш герой думает об этом постоянно. Тем более что жизнь все чаще подбрасывает информацию к размышлению, и далеко не всегда оптимистичную в отношении настоящего искусства.



Выступление от БСМД.

Он, конечно же, опечален тем, что пришлось провести весьма болезненную (если не сказать ущербную) для творческого процесса «кадровую оптимизацию». И, конечно, со вздохом (но и с нескрываемым уважением к самоотверженным артистам-подвижникам) говорит о том, как молодые ребята, артисты балета, «выкладываются» за два-три миллиона положенной им зар-

платы. Впрочем, такое положение вещей можно было бы принять как временное явление в нынешней непростой экономической ситуации, ведь жизнь наша, хочешь-не хочешь, состоит из компромиссов. Можно было бы — если бы не унизительное сравнение...

«В хоре даже в самые благополучные времена не было высоких заработков. Но сегодня образовался вот какой страшный разрыв. На эстраде — «пустазелле», безголосица, тексты в песнях иногда услышишь такие, что и повторить стыдно (а дети малые слушают и повторяют) . И нет никакой цензуры на нецензурные слова, и это тиражируется, и это дорого стоит, и на этом жируют. Наше высокое профессиональное искусство с богатым духовным содержанием так не живет. В стране есть достойные фестивали, не менее двух-трех десятков, разных жанровых направлений: республиканского уровня, областного, регионального и местного, для взрослых участников и для детей, праздников с многолетними традициями и новых. Но о них редко рассказывают с экрана, мало пишут: все застит какая-то «мутная плынь». Высокий и чистый дух некоммерческого искусства, образцы классической культуры и красота традиций нашего народа тонут в потоке так называемой масскультуры. И почему за бездуховность, за ее «раскрутку» в явной или скрытой рекламе, платят в десять раз больше? Этот идеологический СПИД, распространяясь, поражает и вкусы, и души людские!

Как-то в поездке с одним композитором «попсовым» не один час общался. И не в обиду ему говорил, что все эти эстрадные пустышки можно назвать одним крепким народным словом. Только классическое искусство остается как образец и чего-нибудь да стоит на самом деле. Он вроде бы соглашался, никаких возражений не находил, кроме одного: «Зато я — богатый! Знаешь, сколько отчислений мне капает из каждого уголка за то, что где-то там прозвучала моя песня?» Тут уж он действительно прав.

И вот что происходит. Несмотря на четко отлаженную еще в советское время систему музыкального образования, которой Беларусь всегда гордилась, дошло до того, что в последние годы уже практически нет конкурса при поступлении в музыкальные учебные заведения! Сам я поступал в консерваторию при конкурсе восемь человек на место. Сегодня на некоторые специальности педагоги готовы зазывать абитуриентов и даже проявлять определенную снисходительность на вступительных экзаменах, чтобы прием состоялся хотя бы в соотношении «один к одному». Существенная причина такой ситуации, что бы ни говорили, вот в чем. Человек, окончивший творческое высшее учебное заведение (а еще раньше он, скорее всего, получил по своей специальности среднее образование, учился с юного возраста), выходит на работу и получает зарплату в размере его скромной студенческой стипендии или равную минимальной пенсии. В том числе и в нашем хоре, имеющем статус Национального и Академического! Артистам, да еще если это и кормильцы семьи, надо просто жить, как всем людям. В достойных жилищных условиях. Получая достойную зарплату».

Разумеется, руководителю не должно быть стыдно смотреть людям в глаза, сознавая, что у самого заработок не настолько велик, чтобы можно было поделиться с артистами (кстати, сегодня хор — это 132 творческих и административных сотрудника). Руководитель должен быть спокоен за материальный комфорт каждого работающего рядом. Не должен он тревожиться и за творческое будущее коллектива. Легко сказать, когда есть адекватный преемник. А если таковой пока не найден? Мастер — в поиске. Где искать, как разглядеть уникального человека, подвижника, способного работать, а точнее — служить искусству именно здесь, на этом непростом и единственном в мире месте? Кому безо всяких «но» можно доверить столь необычный хор?

«Я уже давно преподаю и замечаю перемены в новых поколениях студентов. Не все они радуют своим отношением к учебе, к профессии. Ощущение такое, что пришли они не в музыку, а за дипломом. Ждут от жизни не увлекательных

творческих дел, а быстрых легких денег, пресловутой «халявы». Редко найдешь и вокальный самородок под стать, например, нашей Валентине Крылович... Вспоминаешь себя молодым. Мне всегда времени не хватало, когда включался в работу. Я когда-то страшно много курил, три пачки в день — как норма. Но стоило выйти к хору, я забывал об этой привычке напрочь, мог часами работать без перекура, и положенного времени мне, повторюсь, было мало. В творчестве — как дома: «спраўны гаспадар» всегда для себя работу найдет, и никогда она у него не кончается, и никогда он все не переделает. Я привык так жить. Поэтому когда видишь безынициативных людей, работающих от звонка до звонка, для которых «перекур — это святое», задумаешься: можно ли среди них найти своего преемника?

«Апантаных» мало. Больше меркантильных и прагматичных, которым удобно отсидеться за спиной руководителя, привыкшего не спихивать все проблемы на тех, кто помоложе, а нести на себе ответственность за все. Поэтому надежда у меня только на тех музыкантов, которым «баліць за ўсё». За родную песню. За неустроенный быт своих товарищей. За судьбу хорового искусства».

Посеять — и ждать

Фестивалей, на которых побывал Михась Павлович со своим хором, — не счесть! «Кліч Палесся» в Лясковичах, где маэстро Дриневский однажды представил премьеру календарно-обрядовой композиции, продирижировав необыкновенным сводным хором, в состав которого вошли профессиональные столичные артисты и четыре (!) народные коллектива с Гомельщины. «Дняпроўскія галасы» в Дубровно, что на Витебщине, «Сожскі карагод» в Гомеле, «Зямля пад белымі крыламі» в Мозырском районе, региональный фестиваль песенного искусства на приз Дриневского в Лельчицах. А еще — «Звіняць цымбалы і гармонік» в Поставах, самый, по мнению Михася Дриневского, народный фэст.

«Он ежегодный и проводится на протяжении уже многих лет. Все наши народные инструменты там звучат, а в их многообразие еще и живой человеческий голос вплетается: в песнях, в частушках. Народные таланты соревнуются в конкурсе «Хто каго?». Единственный в своем роде, этот праздник привлекает гостей даже из-за океана. Молодцы поставчане! У них есть единственная в своем роде традиция. Она украшает их жизнь. А город получает известность и почет.

Вот, кстати, в соседней России, где мы много и успешно выступаем, есть немало городов и примечательных уголков, в которых фестивали становятся особой достопримечательностью. Только в течение последних сезонов хор был гостем фестиваля «Наши древние столицы» в Костроме, посетил Всероссийский праздник пушкинской поэзии в Михайловском, пасхальные концерты в Смоленске, международный фестиваль культур «Территория мира» в Калининграде. В начале этого месяца нас вновь пригласили москвичи — выступить с концертом на официальных торжествах в ознаменование Дня единения народов Беларуси и России, после чего — концерт в Смоленске...»

Разговор с Михасем Павловичем о фестивалях всегда рискует перейти в бесконечность. Особенно если затронуть так и не решенную, долгие годы считавшуюся актуальной для Беларуси, проблему строительства Певческого поля и регулярного проведения республиканских праздников песни. Мы об этом, разумеется, поговорили. А потом, сменив тему, переключились на подробности нового проекта — «Хоровое вече».

«Эта акция приурочена к самому главному нашему государственному празднику — Дню Независимости Республики Беларусь и пройдет на высшем государственном уровне. К тому времени уже состоятся торжества в честь 70-летия Великой Победы. Но эта тема прозвучит и в нашей программе,



М. Дриневский поздравляет вокалиста-лауреата С. Казакевича.

тем более что она перекликается с двумя историческими событиями, которые мы вспоминаем 3 июля: освобождение Беларуси от немецко-фашистской оккупации, освобождение Минска. Но главным пафосом «Хорового веча» станет мир, тема созидательной жизни, самобытный образ родной Беларуси, красота, душевность, дружелюбие наших людей.

Произведения, отобранные для большой концертной программы, будут разосланы по всей стране коллективам-участникам. Среди них и государственные профессиональные хоры, и учебные, студенческие, школьные, любительские, детские — всего, предположительно, 25 коллективов, полторы-две тысячи исполнителей. Будет и симфонический оркестр — наш Государственный академический. Соберется «Хоровое вече» на площадке у минского храма Всех Святых. Предстоит ее обустройство, сооружение сценической площадки. Важно, чтобы появилось и 300—400 зрительских мест для пожилых людей, которые просто не смогут посмотреть всю программу стоя. Вообще-то о подробностях пока говорить рано. Главное сейчас — достойно подготовиться. Чтобы «Хоровое вече» стало не просто большим концертом, а прозвучало как своеобразная и светлая молитва за Беларусь, подарив людям незабываемый праздник».

* * *

«Ничто так не объединяет, как искусство, тем более — хоровое. Оно — как золотой мост дружбы между людьми: теми, кто поет, и теми, кто слушает. Я убежден, что народ изголодался по настоящей культуре. Люди устали от той «продукции», которой засорен, замусорен эфир. Они хотят нормальной живой музыки. Белорусское традиционное песенное творчество поддерживать нужно, чтобы оно жило не само по себе, чтоб и по радио, и на телевидении шире звучало. Сегодня на экранах, а значит, в людском сознании, правит бал массовая культура. Еще живут в глубинке коренные носители традиции, но в основном это люди преклонного возраста, и они не вечны. Сохранение культурной, языковой белорусской самобытности — проблема серьезная, и она должна быть заботой государства. Вообще же хор — островок нашего национального творчества, белорусской песенной культуры, которая вся, а не только сугубо церковная музыка (ее мы сегодня много поем), — вся духовная! В ней— наша неповторимость, наш менталитет, наш народ, наша будущность».

Михась Павлович рассуждает, «берет паузу», на минуту задумывается, что бы еще добавить о творческих планах... И добавляет: «Пока человек живет, он планирует. Планирует сеять и жать. Как на земле — так и в искусстве».

Светлана БЕРЕСТЕНЬ

Фото автора, а также из личного архива Михася Дриневского.

Искусство суждения

ГЕОРГИЙ КИСЕЛЕВ

«Нам ли нужна благодать?»

«Я — старый коршун»

Стихи рождаются дважды — под пером стихотворца и, если повезет, в сознании читателя. Именно там они обретают свою реальную жизнь. Именно на это второе рождение своих произведений перед глазами вдумчивого читателя и надеются поэты. Иначе стихи — просто знаки, просто иероглифы на книжной странице.

И больше всего на такую реальную жизнь в читательских сердцах претендуют те стихотворцы, для кого поэзия как воздух, которым они дышат, не замечая этого, те, кто отдал этому славному и одновременно странному занятию не пять-шесть лет взбалмошной молодости, а всю жизнь. И хорошо, если их ожидания сбываются, а если — нет? Каково-то им теперь, на закате лет, оказаться без читателей, осознать тщетность своих надежд на признание, пагубность своих честолюбивых замыслов?!

Для одного из старейших русских поэтов Беларуси Юрия Фатнева в оценке итогов своей работы в поэзии важен прежде всего масштаб признания. Что ему одинокий, взыскательный и неведомо где живущий читатель! Тот самый, который воспринимает поэзию как чудо, как глоток живой воды, как подарок свыше. Ему подавай когорты и легионы читателей в своей стране и сопредельной!

Я тот, который не прочтен Россией.
Ни шепот не расслышала, ни гром.
А будет, будет изгнанного сына
Усыновлять, как мачеха, потом.

А мне брести по всем векам бездомно
И знать, вернуться некуда домой.
И только сосен стародавний гомон
У Дятлович напомнит голос мой.

Из книги «Еще оглянусь на Отчизну...» (2002)

Впрочем, может быть, у поэта есть убедительные основания для претензий если не на мировую, то хотя бы на российско-белорусскую славу. Давайте неторопливо и пристально вчитаемся в него.

В книге «Седые небеса» (Издательский дом «Звязда», 2014, с. 432) ее составитель М. З. Башлаков, видимо, собрал все самое значительное из написанного Юрием Фатневым за пятьдесят с лишним лет его творчества, распределив стихи по разделам соответственно годам издания очередных книг поэта от первой, в 1962 году, до предпоследней — в 2002-м. Даже просто прочитать эту книгу в 430 страниц — и то большой труд, если читать вдумчиво, а написать ее — труд в сотни раз больший. Но все ли выходит за рамки труда в «творчество и чудотворство» (Б. Пастернак)? Хотелось бы, чтобы как можно больше, не только автору, но

и его читателю, в том числе и мне, грешному, поскольку я взялся оценить новую книгу поэта с точки зрения взыскательного читателя, имеющего художественный вкус, выверенный годами чтения именно поэзии. Но об этом немного позже.

Крылатость поэта, окрыленность его поэзии — один из живучих и расхожих штампов поэтического сознания. Чем-то творец звучных строк должен же отличаться от простых людей, не умеющих срифмовать даже «любовь» с «кровью». То ли дело топчущий грешную землю небожитель в крылатке, как назывался плащ в пушкинское время. Крылатка развевалась при ходьбе за спиной, словно настоящие крылья. Уж не возродить ли нам ныне эту форму одежды, исключительно для поэтов? Как Вы думаете, читатель?

Отдал дань образу окрыленности и Юрий Фатнев. В стихотворении «Коршун» он изображает старую, но еще матерую дикую птицу, аллегорически провидя в ней поэта, перешагнувшего рубеж старости.

Вы видели гнездо? Я видел окоем
И достигал не раз в судьбе своей зенита.
Хоть, правда, тяжело. Но вас смахну крылом!
Почувствуете вы — и вправду из гранита!

Из новых стихов (2002—2011)

Казалось бы, бессильный и дряхлеющий коршун достоин и уважения, и сочувствия. А «птичья мелюзга», торжествующая свою силу и галдящая вокруг пернатого старца, может рассчитывать разве что на презрение. Но, наверно, среди этой мелюзги — и дрозды, и скворцы, и жаворонки, и соловьи, да пусть даже воробьи, но у каждого свой неповторимый голос и свое место в оркестре природы. Эта мелюзга певчая, а хищный коршун способен издать лишь хриплый гортанный крик, а может быть, вообще молча кидается сверху на свою жертву. Кто должен быть более любезен поэзии? Кто поет от избытка крохотного сердца или кто кричит, устрашая своим криком? Так в самом замысле опоэтизирования коршуна кроется неверный и сомнительный посыл.

Мне кажется, фигура коршуна выбрана поэтом в угоду ее величине. Крупный поэт и крупная птица. Крупную скорей заметят, а кто там щебечет в листве — бог весть! Установка на значительность проглядывает из многих стихов Юрия Фатнева.

Из-за этого стихотворного пьедестала коршуну можно подумать, что поэт пренебрегает другими птицами. Но нет, есть у него стихи и о брянских соловьях, и о журавлях, и о горлинках, и о кукушках, но все они созданы в более ранние лета, а вот для создания образа поэта в старости показался Юрию Сергеевичу более притягательным коршун. Но, повторюсь, этот образ лично для меня неубедителен.

Гораздо естественнее развертывается образ окрыленности в стихотворении об ангеле.

Ангел, блуждающий в русских полях,
Ангел с подбитым крылом.
Гонит надежда тебя или страх
В сумерки за окном?

Мимо в редеющем березняке
Грузовичок пробежит.
Не замечая тебя вдалеке
Или же делая вид.

Может, напрасно ты в этом краю
Верить учил в благодать.
Но сквозь опасную рану твою
Всю мне Россию видать.

Из книги «Птицы ночи» (1994)

Здесь — ни прибавить ни убавить. Строки золотой чеканки. И образ неимоверной проникновенности в судьбу России. И простор мыслям, и зримость картины. Несомненная удача поэта. Словам тесно, а мыслям просторно. Оказывается, может писать поэт в полную силу дарованного Богом таланта.

«Неслыханная речь»

А теперь я хотел бы познакомить Вас, читатель, со стихотворением «Седые небеса», давшим название книге. Уж верно, в нем мы найдем самые заветные мысли автора о прошедшей жизни, о своей неповторимой судьбе, отразившейся в трех сотнях стихов?

Я еду час и два, я еду день-другой —
Седые небеса над Брянскою землей.

Я часто забывал, что жизни есть предел
И поздно разглядел, что сам я поседел.

Похож на небеса своею сединой,
Как будто это я — над Брянскою землей.

И где ни подниму в дороге я глаза —
Седые небеса, седые небеса!

Не спрашивайте тут: «А как дела идут?»
Недавно дождь прошел. Опять дожди грядут...

Хватало гроз вполне. На то и шли дожди,
Чтобы сухим не мог я выйти из воды.

И молнии могли давно до строчки сжечь,
Но Богом мне дана неслыханная речь.

И выскажу я все, о чем молчат со мной
Седые небеса над Брянскою землей.

Седые небеса, седые небеса,
Которые забыть и запретить нельзя!

Из новых стихов (2003—2011)

Поэты знают, что двустишия со смежными рифмами пишутся легко, и кажется, стихотворение само катится по лесенке строк, только записывать успевай. Вот где необходим строгий контроль над набегающими мыслями и образами, вот где важно не написать лишнего! В данном случае поэт, кажется, совладал со своими эмоциями. И ни одного двустишия вычеркнуть невозможно.

Грустное стихотворение, даже больше того — жалостливое. В жизни поэта, как он признается, хватало и дождей, и гроз, и не только натуральных, но и в переносном смысле, и зачастую он промокал до нитки, хотя пытался выйти сухим из воды. Словом, судьба как у всех, заурядная, если бы только Бог не одарил неслыханной речью, вернее способностью эту речь слышать и записывать. Жаль, что нет двустишия, которое бы показало, как этот дар поэт употребил. Вместо будущего времени («Выскажу я все...») меня, как читателя, более устроило бы прошедшее («И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал...»). То есть, вполне бы уместна была оценка и собственного творчества, и пройденного пути под не всегда «седыми небесами».

Вместо итога нам предлагается обещание. Дай Бог, чтобы поэт его выполнил. Вопрос — успеет ли? Ведь он находится в том благословенном возрасте, когда не только каждый год жизни, но и каждый день воспринимается как подарок, зачастую незаслуженный. Честнее было бы уже ничего и никому не обещать и надеяться разве что на Господа.

Вот и мелькнули у нас перед глазами эти слова — Брянская земля. В определенном смысле выше прочитанные стихи — это географическое самоопределение сердца поэта.

Так кто же он такой по внутренней своей сущности — брянский поэт, живущий в Беларуси?

Здесь осталось всего три-четыре
Человека, что помнят меня.
Никого у меня в этом мире,
Только Брянск, только Гомель — родня.

Разрываюсь всю жизнь между ними.
Как поладить с собой в этот миг?
Этим вечером необходимо
Мне присутствовать в каждом из них.

Из новых стихов (2003—2011)

Что ж, так бывает. Тем более что Брянск и Гомель на планете не так уж далеки друг от друга. И народная жизнь и там, и тут практически мало чем отличается. Те же деревни, те же поля и леса, те же заботы гложут сельчан и горожан. И говор похожий в деревнях.

А до этих двух привязанностей души много где довелось пожить Юрию Фатневу. В становление поэта внесли свою лепту и Казахстан, и Монголия, и Кавказ, и Украина. А уж деревень, сел, местечек и районных городков проехал он видимо-невидимо и наиболее интересные остановки описал в стихах, иногда похожих на впечатления краеведа, а порой и странника. Вот только после 2003 года побывал он в Москве и Алма-Ате, заглянул в Старые Дятловичи и Унечу, в Бежицы и Вщиж, в Трубчевск и Стародуб, в Санкт-Петербург и Тимоновку, — и все эти города и пункты упомянуты им в стихах как детали его путешествий, так же как и речки: и Сож, и Беседь, и Ипуть, и Уборть, и Припять, и Десна. Упомянуты, но не воспеты как дорогие сердцу и памяти.

Возьмем одно из этих стихотворений наугад, но какое покороче и попроще. Вспомним общеизвестное: краткость — сестра таланта. А простота — сестра мастерства.

Опять Десна кружит у Бежицы,
Во сне тумана острова.
И от давно забытой нежности
Моя хмелеет голова.

Волнует что-то несусветное.
Уже поверить я готов:
Когда-то жил на белом свете я
И слышу давней жизни зов.

И вспоминаю бестревожно я:
В троллейбусе, летящем вдаль,
Какие-то смешные рожицы
Я на окошке рисовал.

И люди чересчур серьезные
Крутили пальцем у виска.

Сегодня спохватился поздно я,
Промчались с той поры века.

Давно стекли по стеклам рожицы,
Стекли потоками дождя.
И тех людей серьезных множество
Прошло без всякого следа.

Все эти мелочи несметные
Куда-то мигом унеслись.
Когда-то жил на белом свете я,
Не замечая — это жизнь.

Из новых стихов (2003—2011)

Как поэт я прежде всего обращаю внимание в этом стихотворении на его внешний вид — рифмы. И замечаю, что по одежке стихотворение могло бы выглядеть поприличней. Рифмы неточные, да еще и с чужого плеча, а именно с плеча Евгения Евтушенко в пору его поэтической молодости. Обилие проходных строчек, инверсий. И содержание незначительно не потому, что автор вспомнил малозначащий факт из своей прошлой жизни: когда-то рисовал смешные рожицы на окнах троллейбуса, — а потому, что здесь нет вообще повода для поэтического высказывания. Если этот факт из прошлого поэта и есть повод, то тогда где обобщение, вывод, сама суть высказывания? Для чего оно написано? Только чтобы вздохнуть, что лирический герой жил когда-то в Бежице легковесно, не ценя жизни? Но выражено это так неказисто, так косноязычно для поэта!

Да и по строчкам столько слов, брошенных вскользь, без всякого обоснования! «Давно забытая нежность» — к кому или к чему? Больше эта нежность в стихотворении не встречается. И вообще, автор не использовал до конца промелькнувшую антитезу смешного и серьезного, каким же он сам-то стал в итоге жизни, как он теперь смотрит на себя прежнего из нынешнего времени?

А смотрит Юрий Фатнев на себя, возможно, из будущего, в котором его как плотского человека уже нет. Он прощается со своей жизнью, начиная еще с девяностых, довольно часто и на разный лад.

Я впал в бесконечную дрему,
И много потом было зим.
А люди идут, как к живому,
И спорят, как будто с живым.

Соль сыплют на давние раны,
А раны устали болеть
Но все же, как крест деревянный,
Я что-то скриплю им в ответ.

Опомнитесь, люди! Я умер.
Не встать мне уже из земли.
Что толку во всем вашем шуме?
Пока был живой, вы не шли...

Из книги «Птицы ночи» (1994)

Ну что ж, тема не нова: забвение при жизни и запоздалое признание за ее гранью. Сколько поэтов переболело осознанием этой истины. Помнятся мне с юности строки одного русского поэта:

Мне кажется: придет признанье,
А я уж прорасту травой.
Так было не с одним в России,
Так будет не с одним со мной.

Каждый истинный поэт осознает этот печальный факт, что пишет он не для ныне живущих людей, а для будущего. Во-первых, потому что значительная часть читателей ныне от серьезной поэзии отвратились в пользу дешевого развлекательного чтива. И не менее значительная часть кинулась с головой в собственное творчество, не сильно заботясь, есть у них Божий дар или нет. Только зайдите на сайты стихи.ру и проза.ру, — и Вы утонете в этом море самовлюбленного стихотворства, весьма далекого от мастерства и духовности.

А во-вторых, по словам Сергея Есенина — «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье». На расстоянье одной жизни или жизни поколения, даже на расстоянье столетия.

Однако не все поэты об этом твердят в своих стихах. Собственно говоря, нескромно жаловаться на равнодушие к тебе современников. Ведь, возможно, оно не беспочвенно, если не сумел ты задеть сердца людские своими строками. Надо соблюдать хоть какую-то меру в своей самооценке, чтобы не зашкаливала она выше приличия. Увы, Юрий Фатнев убежден в недооценке своего творчества современниками. И не перестает то и дело упрекать в этом весь белый свет.

От Монголии и до Карпат
Видел столько в судьбе своей странной,
Что невиданно стал я богат...
Одного не увидел — признанья.

Я по жизни прошел без обид
Невидимкою в облаке пыли.
Ни в степи, ни под сенью ракит
Не любили меня, не любили.

Что с того, что был горд, словно князь,
Ведь никто в благородство не верил.
И стихи осыпались, как с вас
Петушиные, яркие перья.

Нет, пиитам мы тем не сродни,
Что кудахчут подобно наседкам,
А высиживают лишь чины…
Не разбудишь кудахтаньем века.

Лучше лиха хлебнуть на веку.
Голоса нам даны на погибель.
Но пока не свернули башку,
Не сорвем до предсмертного хрипа!

Голосите на весь белый свет
Так, как прежде не голосили.
Как-никак умирает поэт,
О котором молчала Россия.

Из книги «Птицы ночи» (1994)

Стихи на тему своего призванья и признанья просто обязаны априори быть совершенными: и рифмы, и образы, и стиль. Я уже не стану вторично доказывать, что всему этому далеко до идеала. Меня здесь поражает непреодоленная до преклонных лет гордыня, в которой автор все же признается как о прошлом своем

качестве: «*был горд, словно князь*». Но она никуда и не делась, потому как другие поэты обрисованы пренебрежительно: кудахчут, высиживают чины. Прямо-таки все поголовно?! Есть же ведь и такие скромники, которые не лезут в журналы и издательства со своей продукцией, а уповают на волю Божию в этом вопросе. Но Юрий Сергеевич всех записывает в разряд кудахчущих.

«Я собираю Родину по строчке»

Прямо так вот «Россия и молчала» о поэте Фатневе? Ой ли? Согласно признанию самого Юрия Фатнева в предисловии, Самуил Маршак, которому автор посылал свои первые опыты, наверно, не зря приветствовал юного поэта. Почитаем же стихи из раздела «Из первых книг» (1962—1970). Все они достаточно немногословны, конкретны и, как правило, раскрывают какой-то один образ. Даже одни названия говорят сами за себя: «Подснежник», «Март», «Осенние стога», «Камни», «Майка». Вот одно из лучших стихотворений того первого восьмилетия творчества:

Оранжевая сосенка прикрыла
Засыпанный иголками снежок.
А в небе жаворонка лепет милый,
Как будто детства чистый голосок.

Нет, не уйти из бора мне до ночки,
Не оторваться от минувших лет.
Я собираю Родину по строчке,
Как первые подснежники в букет.

В книге «День прозренья» (1978) Юрий Фатнев еще более развил образную силу своего творчества. В стихах под названием «Вщиж», «Кудеяров лог», «Родник святого Нила» уже появилась историческая даль времени. А мне понравилась лирика.

Ой, туманом задымились дали!
Я глядел, глядел во все глаза.
В дальнем поле Аннушка бежала,
Золотая от заката вся.

Глубоко вонзилось в душу жало,
Словно счастье выпустил из рук.
В дальнем поле Аннушка бежала —
Через годы вспомнилось мне вдруг.

А следующее стихотворение из книги «Костер на пристани» (1983), книги тоже достаточно цельной и обживающей духовно просторы ближней России. Это стихотворение редкое по силе гражданского самосознания поэта (правда, оно тоже несовершенно):

Опять под березою кружка
До краешка соком полна.
Считает мне годы кукушка,
Считает с утра до темна.

Какая земля мне досталась!
Взамен ничего не проси.
Я крикну, не веря в усталость, —
Лишь эхо пойдет по Руси!

Я русский! Я радуюсь чуду!
Пусть ломит столетие, пусть!
Но я никогда не забуду:
Моя родословная — Русь!

Грозите мне адом и раем,
Зажмите в железо, в бетон,
А я все равно вырастаю
До звезд из минувших времен!

Пусть стану песком или глиной,
Но все же из русских небес
Не вышибить клин журавлиный
Тоски, пролетающей здесь.

Погибну — не надо закуски
В хмелеющий день похорон.
Ах, все потому, что я русским
На этой планете рожден.

И скажут друзья: дескать, кружка
Мной выпита в жизни до дна.
Считает мне годы кукушка,
Считает с утра до темна.

Лирический герой предпочитает вырастать до звезд в одиночку, надеясь только на себя. Этакий фольклорный герой-богатырь. Но это так, попутно. А вот чего я не понимаю, так следующего утверждения: «Погибну — не надо закуски в хмелеющий день похорон». Странное завещание.

Конечно, всем известна эта древняя поминальная традиция русских людей: не закусывать после первой рюмки (кружки) и после второй, а после третьей совестливо положить в рот кусочек хлебушка, что хорошо описано М. А. Шолоховым в том эпизоде повести «Судьба человека», когда ее герой, заключенный фашистского концлагеря Соколов соблюдением этого ритуала перед немцем-комендантом проявляет достоинство русского человека, поставленного в нечеловеческие условия жизни. Возможно, Юрий Фатнев, вспомнив эту живучую традицию, и советует загодя тем, кто будет устраивать по нему поминки, не заботиться о том, что поставить на стол. Главное, чтобы было что выпить. Этим пожеланием автор как бы пророчит, что на его поминках соберутся люди с настоящим русским характером, имеющие привычку «закусывать рукавом». Тем самым автор как бы повышает степень русскости и самого себя, и своей поэзии. Но мне кажется, что, делая упор на этой негласной традиции, поэт сужает понятие русского национального характера до обыкновенного рукава, из какого бы материала он ни был.

Не очень понятно, как это «ломит столетие». Наверняка, здесь слово «ломит» употреблено в каком-то местном, областном значении, непонятном уроженцам других краев. Мне кажется, от такого местничества в стихах, рассчитанных на общерусского, а тем более белорусского читателя, стоило бы воздерживаться.

И еще одно стихотворение этого раздела показалось мне замечательным из-за своей общественной ценности, так как автор выходит в нем на обобщение, вызывающее в читателе патриотический резонанс. Вот оно:

Вагон скрипел от перегрузки.
Вдоль рельс по краешку земли
В платках, повязанных по-русски,
Старухи с косами прошли.

Прошли, на поезд тени бросив,
Туда, где смолк кукушки зов.
И солнце плавило их косы,
Что пережили мужиков.

Их мужиков война сгубила.
Детей сманили города.
И если в них не гасла сила —
Она осталась для труда.

Не повернули строгих ликов
На мимолетный стук и гром.
За годы долгие привыкли:
Другою жизнью мы живем...

Туда, где их заждался август,
Где росно стыли холода,
Старухи с косами спускались,
Как будто в землю уходя.

Их скрыли травы луговые,
Над головами их сойдясь...
А может быть, сама Россия
Прошла сегодня мимо нас.

Тема необыкновенно важная: тяжкая участь вдов, творящих всю работу на земле вместо убитых на войне мужей. Автор увидел в процессии женщин, идущих на косьбу мимо поезда, символ самой России, ее деревень, в которых на два-три десятка баб приходились в послевоенное время два-три, а то и один ***мужик***, да и то зачастую покалеченные на фронте. Сам я в детстве жил в такой деревне, где артелью управлял пожилой человек, непригодный к военной службе, а парней не было ни одного, только подростки. Помню, ранним утром он ходил по деревне, стучал в окна и вызывал женщин на работу, и летом вот так же бабы нашей деревни с косами на плечах шли в луга, запевая по пути песню старинную и непременно горькую, какую пели еще их матери и матери их матерей. Иногда мама с бабушкой брали на сенокос и меня, особенно когда сгребали уже сухое сено, и можно было покувыркаться на стожках.

Вот поэтому меня и зацепило это стихотворение, вызвав в памяти образы такого далекого детства. Конечно, я увидел больше и ярче, чем позволило мне само стихотворение, довольно небрежно написанное. Многие слова и выражения здесь просто лишние и никак не относятся к теме стиха. При чем тут перегрузка вагона, о которой дальше ни слова? Явно «перегрузка» понадобилась для рифмы к слову «по-русски». Причем тут «краешек земли»? Это словосочетание обычно вызывает ассоциацию с Крайним Севером, Дальним Востоком или Камчаткой. Поэт, очевидно, имел в виду откос, обочину или полосу отчуждения вдоль железнодорожного пути. Но «земли» ему тоже понадобилось для рифмы к «прошли».

Не понимаю также — зачем здесь «кукушки зов», который тоже никак не обыгрывается. Вот если бы кукушка пересчитала вдовьи годы старых женщин — тогда понятно, зачем она упомянута во второй строфе. «За годы долгие привыкли» — к чему? «Другою жизнью мы живем» — тоже строка требует пояснения. Кто такие — «мы»? «Росно стыли холода» — как холод может стынуть? На холоде могут стынуть кто угодно — и бабы, и лирический герой стихотворения. Но сам холод — это и есть стылость, то есть соль соленая, а сахар сахарный, тавтология. А уж «август — спускались» — это вообще не рифма. Так и не понятно, куда же спускались старухи, в овраг, в лог, с холма в долину.

Самая крепкая строфа — последняя. Вот если бы на этом уровне были написаны и остальные пять, то этому стихотворению не было бы цены. А так благодарность автору за намерение, за тему, а за исполнение — вздох сожаления.

«Нам ли нужна благодать?»

Чтобы объять читательским взором этот 400-страничный фолиант, из каждого раздела книги я выбираю одно стихотворение, которое наиболее мне пришлось по душе. Следующий раздел книги «Седые небеса» содержит стихи Юрия Фатнева, изданные в 1983 году под заголовком «Лунный час». Здесь мое внимание привлекли стихи с чертами автобиографии: «Дороги детства», «Кино», «Отец», стихи о юношеской любви «Дочь Тарзана», «Зной». О любви в более зрелые годы — «Ночь в далеком городке», «Лесная птица», «Ты — Индия».

Стихотворение «Дороги детства» напомнило мне повесть А. П. Чехова «Степь», в которой отражены впечатления мальчика Егорушки во время многодневного путешествия по степным просторам южной России. И много в этом повествовании таких деталей, с которыми перекликаются и строки Юрия Фатнева, как, например, эти:

Бывало, в детстве я глаза открою:
Стоит телега в дебрях темноты.
И с губ коня свисает надо мною
Сквозь сон охапка Млечного Пути.

...Мне не сдержать зловещей, жуткой дрожи,
Но снова слышен мерный скрип колес,
Впиваются в подсолнухи окошек
Во мраке руки сосен и берез.

Идущий рядом обернется кто-то,
И озарит цигарки огонек:
На круп коня, влажнеющий от пота,
Прилип кленовый золотой листок...

Из семи строф я выбрал для показательного примера только три. Что и говорить, есть у Юрия Фатнева зоркость образного зрения: и охапку звезд у конской морды, и лист клена на крупе лошади — все видишь словно наяву. Но вот во второй строфе есть с чем не согласиться. Дрожь не может быть зловещей. При всем усилии воображения я не могу этого представить. Тем более дрожь ребенка. Нагнетать страх на впечатлительного читателя тоже надо умеючи. Достаточно и жуткой дрожи.

И образ впивающихся в окна рук деревьев тоже весьма сомнителен. Можно ***впиться*** в какую-либо картину взглядом, натурально впиться во что-то губами, ртом, жалом. Но руками можно только ***вцепиться.*** Да и зачем деревьям цепляться за подсолнухи окон? Вот если бы автор написал, что руки деревьев теребили подсолнухи окон, — то это был бы яркий образ деревьев, выступивших на миг из темноты под светом окон. Но автор недодумал мелькнувший в воображении образ.

К сожалению, такое соседство точности зрения с приблизительностью его воплощения в словах — типичная черта стиля Юрия Фатнева. Не знаю, в чем тут дело. Может, в торопливости письма. Мелькнули в голове какие-то строчки, и поэт, боясь забыть, тут же их записал, а после уже боится тронуть, потому что доверяет и вдохновению, и первому впечатлению от увиденного, и первой своей мысли по этому поводу. А мастерство ведь заключается совсем в другом: спустя какое-то время взглянуть на свое стихотворение как на чужое и отредактировать его. Не случайно многие мастера поэзии выдерживали свои стихи в ящике стола не только дни, но месяцы и годы. И без жалости правили их, если замечали изъяны.

Выпускал книгу «Лунный час» Юрий Фатнев уже в сорокапятилетнем возрасте. Возраст зрелости. В этой книге ему, мне думается, уже недостаточно было

показать яркость своего поэтического зрения — захотелось проявить широту своих интересов, зарифмовать свои впечатления от явлений общечеловеческой культуры, от картин и альбомов с репродукциями знаменитых художников прошлого, но почему-то все западных — Констебл, Милле, Модильяни. Желание похвальное, оно, может быть, совпало и со временем знакомства с произведениями этих корифеев живописи широкой российской публики, выставок их наследия в Москве и Ленинграде, издания альбомов.

Ах, но писать о мастерах живописи надо тоже мастерски! То есть, даже рифмы должны быть первоклассными, а не такими: *купишь — губы, Констебла — слепо, славе — гавань, садитесь — подождите, четко — щеки, хвалу — кораблю*. Да и содержание этих стихов не позволяет понять, чем же эти художники близки самому поэту, какое влияние они на него оказали, к каким нетривиальным мыслям привели. То есть, непонятно, для чего эти стихи вообще написаны. Разве для этого признания?

...В Бежице лают собаки,
Мчится троллейбус на мост.
Здесь мне приходится всяко,
Но не заезжий я гость...

...Так до последнего срока
Нам ли нужна благодать?
Как хорошо одиноко
Джона Констебла листать.

Подумаешь, сколько людей ныне своим старанием вести праведную (т. е. правильную) жизнь стараются снискать у Бога благодать! А вот автор этих строк сомневается, нужна ли ему вообще эта духовная субстанция. Может, лучше и без нее, а достаточно лишь полистать художественный альбом — и душа напитается покоем и радостью? Но, может быть, автор, близясь к возрасту библейского Мафусаила, думает теперь совсем иначе. Тогда почему он не поправил стихи себя сорокапятилетнего?

«Я впал в бесконечную дрему»

Следующую книгу стихов «Птицы ночи» поэт издал, когда ему стукнуло уже пятьдесят шесть. Еще достаточно благотворный возраст для творчества. Зрелость уже с избытком. Какими же откровениями одарил своих читателей Юрий Фатнев в эту пору своей жизни? Не примите этот вопрос за риторический.

В этой книге он уже начинает подводить итог своему творчеству, как говорят математики, в первом приближении. А точнее — начинает стращать читателя своим уходом. Давайте вернемся к уже цитированному в начале статьи стихотворению «Я впал в бесконечную дрему».

Пока человек находится в дреме, пусть бесконечной, он еще живой, хотя и невменяемый. Может быть, люди-то хотели его разбудить. «Соль сыплют на давние раны» — значит, вопросы-то были не пустяковые, а приносящие боль. И боль, и раны тут явно не только физические. Ну и что — разбуженный поэт со вниманием отнесся к их запросам, что-то посоветовал, кому-то помог конкретно? Увы! «Я что-то скриплю им в ответ». Я так понимаю, что-то невразумительное и не дающее облегчения ходокам к поэту. Более того, он от них вообще отгораживается деревянным крестом.

Ну а как понять последнюю строчку? Все стихотворение о том, что люди вот именно шли к живому лирическому герою и надоедали ему своими проблемами, а в резюме вдруг оказывается, что «пока был живой, вы не шли»?! Какому же утверждению верить?

И в сборнике «Птицы ночи» Юрий Фатнев продолжал расширять тематику

своих стихов, проявляя интерес к тому прошлому своего народа, свидетелем которого он сам быть не мог, продолжал удивлять читателя. Вчитываясь в тексты и документы русской истории, он не мог не резонировать на них своими строками. Его стихи «Святогор», «Китеж», «Русские» отличает эпический размах. Поэт старается дать оценку отечественной российской истории из своих нынешних будней и найти в ней свое место.

Над туманами рек, над полями Отечества
Высоко, высоко вознесет меня холм —
И проклюнутся в тучах, вовсю расщебечутся
Родники, что припрятала Русь на потом.
Размывают они хлябь, дремотно нависшую,
И сливаются в солнечный лик родники!
Вижу, вижу я Родину! Вижу и слышу я
Всю от первой ее до последней строки!

Как тут не вспомнить знаменитого рубцовского зачина «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, неведомый сын удивительных вольных племен...». Я слышал это стихотворение из уст самого автора и не буду сравнивать стихи Юрия Фатнева с лирикой Николая Рубцова, уже вошедшей лучшими образцами в школьные хрестоматии. Мне здесь важна тенденция: забвение своего личного бытия в пользу бытия народного, исторического. Движение личности вглубь исторического прошлого, вглубь жизни народной всегда плодотворно и прибавляет смысла и собственной судьбе, в которой не все складно да ладно, а много всего такого, что хотелось бы или забыть, или переписать.

Кажется, обращение к истории, к ее славным и бесславным страницам должно было бы облагородить поэта, наделить его ответственностью за каждое написанное или оброненное невзначай слово. Ведь не каждое же лыко в строку, особенно бранное! Да, и поэту хочется порой припечатать крепким словцом то или иное событие, того или иного человека, особенно если они этого стоят. Но и тогда он не должен терять чувства меры и культуры, на то он и поэт, а не пьяный слесарь-сантехник, хотя и последний может быть поэтом. В советское время сколько их зарабатывало на хлеб метлой во дворах и лопатой в кочегарках. Я эту преамбулу выдаю перед стихотворением Юрия Сергеевича «Русские», чтобы как-то подготовить читателя к восприятию непотребства.

Русские — это отсутствие страха
Перед Историей, перед судьбой.
Нынче гуляю, а завтра на плаху
Гряну с размаху шальной головой!

Русские — это ничем нас не купишь,
Это в Европе дешевая б...ь.
Русские — это державно и грубо
Из-под земли громыхающий мат!

Русские — это в гроб валится Ваня,
В жизни успевший лишь водку узреть.
Переменить нам пора бы названье —
«Русскую водку» на «Русскую смерть»!

Сколько исчезнет, и не воскреснет,
И не напишет никто с них икон!
Русские — это неспетые песни.
Русские — это несбывшийся сон.

Русские — это далеко, далеко
Девичьих глаз неразгаданный свет.

Русские — это взмах детской ручонки
Поезду, мимо летящему, вслед.

В поезде этом народы другие.
Мчатся вперед они, мчатся вперед!
И не заплачут, если Россия,
Сданная в дом престарелых, умрет...

Мы не в ответе — взрослые, дети, —
Что за Горыныч змеится в Кремле?
Русские — это все люди на свете
В увеличительном круглом стекле.

Русские — это пошли вы все на ...
С вашей размеренной нудной судьбой!
Нынче гуляю, а завтра на плаху
Гряну с размаху шальной головой!

Когда истинному поэту, представителю высокой культуры, хочется крепко выразиться в стихах, он изобретает способ, как это сделать, не оскорбляя эстетического чувства читателя. Вот как это сделал Александр Блок в поэме «Двенадцать»:

Трах — тарарах! Ты будешь знать,
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

В выражении «Ужо, постой» имеющий уши да услышит скабрезное слово, обозначающее то, на чем мы с вами сидим, кстати, слово, до сих пор считающееся неприличным среди людей образованных.

Как-то после этого акта непристойности, проявленного поэтом, рассчитывающим на народное признание, не хочется читать его толстой книги до конца. Но долг перед читателем этой статьи обязывает. Я должен привести его к однозначному пониманию этого внутренне противоречивого события в литературе, которое носит имя Юрия Фатнева.

Нет, русские — это не только «из-под земли громыхающий мат». Русские — это Пушкин и Чехов, это Циолковский и Гагарин, Репин и Суриков, Шаляпин и Чайковский, это Днепрогэс и Саяно-Шушенская ГЭС, недавно восстановленная после страшной аварии, это лучший в мире балет, это Куликовская битва и Бородино, это храбрый и верующий народ, вместе с другими народами Советского Союза переломивший хребет фашизму, это нынешняя Россия, медленно, но упорно созидающая условия для достойной жизни всем своим гражданам, людям разных национальностей и вероисповеданий.

Наверно, поэт отразил в этом больном стихотворении тот беспредел, который царил в душах обманутых надеждами людей в девяностые годы, в то время безнадеги, когда часть народа спивалась, не видя просвета ни в социальной жизни, ни в духовной. Можно подумать, что спивались одни только русские. Хотя настроение поэта, отразившего распад народного самосознания, когда в московском Кремле правил очередной Горыныч, — понять можно.

Формальных качеств этого стихотворения я коснусь лишь вскользь. Они оставляют желать лучшего. «Русские — это ничем нас не купишь... русские — это в гроб валится Ваня». Да разве по-русски, на языке Пушкина и Блока, построены эти фразы?

А вот что сказано о белорусах в стихотворении с одноименным названием:

Что я вижу! История прет!
Так что хочется посторониться...
Сумасшедший советский народ
Разбегается из психбольницы!

Где армяне? А где латыши?
Где грузины? Судить не берусь я.
Лишь чего-то в сосновой глуши
Зачарованно ждут белорусы.

То ли сил не хватает бежать,
То ли даже в столетье двадцатом
Не смогли научиться, видать,
Чтобы брат поднимался на брата.

Поделиться привычнее им...
Не отсюда ли в давние годы
Достоевский, Мицкевич к другим
Уходили, к великим народам...

Некоторых читателей, конечно, покоробит, что Советский Союз, наша в недалеком прошлом большая семья народов, назван психбольницей. Будем все же держать в уме, что стихотворение написано в девяностые годы, когда в стенах нашего белорусского дома народу жилось не совсем сладко, а главное, была потеряна уверенность в светлом будущем. Поэтому мрачное настроение поэта понять можно. Но вот с выводами и прогнозами согласиться трудно. Может, и ждали белорусы в девяностые годы от власти порядка и справедливых решений, но разбегаться никуда и не думали, тем более учиться внутренней распре.

«Пускай пошлет мне Бог депрессию»

Но перейдем к следующему разделу — к стихам из книги «Еще оглянусь на Отчизну» (2000 год). В этом году Юрию Фатневу стукнуло уже шестьдесят два. Хороший возраст, если хорошенько поразмыслить. Есть еще силы и физические, и умственные. Важно — на что их направить. Ну как же именно оглянулся на Отчизну наш поэт?

По стихотворению написал о Гомеле, о Мозыре, о Турове, о Брянщине, вспомнил казахстанскую речку Тургеньку и Небесные горы, близ которых прошла его юность, опять же о России, аллегорически назвав ее бессмертной ведуньей.

...Порой ее гнетет усталость.
Но из шестнадцати детей
С ней никого уж не осталось.
Как говорится — им видней.

Но нападал стих на старуху.
В глазах рассеялся туман.
И запевала песню глухо —
И ей внимал угрюмый вран.

Однажды, карканьем задета,
Взглянула на него мрачней.
Вдруг разнесет он песнь по свету,
Прослышат вороги о ней?

Расправилась бы с вещей птицей,
Оставил вран ее жилье.
Теперь в чужих лесах таится
От мести сумрачной ее.

Да уж не себя ли поэт именует вещей птицей, вороном, который «спасается» от мести России в белорусских лесах? Если мое предположение неверно, то стихотворение превращается в загадку.

Слава Богу, поэт ошибся в своем пророчестве. Живет Союзное государство и неплохо себя чувствует. И Россия совсем не в изоляции от мирового сообщества. Хотя «каркающих» на Россию хватает.

А если посмотреть на эти стихи с точки зрения стиля, то слово «вран» здесь инородно и неоправданно, так как, во-первых, отвлекает мысль от содержания стихотворения, а во-вторых, оно здесь единственное устаревшее церковно-славянское слово и выглядит, как заплата из дорогой парчи на простеньком ситцевом платье. Даже в «Слове о полку Игореве», этом драгоценном сокровище литературы для всех славянских народов, место этого книжного слова занимает полногласное русское «ворон» — черным вороном назван «поганый полочанин» (степняк-половец, не путать с названием жителя Полоцка. — **Г. К.**)

Кстати, о слове «ворон». Вспоминается в этой связи и народная песня «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой», и Александр Сергеевич Пушкин:

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
«Ворон! Где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?»

Не прижились слова «вран», «брег», «град» (город) и «древо» и многие другие краткогласные слова ни в литературе, ни в народной словесности. А вот «враг» прижился. Неисповедимы пути русского слова.

Посмотрите внимательно, читатель, на эти две строчки: «Но нападал стих на старуху, в глазах рассеялся туман, и запевала песню глухо...» Не кажется ли вам с точки зрения русской грамматики, что здесь все три глагола необходимо привести в один и тот же вид многократно повторявшегося действия, т. е. нападал, рассеивался, запевала. А то как-то странно выглядит этот одиночный глагол однократного действия — рассеялся.

А если говорить о смысле стихотворения, то что это за песня такая, что ее необходимо таить от ворогов? Непонятно, кому эта песня предназначена. Обычно песни поются равно для всех — и для друзей, и для врагов, и могут иногда нравиться врагам и досадовать друзей. Так бывает. Владимир Семенович Высоцкий, например, имел поклонников в обоих станах. Так как неизвестно, что за песню пела героиня стихотворения, то еще более непонятно, почему за повторение той песни следует месть. Хотя, правды ради, надо признать, что были такие песни, за которые авторам и исполнителям мстили разными способами от замалчивания их до прямых угроз. А некоторые поэты расплатились головой за свои песни и стихи.

В этом разделе Юрий Фатнев, перешагнувший свое шестидесятилетие, решил поделиться с читательской публикой и своими предпочтениями в литературе, рассказать, какие писатели и художники прошлого повлияли на его становление как поэта. И сделал это он как истинный стихотворец, в форме стихов. Вот они — «Тютчев», «Шарманка прошла» (с пометкой — «Читая дневники Л. Н. Толстого»), «Кизиловая ветка» (о М. Ю. Лермонтове), «Высокие костры» (о Фридрихе Ницше), «Худая трава» (о судьбе поэта в России), «Кирилле Туровскому», стихи без заголовков представляю по первой строке — «Гай Валерий Катулл», «Я Клевера люблю. Салонного художника».

Каждое из этих стихотворений раскрывает, какое-то больше, а какое-то меньше, меру постижения творчества этих предшественников человеком нынешнего

времени, а именно поэтом Юрием Фатневым. Я же процитирую стихотворение, которое наиболее полно квалифицирует поэта в качестве читателя.

«Шовинист!» — несется вопль не первый.
Это мне, поклоннику Катулла,
Такубоку и Аполлинера.
Это мне, чьи каменные скулы
Широки, как Азия, наверно!
Это мне, который от Адама
Кровь собрал народов, славных силой.
Это мне, который телеграммой
Все века прошел, чтоб воскресила
Вот таким открытым и упрямым
Матерь горемычная — Россия.
Шовинист? Считайте как хотите!
Да, Филонов ближе мне Шагала,
Кушнер мне скучнее Эврипида.
Признаюсь, что Флавия мне мало,
Коль строка Татищева забыта.
Расовым кичиться превосходством?
Дело не во мне, а в вас, пожалуй.
Нации любой на свете мало,
Чтоб прикрыть народы все под солнцем!
Все равно сползет, как одеяло,
Обнаружив ваше сумасбродство.
Но близки мне Библии страницы.
Чаще многих Бродского читаю.
Иисусу как не поклониться,
Хоть за гробом не видать мне рая?
И в кругу друзей славянолицых
Мне Володи Шварца не хватает...
Почему же вам невыносимо,
Если я произношу — Россия?

Неоднозначное стихотворение, раскрывающее широту интересов поэта в области литературы, искусства, истории и философии. Я надеюсь, вам, мой просвещенный читатель, не надо объяснять имена поэтов и художников, оказавших влияние на поэта Юрия Фатнева. Да и слово «шовинист» вы тоже знаете. И разве не было в вашей жизни ситуации, когда ваши знакомые или друзья морщились, если вы упоминали о русской литературе и культуре, вообще лестно отзывались о России? И хорошо еще, если морщились, а не начинали упрекать и этим словом «шовинист» с прибавлением к нему слова «великодержавный». Вспомним, что в некоторые моменты социальной обстановки в Беларуси признаваться в любви к России вообще было предосудительно.

А что в этом плохого, что многие явления мировой культуры приходят к читателю именно через русский язык и русскую литературу? Поэт Юрий Фатнев обнимает своим творческим интересом не только русскую, но и литературу других наций как настоящий интернационалист.

Мне нравится его неологизм «славянолицые», построенный по аналогии со «светлолицыми». Нравится его позиция открытости всему миру и уважения к каждому творческому человеку, к какой бы нации он ни относился. Единственное, что мне не совсем понятно, это фраза — «нации любой на свете мало, чтоб прикрыть народы все под солнцем». Мне кажется слово «прикрыть» здесь неточно. В каком смысле — прикрыть?

Недопустимо другое — такое, с позволения сказать, прочтение книг, имеющих для людей высокий божественный смысл, которое весьма сомнительно по нравственному чувству. Особенно надо быть осторожным с толкованием Евангелия.

Вот стихотворение Юрия Фатнева из раздела «Птицы ночи»:

...Вижу я снова Тебя, Божья Матерь,
Вижу сквозь все на планете лета,
Как, молодая, в сиреневом платье,
По Иудее несешь ты Христа.

Легионеры шутят охотно,
Вам с солдатней по пути в Назарет.
Дескать, ну что тебе лысый твой плотник?
Дескать, не хуже у нас инструмент...

Такое фривольное прочтение Евангелия приводит поэта к позиции, несовместимой с исповеданием христианской веры. А если говорить о содержании стихотворения, то это зарифмованный авторский домысел. Нигде в Священном Писании нет свидетельства о том, что Пресвятая Богородица хоть однажды шла в Назарет вместе с римскими легионерами. Но и домысливать надо тоже с умом. А если вдуматься еще глубже, то своевольной трактовкой Евангелия автор невольно нанес оскорбление всем, кто почитает Божью Матерь своей защитницей на земле и заступницей перед Богом на небе. Некоторые строки в соединении с образом Пресвятой Богородицы выглядят просто кощунством.

Мне представляется, что нельзя облегченно, без глубокой внутренней потребности, без трепета душевного транспонировать образы из Священного Писания на себя, как это сделал Юрий Сергеевич и в следующем стихотворении.

Выцвел день, как будто фотоснимок,
От жары. Но был отчетлив там.
Жгучий гомон Иерусалима
Неотступно гнался по пятам.

Тявкал пес, как будто чуял: русский...
Ворон чистил клюв свой неспроста.
Кто-то рад общественной нагрузке —
Плел венок терновый для Христа.

Кто-то нес под мышкой багряницу
Для него же. Суд над ним вот-вот.
Так что мог сей иудей гордиться:
Оказал внимание народ.

Но пока другое лезло в око.
Оставалось несколько минут.
Притащили стражники пророка:
«Вот еще блаженный... Бродит тут».

И сказал я Понтию Пилату:
«Никаких не ведаю молитв,
Но недаром бросил век двадцатый:
Узника хотел бы заменить...

На кресте повиснуть — мне награда,
Ты подмену эту узаконь!»
Проскрипел в ответ мне прокуратор:
«Если только согласится он...»

И тогда сказал я Иисусу:
«На моей одежде пыль эпох.

Я — поэт. Советскому Союзу
Неугодный. Но не так уж плох.

Нет огромней в мире государства!
Но кого в нем нынче издают?
Тех, кто лижет задницу начальству!
И кого давно пора на суд!

Все они бездарные убийцы
Самых гениальнейших стихов!
Нет, в таком дерьме век копошиться
Не желаю. Я на крест готов!

Если ты согласен, то сейчас я
Гибель встречу, радость не тая!»
Милосердный молвил: «Возвращайся,
У тебя Голгофа есть своя».

Только и скажешь в неделикатной манере автора: кто про что, а вшивый все про баню. То есть — какой бы серьезности тему ни взял наш глубокоуважаемый автор, он ее обязательно свернет на свою гениальность и непризнанность. Задам я простой вопрос себе и читателю: не похоже ли это на автопародию?

Поражают легкомыслие и высокое самомнение, с которыми автор берется за тему. Но уже совсем не поражают стилистические и эстетические провалы в этом стихотворении, которые меня все-таки удивляли в предыдущих разделах его избранного. Все вполне в его стиле.

«Но пока другое лезло в око, оставалось несколько минут». Это как понять? Что лезло и в чье око? До какого события оставалось несколько минут? Каким образом оказал внимание народ иудею, который нес под мышкой багряницу? И уж совсем-совсем не из той оперы здесь «задница» и «дерьмо».

Истинно верующий человек этого бы не допустил. В связи с этим интересно выяснить, как же относится Юрий Фатнев к христианскому вероучению. Попробуем это понять все в том же разделе «Из книги «Птицы ночи».

Языческая ночь, меня ты полони!
Не бойся в душу мне все звезды
ты рассыпать!
На мозырских горах огни, огни, огни...
Но нет тепла от них —
сегодня станет Припять.

Ожили боги все славянские. Вот рог
О стену стукнул вдруг.
Бог скотий, Велес. Слышишь?
Не видно никого. Но шелестит Стрибог.
Он, кутаясь в снега,
несет поземку с крыши.

Как видим, поэт проявляет явную симпатию к богам языческой Руси. Хотя эта симпатия вполне может сочетаться с глубокой православной верой. Такой вывод позволяет нам сделать стихотворение «Молитва» все из той же книги «Птицы ночи»:

Снова белый снежок на безбожной Руси
Осеняет меня, как перстом.
Господи, пронеси! Господи, пронеси!
Не разрушь ты мой дом!

Никаких от тебя мне не надо наград.
Только ты не забудь про страну.
Пусть не камни летят —
только твой снегопад
На мою седину.

Все раздоры залей. Лишь огонь очага
В моем доме не погаси.
Кровью не запятнай — тронь луною снега.
Господи, пронеси! Господи, пронеси!

Дай увидеть не раз, глянув утром в окно:
На Руси снова белый снежок.
Если что не скажу, ты поймешь все равно,
Ты умеешь читать между строк.

Господи, пронеси...

Читаю это стихотворение, написанное Юрием Сергеевичем двадцать лет назад, а вижу разоренный, растерзанный войной Донбасс...

И все же мне хочется разобраться, отчего происходят у Юрия Фатнева провалы стиля и вкуса. Как это вообще может быть, чтобы поэт, имеющий за плечами восемь изданных книг, писал в итоге так неряшливо? Это просто в голове не укладывается. Неужели же никто и никогда ему не помог взглянуть на свое творчество со стороны? Любопытно, есть ли такие просчеты уже в первых его книгах?

Чтобы выяснить это, я снова возвращаюсь к началу книги. Читаю стихи, уже однажды прочитанные, под новым углом зрения. С первого по четвертый разделы все стихи понятны и внятны, никаких брошенных на полдороге фраз и бранных слов. То есть с 1962-го по 1983 годы поэт писал и точно, и грамотно. А сумятица в мыслях и строчках началась где-то с 1994 года. Ну что ж, оно и понятно: распад Союза, распад дружб, семей, привязанностей, граница между Брянском и Гомелем, разные деньги. Испуганные сограждане отшатнулись от всего, что прежде было дорого. Борьба за существование стала смыслом жизни. Никому не нужной стала классическая и вообще серьезная литература, в том числе и поэзия. Следы этого вселенского ералаша можно увидеть и в стихах Юрия Фатнева того периода. Именно тогда Юрию Сергеевичу захотелось в рифму послать иных куда подальше, а белорусов упрекнуть в бесконечном терпении и дружелюбии. Короче, отвести душу, как последнему сапожнику. Вот он и перестал держать в руках свои творческие амбиции и следить за порядком в собственных строках. Весь этот социальный и общественный раздрай девяностых годов еще осложнился, возможно, неустроенностью личной жизни поэта, которая просматривается в его творениях последнего времени. Потому, вероятно, и родились у него такие строки:

Пускай пошлет мне Бог депрессию,
Такую жизнь — хоть волком вой!
Она полезней для поэзии,
Чем счастье, должность и покой.

Пускай пошлет мне Бог безденежье,
Чтоб хлеба я не мог купить.
Чтобы за вас — куда тут денешься? —
Сжигал меня вселенский стыд.

Пускай один пройду над бездною —
Ни очага и ни семьи.

Пошли, Господь, строку небесную,
Чтоб написать успел до тьмы.

Из книги «Еще оглянусь на Отчизну...» (2000)

Да, счастливые люди стихов почти не пишут. Поскольку само их светлое и радостное существование рядом с любимым человеком — это уже поэзия. Поэт же сублимирует свои несчастья и горести, свою в чем-то не удавшуюся в личном плане жизнь — в стихи, они доставляют ему радость, когда других источников радости уже нет. Поэта можно только понять и пожалеть. Слишком большую жертву потребовала от него поэзия, которой он так беззаветно служил. Красивые фразы и вдохновенные строки заменили ему все: любовь, семью, всех, кого он приручал в течение жизни и не сумел удержать рядом. И осознание своего жизненного краха приходит слишком поздно, когда уже ничего изменить нельзя. Тогда растерянный взгляд поэта обращается на страну, на народ, на живущих вокруг простым земным счастьем людей: как они смеют не замечать человека, отдавшего жизнь поэзии? (Это я пишу вообще о тех странных людях, которые считают сочинение стихов самым важным делом на земле.)

За сосновым гомоном я в Гомеле.
Не расслышит родина мой зов.
Чтоб Россия мое имя не запомнила,
В Беларуси не печатают стихов.

Благодарен Беларуси бесконечно я...
Но живу здесь, как чеченский боевик.
Кроме пули, от России ждать мне нечего,
Ну а к смерти я, как к родине, привык.

Из книги «Еще оглянусь на Отчизну...» (2000)

Ну как тут обойтись без замечаний? Строки сами напрашиваются на критику. В Беларуси стихи-то вообще, слава Богу, печатают, не только Юрия Фатнева, но и других русских поэтов, реже — государственные издательства, чаще — частные за собственные средства поэтов. Вот за эту книжку, которую я сейчас держу в руках, поэт может быть благодарен своим друзьям и поклонникам его таланта безоговорочно. Ну а дальше слова, слова и слова...

Что значит — «живу, как чеченский боевик»? Кому чужд и враждебен лирический герой? Наверняка такого понимания своей вызывающей строки автор не предполагал, но по логике так и выходит. А последние две строки — вообще поклеп на родину и бравада, схожая с бахвальством. Ну кому он там, в России, нужен, чтобы в него стрелять? Не олигарх, не теневой миллиардер, не мафиози, не политик. Бумагомаратель, как все мы, пишущие.

«Русская печаль»

Теперь обратимся к разделу «Из книги «Русская печаль» (2002), самому краткому в новом сборнике Юрия Фатнева. Это ему уже шестьдесят четыре года. Но прочитав стихи этого раздела, особой радости я не ощутил. В стихах те же настроения недовольства собственной жизнью, жалобы на одиночество и неоцененность, к этому прибавились грустные воспоминания об ушедших друзьях молодости, брянских поэтах.

Запомню здесь каждый сарай и колодец,
Кружащийся в шорохе лиственных стай.

Как улочку кто-то с ведром переходит —
И зайчики солнечные через край...

Вот так бы и мне расплескать свое счастье,
Баюкая в полном ведре небосвод.
Да только могу за Россию ручаться:
С ведром, полным солнца, поэта не ждет.

На первой попавшейся лавочке места
Мне нет и не будет, пока я живу.
Ну что ж... без меня, видно, гениям тесно.
Наверно, не нужен я здесь наяву.

Но даже в этих трех безобидных строфах есть вещи, с которыми я, читатель, не могу согласиться. Стараясь выразиться насколько можно образней, поэт иногда не вдумывается в смысл написанного. Ну допустим, сарай и колодец закружились в падающей осенней листве. Может быть, поэт таким образом выразил свое физическое состояние: у него самого кружится голова. Но как можно колодцу кружиться в *шорохе?* Что-то зримое и должно кружиться в зримом, а не в слышимом. Вот журавль упомянутого поэтом колодца может скрипеть «в шорохе лиственных стай», потому что это вещи одного рода — звука. А колодец может кружиться, если уж так захотелось поэту, только в «лиственной стае». Странно, очень странно, что человек в таком почтенном возрасте, с таким большим опытом в области изящной словесности допускает такие просчеты.

Дальше. Если лирический герой сидит на «первой попавшейся лавочке» и смотрит на деревенскую улицу, то ему должно быть видно, что не кто-то переходит улицу с ведром воды, а конкретно — девочка или женщина, или старушка, или мужчина. Если он пишет «кто-то», то это значит, что он плохо видит, о чем можно только сожалеть, или что конкретные реалии жизни ему вообще безразличны. А таково ли зрение героя?

Выражение «расплескать свое счастье» имеет обычно смысл утраты счастья, а поэт употребил его в противоположном смысле, с чем читатель, достаточно начитанный и обладающий жизненным опытом, вряд ли согласится. Ну а уж если счастье, по мысли поэта, подобно воде, которая плещется в ведре, то это состояние никак нельзя назвать баюканьем.

Хочется оспорить утверждение автора, что Россия не ждет поэта «с ведром, полным солнца». Всем она рада и всех принимает, и с полными ведрами, и с пустыми, лишь бы души ее гостей и переселенцев не переполняла ненависть и сердца не были пустыми.

Еще раз с сожалением отмечаю, что этого, да и большинства стихов итогового сборника Юрия Фатнева, не касалась редакторская рука, а сам поэт редактора в себе не вырастил. Неточности, издержки самолюбия автора, не умеющего или не желающего взглянуть на себя и свое творчество самокритично, портят все доброе и ценное, что есть в его поэзии. А ведь это есть — и образное видение, порой яркое и удивительное, и сочная русская речь, и общая культура, которая дает о себе знать глубинным осмыслением прочитанного и пережитого.

Но есть в этом разделе два стихотворения, которые позволяют говорить о том, что Юрий Фатнев способен и писать, и мыслить точнее и афористичнее, что будь он более жесток к своему творческому «Я» да и если бы не зацикливался на себе любимом, его поэзия была бы качественно иной. Вот первое стихотворение:

— Что несешь ты, странник,
И что бросить жаль?
— Я несу по странам
Русскую печаль.

Библии, Корана
Я не написал.
— Что несешь ты, странник?
— Русскую печаль.

Пустота в карманах,
Не звенит металл.
— Что несешь ты, странник?
— Русскую печаль.

Заживут все раны,
А моя едва ль.
— Что несешь ты, странник?
— Русскую печаль.

Жаль, что такая серьезная тема все же решена по шаблону. Один и тот же ответ на сакрального смысла вопрос просто удручает. Странник мог бы еще что-нибудь нести, кроме русской печали. К примеру, и русское веселье, и русское добро и т. д. Кроме того, *написал — металл — печаль,* — это не рифмы, поскольку мягкий звук «ль» не созвучен твердому «л».

А вот второе необычно емкое стихотворение:

Лягу в чистом поле.
С глаз смахну все грозы.
Пусть о вольной воле
Мне шумят березы.

Сколько жить в разлуке.
Сколько жизнь гасили.
Разбросаю руки
Да на всю Россию...

Концовка впечатляет своим эпическим размахом. Хотя я без вопросов не могу. «Жить в разлуке» — с кем или чем? «Жизнь гасили» — кто гасил и чью жизнь? Но надо уже привыкать, что такие мелкие загадки мимоходом — особенность стихотворной манеры Юрия Фатнева. Может, он рассчитывает на сотворчество читателя — пусть покумекает, домыслит, подставит свою догадку. Но, боюсь, все намного проще: поэт не знает, что такое работа над своим произведением, раз написанное, оно потом никогда не меняется.

«Сжег свою мировую славу»

Последний раздел книги называется «Из новых стихов» и содержит большой корпус стихов, написанных с 2003 года по 2011-й, т. е. до возраста поэта в семьдесят три года. Вот уж где должна блистать умственная и душевная зрелость поэта. Поэт выходит на стрежень реки жизни. Недалеко уже и до впадения в океан вечности. Каким же могучим и точным должно быть его слово! Тут уже не до бравады и игры в гениальность. Успеть бы сказать о главном, попросить прощения у тех, кого с умыслом или невзначай обидел, покаяться перед Богом. По крайней мере, я так понимаю теперь задачи нашего зрелого возраста.

Шуршанье листьев в старых колеях,
Как в дни былые, не приносит радости.
Мне кажется, что ими я пропах,
А это запах, это запах старости.

Кленовый лист упал к моим ногам
И так горит, сгорая весь от яркости.
Но это горечь, это стыд и срам,
А этот запах, этот запах старости.

Шуршанье листьев в старых колеях
Я так любил во дни беспечной младости.
Но стал подобьем этих листьев сам,
А этот запах, это запах старости.

Ну и где тут высокая поэзия, Юрий Сергеевич? Только признание полной растерянности перед итоговой порой жизни. Такие горькие мысли надо уметь преодолевать наедине с собой или с Богом. Да и нет их вовсе у человека, если он опрятен физически и духовно, если он держит под контролем все свои слова и поступки, если он начинает и заканчивает день молитвой, если он деятелен в любви к ближним своим, к друзьям и знакомым. А взамен того, к чему человек тянется в молодости и чем питается в зрелые годы, на закате жизни приходит мудрость. А что это такое, может, подскажет нам, дорогой мой читатель, стихотворение моего однокурсника по Литинституту Анатолия Чикова:

Порою в мир закроется отдушина,
И шепчет мысль, угрюма и бледна:
Судьбы твоей строение разрушено
И чаша жизни выпита до дна.

Но ты вгляделся пристально в наследие
Бед мировых, а их не счесть в века.
В сравненьи с ним — пустяк твоя трагедия,
Выводит тебя жизнь из тупика.

Ты втянут в состояние обычное,
Но весь твой мозг нацелился в одно:
Наследье бед — ведь это россыпь личного,
Руками мук сплоченного в одно.

Россыпь личного должна сфокусироваться в том, что называется магистральной линией жизни или судьбой. Человек в итоговой поре жизни обычно задумывается над тем, как сложилась его жизнь — в согласии с его юношескими мечтами и планами молодости или вразрез. И понимает, что сама жизнь размела слишком заоблачные мечты и расстроила слишком беспочвенные планы. Однако что-то ведь из этого и сбылось благодаря и твоим усилиям, и стечению обстоятельств, за которыми всегда стоит промысел Божий. Так стоит ли человеку приходить в уныние, за которым стоит потеря интереса к жизни и зацикленность на себе несчастном? Тем более поэту?

К моему великому сожалению, Юрий Сергеевич просто купается в своих обидах на жизнь и претензиях к не оценившим его современникам, вместо того чтобы обратить свой творческий взор на живущих рядом людей с их личными заботами и социальными проблемами и в целом на народ, к которому принадлежит сам.

...Подниму я ничейное яблоко,
Откатившееся от ворот,
И согрею я руки озяблые —
Вот и весь мой с судьбою расчет.

Это родина, пусть бестолковая —
Я не жду от нее ни хрена.
Лишь бы вспыхнули листья кленовые
В перевернутом свете окна.

Моя слава такая невнятная.
Жизнь прошла, а любого спроси —
Вам не скажут, — ведь Юрия Фатнева
Не читали еще на Руси.

И сегодня меня не ограбили.
Может быть, подоспел мой черед.
Просто взяли ничейное яблоко,
Откатившееся от ворот.

Так вот в чем дело! Человек мечтал о славе, о широкой популярности, о почестях, об овациях и премиях. А не вышло. Да не о славе поэта районного или областного уровня, чем вполне удовлетворяются сегодня многие стихотворцы, как говорится, средней руки. Нет, бери выше, читатель! Следующая строчка из предисловия: «Я пишу не слабее лауреатов Нобелевской премии». Я не знаю, как насчет лауреатов, но явно слабее тех поэтов, в чей ряд он себя самовольно поставил, — Гумилева, Есенина, Клюева, Павла Васильева («Худая трава»).

Начиная с восьмидесятых годов в его книгах то и дело промелькивают эти жалобы на непрочитанность большим числом сограждан и вообще жителей планеты Земля.

Выбрал место у синего леса.
За спиной моей город затих.
И разжег я костер чудесный
Из неизданных своих книг.

Сжег свою мировую славу.
Только помнится с давних пор:
«Город вечером — плащ дырявый,
Кем-то брошенный на костер».

Из новых стихов (2002—2011)

Грезилась поэту мировая слава, на меньший уровень он не был согласен. Обратим внимание не на интересный образ города, напомнившего автору «плащ дырявый», а вот на эти две строки: «И разжег я костер чудесный из неизданных своих книг». Ой ли? Так уж и не изданных?

Мне кажется, судя по обилию разделов сборника, которые соответствуют числу изданных Юрием Фатневым за свою жизнь книг, что это, мягко выражаясь, не так. Восемь разделов, значит, как минимум восемь книг было, поскольку первый раздел назван «Из первых книг». Итак, с 1962-го по 2002 год восемь книг. Каждые пять лет — книга. Пусть две-три из них изданы в Беларуси. Но остальные, российские, не дают права поэту упрекать Россию в замалчивании его творчества.

А поэт с упорством, достойным лучшего применения, продолжает жаловаться на неоцененность из книги в книгу вплоть до своих уважаемых лет. Вот еще одно из новых стихов.

Мой город уснул ночью летнею.
Лишь брезжат огни кое-где.
Стихи мои — окна последние,
Не гаснущие в темноте.

Всю жизнь торопился куда-то я,
И все-таки я не успел.
А время уже не закатное,
Шагнул за полночный предел.

А дело мое пустяковое —
Вещички собрать на тот свет.
Оставить вам книжки рисковые,
Ведь был я великий поэт.

В стране, что зовется Россиею,
Я был неизвестен совсем.
Расслышат стихи мои сильные,
Когда наконец стану нем.

Пускай озаряют столетие,
Что тонет во тьме и вражде,
Стихи мои — окна последние.
Не гаснущие в темноте.

Из новых стихов (2002—2011)

О качестве этого стихотворения я писать воздержусь, мне важна здесь тенденция. Простите меня, мой читатель, но я просто в недоумении: что и как сказать по поводу этой заявки на величие. Уж не розыгрыш ли тут, не блеф ли в качестве наживки для уловления читателя? Но перечитайте со вниманием раз и два, не поленитесь прочитать и в третий раз. Нет, блефом тут и не пахнет. Все на полном серьезе.

Перечитайте всего Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Якуба Коласа, Янку Купалу, Максима Богдановича, вы, бьюсь об заклад, не найдете подобных притязаний на величие. Да, Александр Сергеевич признавал: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой», но он имел на это право, а эпитет «великий, великая» он применил не к себе, а к Руси.

После таких откровений поэта уже нисколько не удивляешься разбросанным по многим его стихам завышенным самооценкам.

Отчего же такая аберрация зрения, с годами усилившаяся до полного искажения реальности? Одно у меня предположение: захвалили в молодости. Почитал авторское предисловие — так и есть. Тут тебе и Самуил Маршак, и Булат Окуджава, и Ярослав Смеляков, и Василий Казин, и Рюрик Ивнев и т. д. и т. п. Похваливали, поддерживали, помогали пропечататься в столице. И вот цитата из предисловия: «Когда-то мой приход в литературу приветствовали Юрий Гагарин и Самуил Маршак». Громкая слава, мировая популярность с юных лет грезилась автору «Седых небес» и водила его пером, когда он писал первые неуклюжие строки. И никуда не делась с годами, а разрослась еще больше, как болячка, приносящая поэту страдание. И снова вспомню Александра Сергеевича, который и в отношении к своему творчеству остается для нас непререкаемым авторитетом.

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман.

«К Чаадаеву»

Не правда ли, странное это сочетание: слава — тихая. Вдумаемся, что же означает эта фраза. Видимо, известность в нешироком кругу друзей молодого Александра Пушкина, среди которых были и товарищи по лицею, и будущие декабристы, и вольный философ Петр Яковлевич Чаадаев, и поэт, царский воспитатель Василий Андреевич Жуковский, и родные и близкие поэта, и читатели первых изданных им книг. Это была небольшая, невсенародная и нешумная слава, но она вполне устраивала поэта. Но такая локальная слава ведь есть

теперь и у каждого пишущего, одарен он или не очень. Его знают как поэта и родные люди, и друзья, и даже, бывает, соседи. Ну а если он время от времени издает сборники своих творений или печатается в журнале, ареал ценителей его творчества в несколько раз увеличивается. Какого же еще рожна надо, если ты не Пушкин, и на худой конец, не Кюхельбекер? Если ты не написал ни одного стихотворения, которое бы взбудоражило общество, ходило по рукам в списках? Если ты воспевал всю жизнь березки, цветочки и птичек? Если ты приверженец так называемой тихой лиры?

Читайте Пушкина, дорогие мои собраться по ремеслу! И многое для вас в этой жизни прояснится через призму его строк. Есть у него стихотворение прямо-таки в тему нашего разговора. Оно так и называется — «Желание славы». Я позволю себе процитировать его в сокращении.

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, —
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальному упреков и похвал.
...И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, что вокруг тебя, звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

Александр Сергеевич написал это стихотворение в двадцать шесть лет. Так вот для чего нужна была ему слава! Для завоевания любимой женщины, а не для упоения собственным величием. Такого прагматичного взгляда на характер своей известности у Юрия Фатнева встретить просто невозможно. Слава ему нужна для себя и только для себя, громкая, абсолютная, в масштабах страны, а лучше всего мировая. Может быть, потому что взгляд поэта был замкнут на самом себе, он не написал стихов о любви с тем самоотречением, как это характерно для великих поэтов — Пушкина, Блока, Есенина.

В книге «Седые небеса» встречаются стихи, в которых появляются образы женщин. Эти стихи удивительно спокойны и статичны, все это зарифмованные послесловия после встреч с прекрасным полом. И в этих стихах, как правило, поэт ограничивается образным видением и не включает чувства. Ему важнее детали встречи, отдельные черты своей возлюбленной, к примеру, «скифское золото драгоценных ее волос». Но одно, всего лишь одно из десятка таких послесловий трогает, потому что поэт забыл здесь о всяком словесном украшательстве, а написал сердцем.

«Мальчик мой, — ты шепчешь, — мальчик мой!»
Хочется заплакать что есть силы.
Слушаю седою головой
Бред любовный девушки, мне милой.

Встретимся опять в который раз,
Съездим мы к твоим родным на елку.
А однажды не поднимешь глаз:
Обещал я многое... Что толку!

Только я приеду все равно
Поглядеть спокойными глазами:
На четвертом светится окно,
Да овраг глубокий между нами.

Побреду обратно. Стой не стой —
Не вернуть вовеки шепот милой.
«Мальчик мой, — твой шепот, — мальчик мой!»
Хочется заплакать что есть силы.

Из книги «Лунный час» (1983)

Риск — дело благородное

«Делом вкуса, риска и скромности» называл искусство Борис Пастернак (Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернак. «Координаты лирического пространства», журнал «Литературное обозрение», третий номер за 1990 г.). Стало быть, эти слова относятся и к поэзии как к искусству слова. Вдумаемся же в них. Разве сознательно отдать свою жизнь стихотворству, рассчитывая на какие-то воображаемые дивиденды, — это не риск? Риск, да еще какой! Но рисковали все положившие свою судьбу, словно голову на плаху, на алтарь Поэзии.

А личные выгоды и дивиденды из этого вышли какие? Кого расстреляли (Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Мандельштам), кого повесили (Есенин), *кого столкнули* в лестничный пролет (Янка Купала), кого задушили (Рубцов), кто сам не выдержал травли, замалчивания, развала страны (Маяковский, Цветаева, Юлия Друнина, Юрий Левитанский). Да, правда, теперь некоторых из них читают и даже изучают в школах и университетах. Но это слава посмертная, о которой они и не мечтали.

Они думали не о лаврах и славе. А о том, чтобы возвысить голос за истину, поддержать униженных и оскорбленных, напомнить падшим о человеческом достоинстве, преподать нравственные уроки власть предержащим да и о многом другом, что внушала им совесть художника и гражданина. Но стихотворения такого гражданского наполнения я, к сожалению, как ни искал, не нашел в итоговой книге Юрия Фатнева.

Да его и не могло быть, поскольку Юрий Сергеевич поэт совершенно другого плана — зоркий наблюдатель, художник. Увидеть красивое, восхититься им и увековечить в строке. Он дальше образного видения жизни не идет. У него, как правило, образ превалирует над чувством и мыслью. Да он и сам это сознает:

Как я люблю все то, что зримо, живо:
Материальность, плоть существ земных.
И корни из сыпучего обрыва,
Прядь водорослей высохших на них.

Вам — все равно. А мне необходимо,
Чтоб надо мной роскошествовал бор.
И если колокольчик взгляд поднимет,
То встретит мой неравнодушный взор.

Кто скажет, что это плохо — такое преклонение перед прекрасным в природе? Вот если бы поэт «неравнодушный взор» чаще обращал на людей, на общество, на страну, то, наверно, имел бы больше оснований надеяться на благодарную людскую память. Помните некрасовское — «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»? Тщетно я проискал в итоговой книге Юрия Фатнева яркое и отважное проявление гражданского чувства. Ну не дано поэту

элегического склада выразить в стихах ничего, кроме грусти и тоски, сожаления и жалобы, досады и сокрушения. А причин и поводов для этого в жизни каждого человека с избытком. Поэт же все это еще может красиво зарифмовать. В связи с этим вспоминается мне Евгений Евтушенко. Эти строчки я помню с шестидесятых годов прошлого столетия.

Гражданственность — талант нелегкий.
Давайте делаться умней:
Зачем тащить, как на веревке,
Надменно фыркающих к ней?

Остановимся на том, что Юрий Фатнев, что касается природы, лирик с образным видением и мышлением, вне яркого образа не видящий другого смысла в поэзии. Он настолько увлечен своим изобразительным талантом, что реальная жизнь людей перед этим отходит на задний план. Странно, что реальные события прошедшего трагического века и нынешнего, начавшегося не менее драматично, не имеют никакого отражения в его поэзии. А ведь были и Великая Отечественная, и Победа, и восстановление разрушенных областей страны, и космос, и Юрий Гагарин, и БАМ, и целина, и многие другие славные страницы народной биографии.

Как-то все это прошло у поэта за кадром. Мало что его взволновало настолько, чтобы хотя бы пунктирно промелькнуть в строчках. А ведь, судя по его признанию в предисловии, «его приход в поэзию приветствовал сам Юрий Гагарин». Да случись такой факт в биографии другого поэта, уж он бы не упустил возможности обыграть его в собственных стихах. А Юрий Фатнев упустил. Странно, очень странно. Трудно также, исходя из его стихов, предположить, что средства к существованию он зарабатывал каким-либо другим ремеслом, кроме стихотворства. Даже о своих родовых корнях во всех его книгах— ни слова.

Словно спохватившись, в последние годы он написал несколько стихотворений о детстве и молодости, об отце и матери. И читатели, следящие на протяжении десятилетий за его творчеством, наконец, узнали, что юность он провел вместе с отцом на пасеке в горах Казахстана, а мать его носила в деревне кличку «Политручиха», поскольку муж ее был в годы войны политруком. Кстати, одноименное стихотворение, повествующее о трудной доле матери, одно из лучших в книге, потому что и образно, и конкретно.

«На тебя работаю — фольклор»

Среди стихов последних лет встречаются и такие, в которых поэт обнадеживает себя посмертной известностью.

Есть страна такая беспощадная,
Для которой гениальность — вздор.
Да, в России все, что не печатают,
Называют коротко — фольклор.

Умещаюсь в этой я околице,
За какой не мой уже простор.
Я всю жизнь, что благ земных сторонится,
На тебя работаю — фольклор.

Но века нагрянут непонятные.
Выметут всех классиков, как сор.
Обо мне же... Нет поэта Фатнева,
Но остался от него фольклор!

Это самая великая честь, которую может оказать народ своему поэту, — запомнить его строки и забыть его имя. Но для этого и надо писать в согласии с народной думой и народным сердцем. Все наши народные песни ведь когда-то кто-то сочинил, но народу не важно — кто, а важно — что и как. О том, что доставляет боль, печаль или радость, счастье. И так, что за душу берет.

Не льстит ли себе Юрий Фатнев, не занимается ли самообманом на пожарище своих юношеских грез о мировой славе? Ну что может взять от него народ? Какие его строки войдут в фольклор? Вот опять листаю его четырехсотстраничный фолиант. Может быть, стихотворение, которое мы цитировали выше, «Лягу в чистом поле»? Да вряд ли! Слишком личностно и нескромно. Да народ так не скажет: «с глаз смахну все грозы», «сколько жизнь гасили». Это для простого человека слишком заумно. Или это?

Русские — это пошли вы все на ...
С вашей размеренной нудной судьбой!
Нынче гуляю, а завтра на плаху
Гряну с размаху шальной головой!

Замечу, что этот сочный матерный слоган «пошли вы все на...» известен задолго до Фатнева и славы никому не делает. А вот последние две строчки, может быть, и годятся в словесный обиход разгульным людям, для кого все на свете трын-трава, кроме собственных удовольствий. Но это явно не весь народ. А значит, и надежда на признание этих строк всем народом напрасна.

Может быть, вот это стихотворение — пропуск для поэта в фольклор?

Когда останется лишь холмик,
Подумают: «А кто под ним?»
И, может быть, Россия вспомнит
Поэта через много зим.

Снег разгребет — под снегом книга.
Что не читала — не корю.
Ей своего хватало лиха
Зимой и в летнюю жару.

До буковки заиндевела,
Травою книга поросла.
Теперь уж ни души, ни тела,
А просто — Русская земля.

А просто облака да небо.
Куда ни глянь — родимый край.
Присядь на холмик, кто б ты ни был,
Стихи мои перелистай...

Что и говорить, трогательно, но слишком литературно и многоречиво. Даже в четырех строфах есть лишние слова. К примеру — в третьей: «До буковки заиндевела, травою книга поросла». Здесь слово «книга» лишнее, а требуется нечто аналогичное стилю первой строки. Скажем так: «До буковки заиндевела, травой сквозь строки проросла». Именно третья строфа приводит в недоумение читателя. Речь идет вроде бы о книге, но у нее вдруг появляются и душа, и тело. Надо было автору как-то определиться, что же, в конце концов, под снегом-то: книга или уснувший навсегда поэт? Да и рифмы-то абы какие: *холмик — вспомнит, книга — лиха, корю — жару, поросла — земля.* Нет, стихотворение явно в фольклор не годится.

Не нашел я, к сожалению, хотя бы пары строк в книге Юрия Сергеевича, которые, запоминаются сами, без самопринуждения. Ну таких, которые, как

лакмусовые бумажки, прилипают к тому или иному поэту, хотя он этого и не предполагал и ничего для этого особенно не делал. Вот скажи: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...» и т. д. — и все от мала до велика воскликнут: «Пушкин!» «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуты душевной невзгоды». Чьи это строки? Ну, конечно же, Лермонтова. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» Да, вы угадали — Тютчев.

Возьмем примеры из поэзии двадцатого века. «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». «Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами». «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей!». «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». «Бьется в тесной печурке огонь». «Не думай о секундах свысока». «Со мною вот что происходит: ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те». Я не называю имен поэтов, которым принадлежат эти строки. Культурный читатель их и так знает, а не слишком начитанный постарается узнать.

Не могу отказать себе в удовольствии еще раз процитировать моего талантливого сокурсника Анатолия Чикова, одно стихотворение которого как раз и является таким опознавательным знаком этого поэта для читателей.

Есть в жизни незримые плутни,
Никто их пока не учел.
И живы практичные трутни
Стараньем безропотных пчел.

А дальше темно не на шутку:
Оправдан в разумном кругу
И сокол, таранящий утку,
И барс, что настиг кабаргу.

Но время, о главном радея,
Такую подводит черту,
Что меткая пуля злодея
От горя вопит на лету.

Умеющий мыслить да поймет — о чем эти гениальные строки. Для меня эти строки и о Пушкине, и о Лермонтове, и о Павле Васильеве, и о Мандельштаме, и о жертвах красного террора, и Холокоста, и сталинских концлагерей, да и вообще о насилиях и убийствах невинных людей, которыми богата человеческая история, о нынешней бойне в Украине, о Сирии, Палестине, Ираке, Афганистане, о всех землях и странах, где «вопят от горя пули», несущие людям смерть.

Строк, подобных этим, в книге Юрия Фатнева, к сожалению, нет. Вспомним еще раз триаду Бориса Пастернака: искусство — это дело вкуса, риска и скромности.

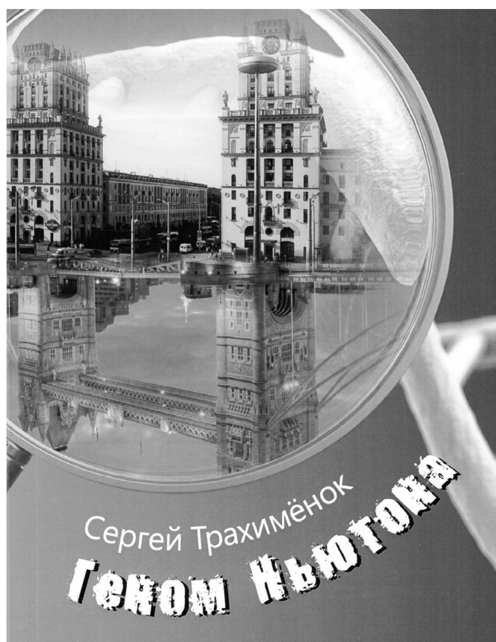
Мне кажется, единственное, чему угождают строки Юрия Фатнева, — это риск. Да, поэт пошел ва-банк, поставил на козыря всю свою жизнь. И банк этот, и козырь — поэзия. Не мне судить — выиграл он или проиграл. У его последней книги и есть и будет еще много читателей.

Я же, читая его итоговую книгу с самой возможной благожелательностью, вынужден все же констатировать, что поэту иногда, а порой и довольно часто, не хватало этого самого вкуса, чтобы уважить читателя точностью слова, за которым бы стояла скромность творца...



С точки зрения рецензента

Одержимые Ньютоном



«...Что он Гекубе? Что ему Гекуба?..» — помнится, вопрошал шекспировский Гамлет.

Казалось бы, что за дело современному Минску до всемирно известного физика, математика и астронома? А вот поди же: память именно прославленного ученого ворошит Сергей Трахименок в своей новой книге «Геном Ньютона» (Минск: издательство «Четыре четверти», 2014). И заходит, возможно, далее Дэна Брауна, который заставил своих героев без передышки разгадывать бесконечную цепочку головоломок.

Трахименок же по своему обыкновению закручивает детективный сюжет, загадки которого по мере их возникновения решает вместе с читателем «важняк», то есть следователь городской прокуратуры по особо важным делам Арсений Вартов. Ни сокрушения тысячелетних догматов, ни погони через Ла-Манш и прочего, чем славен брауновский «Код да Винчи», в «Геноме...» нет. Зато есть узнаваемые жизненные реалии, которые позволяют воспринимать повествование не как сказку, а вполне похожим на правду. Как минимум поначалу.

Тонна за консультацию

Наличие общества «Знание» в городе в нынешние времена выглядит диковиной. Но где еще сегодня могла бы пройти публичная дискуссия о Ньютоне, в которой схлестнулись бы молодой ученый-физик Петр Налыгов и бывший специалист по научному коммунизму, а теперь политконсультант Владик Морозов? И куда бы еще среди прочих интересующихся мог пожаловать уголовный авторитет, а ныне, разумеется, бизнесмен Федор Щекин по прозвищу Зяблик?

В подвале последнего, оборудованном под тюремную камеру, первые двое и оказываются на следующий день.

До Арсения Вартова информация о похищении доходит частным образом — от морозовской любовницы Лены Копчиковой, которую похитители за хлопотами просмотрели в соседней комнате.

Жертвы киднеппинга пытаются понять, почему их похитили. Вартов ломает голову над тем же. Эта загадка, однако, разрешается довольно скоро. Спорщиков, оказывается, привезли для консультации. С Морозовым у Щекина

разговор был короткий и необременительный, ибо мнение того о Ньютоне совпадает с каноническим: величайший ученый, труды которого положены в основу современного естествознания. За что бывший научный коммунист вознаграждается тонной баксов, то есть тысячей долларов, и отбывает восвояси. Хотя на вопрос об истоках ньютоновской гениальности — родился он таким или стал благодаря чему-то — ответить не сумел.

Другое дело — Налыгов. Тот уже на первой странице повести изъясняется так, что дочитать его монолог до конца стоит некоторых усилий. Автор тем самым идет на немалый риск: ну а что, если не захочет читатель напрягаться с первых строк? Впрочем, так выражается именно персонаж. Однако что Трахименку художественный прием и речевая характеристика, то Щекину — головная боль, ибо на уроках физики он в свое время отнюдь не усердствовал. Честно говоря, бывшему прилежному школьнику две с половиной страницы налыговских наукообразных изъяснений тоже даются с немалым трудом. Но к счастью для читателя и для Щекина, начальник его охраны, учась в военно-техническом вузе, читывал те же учебники. И неожиданно для всех он проявляет недюжинные способности к популяризации, прорежая научные дебри аналогиями на тему алкоголя и женщин, что как минимум человеку с уголовным прошлым, безусловно, более понятно.

Недействующие лица

История с похищением явно близится к развязке, а сюжетная птица, судя по объему неперевернутых страниц, долетела только до середины. И тут новый поворот: частное вартовское расследование неожиданно переходит в официальное. Ибо в том самом подвале щекинского дома, построенном, кстати, в подражание лондонскому Тауэру, обнаруживается труп мужчины.

Первое предположение — прикончили занудного физика. Авторский замысел, однако, куда прихотливее: два спорщика, которые поначалу казались главными персонажами, отныне отступают на второй план. На авансцену же выходит конспирологическая тема, что неотрывно связана с Ньютоном.

Развивая эту тему, Налыгов, правда, ссылается на интернет, откуда ныне можно вытащить все что угодно. Тем не менее вытащенное уложено в весьма стройную концепцию. Согласно ей, своим возвышением Ньютон обязан покровительству кембриджского профессора Барроу, который был масоном и пестовал молодого протеже не только научным руководством, но и телесно. Масоном в конце концов стал и сам Ньютон, а все его открытия якобы почерпнуты из более ранних арабских трактатов, которые «таинственным образом исчезли из библиотеки Тегеранского университета».

Аллах ведает, каким боком сюда пришелся этот университет, основанный лишь в 1934 году. Даже первый из иранских вузов, если верить Википедии, появился не ранее середины XIX века, а Ньютон умер в 1727 году. Но раз это говорит не автор, а персонаж Налыгов — к нему и все вопросы с претензиями. И все прочие рассуждения про масонов, Люцифера и людей, которые объявляют себя его последователями и воззрения которых куда сложнее примитивных представлений о них, а также об ученых и перипетиях научного мира Трахименок опять же вкладывает в уста своих героев. Главным из них предстает исследователь Игорь Кшанцев, который благодаря своему погружению в историю религий даже прослыл за своего у местных сатанистов.

Кшанцев, прикованный к инвалидному креслу, ведет весьма пространные диалоги с Вартовым. И если читатель склонен даже из детектива извлекать не только экшен, но и полезную для общего развития информацию, эти диалоги не покажутся ему излишними. Тем более что конспирология продолжает занимать умы весьма немалого числа как высоколобых интеллектуалов, так и простых обывателей.

Так что Кшанцев-старший оказывается «главным» скорее по идейно-информационной нагрузке. А закру-

чивает всю пружину второй части, как выясняется, его брат-близнец Никанор, родившийся на пятнадцать минут позже и потому всю жизнь почитавшийся за младшего. Но и здесь оговорка: сам он, персонально, в повести тоже как бы и не действует. Ибо именно его труп и обнаруживают в подвале Щекина.

От бинома до генома

А почему, собственно, бывший уголовник и двоечник Щекин был так одержим Ньютоном? И при чем тут геном вместо привычного нам со школы бинома?

В ответе — ключ к пониманию того, что вообще за произведение перед нами. Дело даже не в том, что на «зоне» Щекин под влиянием одного из сокамерников стал англоманом. Оказывается, со временем он озаботился проблемой наследника. И поскольку первый из двух его сыновей к тому времени уже пошел по тюрьмам, второго, пока не поздно, отец решил отправить учиться в Лондон.

Собственно, в этом нет ничего необычного. Как и в том, что младшенький оказался повесой. Но здесь-то автор и дает волю своей фантазии, сведя воедино несколько линий — научно-просветительскую, конспирологическую и детективную. Оказывается, Кшанцев-младший, будучи идейным «люциферянином» и почитавший себя свободным от всяческих ограничений, предложил Щекину подсадить его сыну ни много ни мало... гены Ньютона. И якобы эта операция была успешно проведена.

Успешно в том смысле, что подсадили. А если судить по поведению оболтуса, то без особого результата. Более того, Щекину стало казаться, что у его отпрыска начала «сбоить» ориентация — та самая, которую теперь чаще всего и подразумевают под этим словом. Тут-то отец и решил поглубже разобраться в ньютоновской биографии...

Как добывали искомые гены, как прививали? Тут не только Брауну, но и Петрову с Ильфом есть где разгуляться...

Однако британские приключения — да, может, и не было их вовсе, а выделенные деньги затеявший лихую операцию аферист просто элементарно «скрысил», — это Трахименок оставляет за бортом повести. И сам остается в пределах привычного ему детективного жанра, на сей раз превращая его в пародийную оболочку для вполне серьезных рассуждений об устройстве мира вообще и мира науки в частности. Благодаря чему неспешное повествование неожиданным образом не только становится в ряд произведений, затрагивающих те же содержательные пласты, но и выдается из него. А кто убил, кто вышел сухим из воды, — так ли это важно? Хотя автор, конечно, отвечает и на этот вопрос. Как? Читайте детектив...

Андрей ***РАСТОРГУЕВ***



С точки зрения рецензента

Чудо по имени Ша-Ша

У вас никогда не возникало желания болтать ногами, да не просто так, сидя, скажем, на скамейке, а залезши... на буфет? Мне, по правде говоря, такая мысль никогда в голову не приходила. Все-таки возраст не тот, чтобы позволять себе подобное. Однако так продолжалось только до того времени, пока не познакомился с книгой сказок Елены Мальчевской «Ша-Ша з левага чаравіка», которая увидела свет в Издательском доме «Звязда». Идею взобраться на буфет подсказал мне главный герой одноименной сказки. Она показалась мне настолько заманчивой, что после этого, находясь дома, я то и дело невольно поглядывал на буфет. Пытался мысленно представить, выдержит он меня или нет. У героини, рассказчицы этого произведения, Светы, когда она по подсказке Ша-Ши взбиралась на буфет, все произошло более-менее спокойно: «На буфет я залезла з другой спробы. Ледзь не разбіла шкляныя дзверцы ў верхняй шафе. Скінула кубак, але Ша-Ша злавіў яго ля самай падлогі.

— Трэба было посуд прыбраць, перш чым лезці, — прабурчэў Ша-Ша. — Цяпер боўтай нагамі».

Конечно же, вам не терпится побыстрее узнать, а кто же такой Ша-Ша, который подбивает на столь странные поступки? Для начала отвечу коротко: это литературный персонаж, которого не сыскать ни в одной детской книге, ни в одной сказке. Он единственный в своем роде, ибо рожден фантазией молодой писательницы, которая до этого уверенно выступала в жанре театральной критики и театроведения.



И вот из-под ее пера вышла книга сказок для детей. Богатое воображение и умение смотреть на окружающий мир глазами тех, для кого пишешь, глазами детей, — это-то и нужно, чтобы создать произведение для юных читателей. Этими качествами Е. Мальчевская обладает, поэтому произведение «Ша-Ша з левага чаравіка» и воспринимается настолько естественно, будто оно вовсе и не сказочная история, а рассказывает о том, что происходило в реальности. А началось все с того, что героиня-рассказчица Света заметила, что в ее «левым чаравіку нехта капашыўся». Подумала, что это крыса, а оказалось...

Умение заинтриговать — также замечательное качество для детского писателя, так как заставляет юного читателя или слушателя тут же сосредоточиться. Да и не просто сосредоточиться, а исполниться желанием поскорее узнать, что же произойдет далее. А Света между тем «патрэсла за шнурок. Потым патрэсла мацней — і з чаравіка выкацілася нешта махнатае». А дальше... «Пухнаты шар спыніўся на сярэдзіне вітальні, стаў на дзве кароценькія ножкі, высунуў дзве пухленькія ручкі і расплюшчыў вочы. [...] Ён быў падобны да джунгарскага хамяка. І да клубка нітак. І да мале-е-енькай падушкі. Пра такіх звяроў я нідзе не чытала і ніколі такіх не бачыла. Значыцца, гэта быў не звер...». Легко догадаться, что это и был Ша-Ша. Именно Ша-Ша, а не Саша, как поначалу послышалось Свете, когда он представился.

Возникает вопрос, а как же Ша-Ша очутился в ее квартире? Да все просто. Применительно, конечно, к сказке, в которой все возможно, даже самое фантастическое. «Ша-Ша — пухнаты і круглы. Маленькі. Ён вылазіць з левага чаравіка ў розных дамах, каб навучыць таго, хто носіць гэтыя чаравікі, тром рэчам. А калі навучыць — залазіць у правы чаравік, знікае і з’яўляецца ў новай вітальні». Оказывается, в ботинок героини-рассказчицы «ён залез, вылезшы з чаравіка аднаго паважанага прафесара, якога навучыў піць гарбату з жэлацінавымі цукеркамі, складаць папяровыя самалёцікі і здуваць за адзін раз белую шапачку з адуванчыка».

Занятие, безусловно, совсем не взрослое. Но что-то не было слышно, чтобы этот профессор протестовал против такой «учебы». Понять его нетрудно: кто против того, чтобы хотя бы на какое-то время вернуться в детство, почувствовать себя любознательным ребенком. Такой возможностью, конечно, не могла не воспользоваться и Света: «Гэта вельмі карысны занятак — боўтаць нагамі. Ад яго ў любое надвор’е паляпшаецца настрой і хочацца ўсміхацца. Калі боўтаеш нагамі, адчуваеш сябе маленькай і лёгкай. Здаецца, вось-вось — і ўзляціш. Цяпер я ўмею. Толькі вось крышку стамляюся — не прывыкла».

В книге налицо некоторые элементы дидактизма, в хорошем смысле этого слова, без чего в детской литературе не обойтись, если автор соединяет в себе писателя и педагога. Притом педагога чуткого, внимательного, понимающего, что юному читателю нужно не только дать какую-то информацию, но и постараться пробудить в его душе те начала, которые помогут формированию характера, поспособствуют его чуткому отношению к окружающему миру.

Ша-Ша, как оказывается, знает о героине все: «Табе 26 гадоў. Ты працуеш біёлагам-селекцыянерам. Выводзіш новыя віды водарасцяў для таго, каб лячыць людзей. У дзяцінстве ты любіла чытаць кніжкі пра разведчыкаў і есці пірожныя «Карзіначка». Ты хочаш завесці сабаку. Спаніэля. І пасля таго, як атрымаеш заробак, пойдзеш набываць сандалі з тоненькімі раменьчыкамі». Ша-Ша создан для того, чтобы приносить радость, радость через действия, через «тры рэчы», которые в каждом конкретном случае считает важными. Поэтому он и научил Свету не только болтать ногами, но и из обычных вязаных перчаток делать полосатых зайцев. Так появились у героини-рассказчицы два эти милые существа — Разынка и Шпинат. А еще Света вместе с ШаШей с удовольствием кричали в лестничный пролет. Конечно, когда еще никто не ложился спать. Да и здоровались с теми, кто входил в подъезд. Желали всего хорошего тем, кто отправлялся на улицу. Делали это также по-своему: «Мы слухалі, як грукалі дзверы, і спявалі “До-о-обры дзе-е-е-нь!» ці «Да-а-а пабачэ-э-эння!”».

Обо всем этом рассказывается весело, интересно, что даже едва сдерживаешься, чтобы не последовать примеру Ша-Ши и Светы. Ведь вернуться в детство хотя бы на мгновение — так заманчиво. Особенно когда рядом с тобой находится такой герой, сама непосредственность, — Ша-Ша. Не менее интересна и сказка, открывающая книгу, «Вера і шытыя сланы». Здесь также прежде всего — ориги-

нальные литературные персонажи, что уже само по себе вызывает интерес. Сами же приключения слонов, которые поселились в квартире окулиста Веры, не менее интересны, чем все то, что происходило со Светой. К примеру, один из слонов поселился внутри героини сказки...

Выход книги «Ша-Ша з левага чаравіка» отраден не только потому, что она засвидетельствовала появление нового имени в белорусской детской литературе. Это не просто очередной авторский дебют, а дебют уверенный, перспективный и многообещающий. Не в последнюю очередь книга удалась и потому, что то, о чем рассказывает писательница, в какой-то степени взято из ее собственного детства. Это, конечно, не значит, что с ней происходило нечто подобное. Но вот что читаем о Е. Мальчевской на четвертой странице обложки: «Калі запытаць у яе (автора книги. — **Б. А.**), пра каго яна ўзгадвала, прыдумляючы гэтыя казачныя гісторыі, адкажа: «Пра сябе ў 11 год»». Иными словами, вспоминая свое детство, Е. Мальчевская пыталась понять, чего не хватало ей, тогдашней девочке. Может быть, не хватало Ша-Ши, четырех слонов — этих веселых и забавных друзей, с которыми мир детства становится удивительнее и ярче?

Почему-то не сомневаюсь, что дети, которые прочитают книгу «Ша-Ша з левага чаравіка», захотят ее продолжения. Впрочем, не исключено, что такое желание появится и у многих взрослых. Во всяком случае, я как раз к таковым и принадлежу. Но последнее слово, безусловно, за самой Еленой Мальчевской.

Борис АНДРЕЙЧЕНКО



Из почты журнала

Бездонный колодец Дедина

Всем известна притягательная сила родников (криничек). Из земных глубин вырывается на поверхность живительная влага. Ни один путник не может пройти мимо, чтобы не остановиться, не припасть к хрустальной студеной воде. Она вкусна, кристально чиста, а нередко и целебна... К роднику всегда есть тропинка, так как он нужен и людям, и зверям, и птицам. Эта притягательная сила родников имеет древние корни. Родники не замерзают, их вода всегда чище воды рек, озер, поэтому люди издавна селились у таких источников.

Деревню Новый Дедин и ее окрестности природа-мать щедро одарила родниками (криничками), из них самый известный находится в Узровье.

Узровье — это правый берег поймы реки Остёр. У его подножья в речной долине на глубине около двух метров от поверхности земли и вырывается ключ из-под камня, расположенного в центре колодца. Далее вверх идет резко расширяющаяся воронка, почва которой темная, и через слой воды ключ плохо просматривается. Вода в колодце очень вкусная. Она может храниться дома больше года без осадка на стенках и дне сосуда. Она считалась и считается лечебной. За ней приходили и приезжали люди издалека. Ею промывали глаза больные зрением. Купание в этой воде (слабо подогретой) удаляет сыпь на теле ребенка, избавляет от золотухи. Из этой кринички люди всегда брали воду на сенокос.

Местное название родника — Бездонный колодец. Площадь его зеркала была более 100 кв. метров.

Местные «исследователи» пробовали через устье промерить жердью глубину родника, но длины этого инструмента не хватило. Старожилы рассказывают, что люди, набирая воду, иногда упускали в колодец чайники, горлачи, котелки, но достать их потом не удавалось — все уходило в бездну. Может быть, по этим причинам родник получил название Бездонный колодец.

В гидрогеологии такой родник характеризуется как постоянно действующий стабильный поток артезианских вод, поднимающихся на поверхность по трещинам в твердых породах и питающихся из глубины 100—500 метров от хорошо защищенных водоносных пластов.

Раньше у Нового Дедина почти ежегодно разливалась р. Остёр, и паводковые воды промывали Бездонный колодец. Но сейчас паводки в этих местах стали редким явлением — последние были в 2004 году.

В 1988—90 годах пинские мелиораторы прокопали канаву и спустили из колодца воду, да так и оставили, не сделав никакого благоустройства. Глубина колодца уменьшилась, а площадь водного зеркала сократилась в пять раз.

Древность Дедина

Название Дедин (Дедичи, Дедицы) появилось после прихода сюда (на место нынешнего Старого Дедина) с Кавказа «дедов» — племен рыжеволосых воинов — одов (едов, удов) около X в. до н. э. В названии племени «дед» буква «д» впереди появилась

потому, что оды, еды прошли Дагестан (какое-то время там жили) и по древним обычаям обязаны были подставить дух места «д» в свое название. Деды заняли на реке выгодное положение, чтобы контролировать этот водный путь — основной путь передвижения в те времена. Воины тогда не пахали, не сеяли, а пропитание добывали военным ремеслом.

Стоит заметить, что во времена прихода дедов р. Остёр называлась по-другому. Остром она стала называться примерно с I в. н. э., когда на ней осели остры, пришедшие из Средней Азии.

Дедин разделился на Новый и Старый в 40-х годах XIX века, когда подполковника царской армии Саковича власть наделила землей в окрестностях нынешнего Нового Дедина. Здесь новый помещик построил господский дом на Поженьке (в начале деревни), а потом сюда переселились и крепостные крестьяне, чтобы ближе было ходить работать на помещичьей земле.

Этнические корни топонима Узровье, где расположен Бездонный колодец, говорят о том, что около X в. до н. э. сюда пришли арийские племена (индоевропейские) — земледельцы «узы», а «ровы» (равы) пришли еще раньше. Могилевский археолог Копытин В. Ф. исследовал эту местность и обнаружил рядом с Бездонным колодцем стоянку каменного века (II тысячелетие до н. э.). Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать: наша история началась не в 988 году, и тем более не в 1917 году, а намного раньше.

Древние верования наших предков

Из множества родников Нового Дедина и округи богослужение проходило только у Бездонного колодца один раз в году. Видимо, и в дохристианское время наши предки молились у этого колодца, и в такое же время года. Наши далекие предки не могли «освящать» воду. Для них Небо, Земля, Вода были божествами. Воде молились как живительной влаге, которой Небо оплодотворяет Землю. От этого зависел урожай. Просили ее смыть тяготы и невзгоды. Люди сами освящались водой на Купалу. Омовением снимали с себя злые немощи и болезни.



Христианство, которое пришло в наш отдаленный уголок не ранее XVI века, борясь с язычеством, с двоеверием, приспосабливалось к древним праздникам и вытаптывало язычество.

«...Не будучи в силах достичь действительного превращения днепровцев в христиан, видя тщетность убеждений, что языческие боги не существуют в действительности, а существует христианский Бог, греческие священники пошли на такие же уступки прежней вере, какие в свое время вынуждена была сделать и греческая церковь. Они признали реальность существования всех бесчисленных славянских богов, приравняв их к бесам, и признали святость традиционных мест и сроков старого культа, выстраивая храмы на месте прежних кумиров и капищ и назначая христианские праздники приблизительно на те же дни, к которым приурочивались ранее языческие...».

Все языческие (народные) праздники были связаны с реальной жизнью,

с окружающей природой. В них нет ничего надуманного, привнесенного чужой историей. Для наших предков мир был единым, цельным, взаимосвязанным. В их религиозных представлениях не было никакого ада, никаких загробных истязаний души, никакого насилия. Они верили в тайное общение души с природой.

Так как христианство к нам пришло из Среднего Поднепровья, то, скорее всего, этот молебен и праздник были посвящены окончанию жатвы, а урожай зерна — это мера человеческого благополучия. Покровительницей человеческого богатства восточных славян была богиня Макошь.

Чтобы выяснить, какие племена принесли нам это божество, расшифруем его по этническим корням. Изначально его называли Макос, Мокос (в источниках mokos, mocos) — божество арийских племен осов, которые входили в большой союз «мак». С приходом гуннов (V в.), когда появились племена, которые шепелявили, шушукали, гундосили, гнусавили, к нему постепенно пришло название Макошь, Мокошь.

В разное время, и наверное, в разной местности Макошь занимала разные по важности культовые уровни. Так, вначале она повелевала всем Белым Светом (Вселенной). В последующем стала покровительницей плодородия, воды, человеческого благосостояния, богатства, покровительницей женской работы, девичьей судьбы. Позднее к ней прибавились заклинания, гадания и связь с миром мертвых. Богиня Макошь покровительствовала душам умерших, обитающим в воде, в святых целебных источниках... Последнее верование сохранилось у нас и до недавнего времени.



Примерно с XII века стараниями священников культ богини Макошь был вытеснен греческой святой Параскевой (Параскева-Пятница).

Но мы и сейчас в немалой степени язычники, а не религиозные интернационалисты (...нет ни иудея, ни эллина...). Интернационализм (религиозный, пролетарский) — это стирание исторической памяти народа, это убийство нации. Без исторической памяти любой народ теряет свое лицо, деградирует и растворяется среди других народов.

К счастью, мы не торопимся подставлять щеку, отдавать кому-то последнюю рубашку, не воспаляемся любовью к своим врагам.

Мы всегда душой привязаны к своим родным местам, мы — воплощенная природа этих мест.

Может быть, поэтому у наших предков христианство не смогло вытравить Радоницу — поминовение умерших предков на кладбище, этот древнейший языческий ритуал. Память о предках является связующей нитью между прошлым и настоящим, а через настоящее — с будущим.

Родник на Вильнице

Второй необычный родник расположен у дороги между Старым и Новым Дедином. Его вода стекает вниз с горы, называемой Вильницей (правый берег поймы реки Остёр), к дороге. Рядом в лесу Галное болото — этот обширный накопитель воды, из которого вытекают три ручья.

В гидрологии такой родник считается нисходящим и питается грунтовыми водами из рыхлых отложений более мелкого залегания, чем артезианские водоносные пласты.

В 1988—1989 гг. пинские мелиораторы благоустроили родник, и пользоваться им стало удобно.

Вода этой криницы на вкус более жесткая, чем из Бездонного колодца, но считалась и считается лечебной — «от всех болезней».

Для исцеления больной набирает криничную воду в сосуд в любое время суток (но при сглазе — «суроцах» — только в полночь!) и несет ее к знахарю. Тот произносит над ней словесный наговор (шептание), а затем больной эту воду пьет или ею растирается.

Знахарство устно передавалось и передается по близкородственной линии. Приведенные ниже наговоры сообщили местные знахари в 2008 году.

От зубной боли:

Месяц на небе,
Медведь на поле,
Рыба на море.
Як им вместе не сходиться,
За один стол не садиться,
Из одной миски стравы не есть,
Из одной чашки вино не пить,
Так и каб р. б. (имя) зубам не болеть.
Аминь!(3 раза)

Для остановки кровотечения:

Господу Богу помолюсь,
Пречистой Матери поклонюсь.
Шла Пречистая Матерь Божья
По калиновому мосту,
в красных черевичках,
С красной тросточкой,
Со святым Апостолом.
Тросточка зламилася,
И кровь остановилася.
Господи, помоги!
Аминь!(3 раза)

От сглаза (от суроцы):

Соль-сольница,
Красная девица,
Моя ты помощница.
Ты крутые бережки обмываешь
И желтые пески обмываешь.
Обмый чужие языки,
Чтобы по мне не ходили,
Костей не ломили,
Суставы не крушили,
Сердце не томили.
Прилюби мой дух!
Аминь!(3 раза)

Макавье в Дедине

А теперь вспомним, как отмечали Макавье в Новом Дедине в недалеком прошлом. К Макавью старались сжать просо, чтобы сварить просяную кашу. А если оно не созрело, то выбирали отдельные спелые колоски. Затем просяные снопы оббивали пранником, веяли на ветру — отделяли мякину. Очищенные зерна сушили, толкли толкачом в ступе, затем пылали в ночевках (отвеивали от шелухи). Из полученной крупы уже варили в русской печи просяную кашу.

В этот день в наш Дедин приходили гости из других деревень, и на столе для угощения должны были быть: «яешня со шкварками, просяная каша з малаком» и блины — этот древнейший языческий символ Солнца и поминальная еда. Но при послевоенной разрухе не у всех людей стол был украшен таким угощением.

К Макавью готовили и Бездонный колодец. Активность в этом проявляли старики: Скоцкий К. Е., Скоцкий С. П., Молдаванов П. Т. Они очищали поверхность воды от плавающих листьев, прокашивали дорожку к колодцу, обрубали ветки, мешавшие проходу. Вокруг колодца были положены отесанные плашки, на которых стояли люди (земля вокруг колодца влажная и топкая). В устье родника опускали крест. Я помню, как это делал Скоцкий Константин Евдокимович. Крест был изготовлен из сухой осины и имел размеры — 30 × 60 см. К вертикальной стойке веревочкой был привязан камень, не дававший кресту всплывать. В воде крест принимал вертикальное положение и на черном фоне дна как бы светился. Плоскость креста располагалась в направлении — «север — юг».

Утром 14 августа кто-то из мужиков запрягал коня. На подводу усаживались девушки и ехали в Кулешовку через Поженьку, Рудчи, Аврамов угол... В Кулешовской церкви после утреннего богослужения брали иконы и девушки на руках несли их в Новый Дедин. Большие иконы несли вдвоем. Этот девятикилометровый путь

нелегко пройти с иконой по проселочной дороге, поэтому несущих иконы меняли. После войны в этом крестном ходу регулярно участвовали Пантюхова П. В., Захарченкова Н. Г., Соболева М. М., Павлюченко М. П. В пути крестный ход останавливался раза два, священник читал тропарь, и певчие хором пели. Кулешовцы помнят своих певчих: Ганжажару Марию Моисеевну, Мельнову Ульяну (Вульку), Савченко Александру Гавриловну, Ровкову Елену Малаховну.... Ганжажара М. М. обладала очень сильным, высоким голосом, и он всегда выделялся в хоре. Привлекали в церковный хор и подростков: хорошо пела Плотникова Тамара... После войны дьяком в Кулешовской церкви был Шашенько Егор Филиппович, по прозвищу Гурок, старостой был Морозов Василий Иванович.

В Новом Дедине крестный ход уже ждали жители многих деревень. Приходили и приезжали, в том числе и из Шумячского района Смоленской области. Приходили пешком даже из деревни Переволошня — это 30 км от Дедина. Бабушки шли босиком — ботинки несли на палочке за плечами. Обувались у нас на Узровье, некоторые вели за руку детей.

Следует сказать, что в 30-х годах прошлого века церковь в Кулешовке была закрыта и богослужение у Бездонного колодца не проводилось.

А до этого здесь были на Макавье еще и большие базары. Выезжал сюда и магазин. Продавали такие нужные крестьянам товары: хомуты, седелки, косы, серпы... Некоторые хозяйки продавали овощи, ранние яблоки.

В годы немецкой оккупации Кулешовская церковь возобновила свою работу, и возобновилось богослужение на Макавье у Бездонного колодца. Тогда же в Новом Дедине в хате Скоцкого Сидора Парфеновича священник из Кулешовки крестил детей. Я помню, как меня на руках держала моя крестная Вертинская Софья Платоновна, а крестным был мой дядя Маханьков Яков Евдокимович.

Когда крестный ход подходил к Бездонному колодцу, священник становился лицом к кресту, что светился в воде, и соответственно, лицом на восток. На противоположной стороне колодца стояли люди с иконами. Началось богослужение.

По окончании службы священник иногда крестил детей в Дедине, иногда шел по деревне и служил молебен по просьбе хозяев около новых хат, построенных вместо сожженных немцами. Потом его отвозили в Кулешовку, но иконы оставались в деревне и хранились в красном углу (куту) одного из домов до второго Спаса (19 августа). Утром 19 августа иконы относили в Кулешовку. Те, кто носили эти святыни, иногда «обрекали» себя, давали обеты: выйти замуж, просили об исцелении больных и т. д.

После Великой Отечественной войны на Макавье к Бездонному колодцу приходили женщины, бросали в колодец кусочки хлеба и загадывали на близкого человека, не вернувшегося с войны. Если хлеб тонул — значит, человека нет на белом свете, если плавал — значит, жив и вернется домой. В это гадание вдовы вкладывали последнюю надежду узнать о без вести пропавших дорогих людях. Наверное, это древнейший ритуал с жертвоприношением и гаданием наших предков, дошедший до нашего времени.

В Бездонный колодец люди бросали деньги (одну копейку), и все уходили домой с наполненными водой сосудами. По воспоминаниям старожилов, оружие у колодца не освящалось.

После богослужения молодежь шла на игрище в просторный новодединский клуб, построенный еще до войны. Деревня была знаменита своим клубом, Бездонным колодцем, рябыми горшками, урожайными капустниками. В клубе скакали (танцевали) под гармонь и бубен. Вечер открывался танцем — «Страданием». Далее с перерывами шли: «Семеновна», кадриль, «Нареченька», падеспань, вальс, полька, краковяк, «Коробочка»... Многие танцы сопровождались припевками (частушками) с притопыванием. Некоторые танцы повторялись. Разгоряченная быстрыми танцами молодежь высыпала на улицу, чтобы охладиться, отдохнуть. А потом, под новые аккор-

ды, ноги сами несли их в круг на следующий танец. И так до вечера. Вечером танцы продолжались. Молодежи собиралось очень много. Игрище заканчивалось также танцем «Страдание».

Эти молодежные игрища — отзвуки тех далеких языческих ритуальных танцев, посвященных древнейшему божеству — Воде (более раннему, чем божество Макошь). Неритуальных танцев тогда не было.

Такие же игрища в нашем Дедине проводились в недавнем прошлом — весной, по воскресеньям, во второй половине дня на берегу реки Остёр. Они начинались с появлением на лугу цветов и продолжались до Троицы. И так было во всех деревнях, протянувшихся по берегам Остра и его притокам. Последний раз такое игрище в нашем Дедине было на Троицу в июне 1956 года.

Христианство не смогло задушить (убить душу народа) язычество и приспособилось к нему.

Последний раз богослужение у Бездонного колодца было 14 августа 1954 года. В начале 1955 года из района в Кулешовку приехали люди, вынесли из церкви иконы и увезли в Климовичи — выполнялось решение партийных органов.

Руководил этим редактор районной газеты Котов Николай Никифорович. Сейчас эти иконы находятся в Климовичской Свято-Михайловской церкви.

Какое-то время в опустевшей церкви колхоз хранил намолоченное зерно, удобрения.

Хотя богослужение у Бездонного колодца не проводили уже более пяти десятилетий, но ежегодно 14 августа люди приходят и приезжают к этому колодцу, наполняют сосуды водой.

Пятьдесят лет спустя

В 2010 году по решению Климовичского райисполкома Бездонный колодец был благоустроен: расчищена от деревьев и засыпана щебнем площадка вокруг колодца, на склоне надпойменной террасы сооружен спуск к колодцу в виде площадок-ступенек, заканчивающихся лесенкой к воде, на стоке устроена купель...

И вот 14 августа 2010 года возобновилось празднование Макавья у Бездонного колодца в Новом Дедине. На праздник приехали désдинцы из России, Украины, многих областей Беларуси.

Праздник начался крестным ходом от деревни к колодцу. Богослужение провел священник Свято-Михайловского храма о. Сергий при большом стечении народа. После богослужения люди наполняли сосуды освященной водой, было много желающих окунуться в купели, совершить омовение...

И с этого дня началось ежедневное паломничество к Бездонному колодцу. Отныне désдинцы будут приезжать в Дедин не только на Радоницу, но и на Макавье, так как тоска по малой Родине не отпускает их всю жизнь.

Осознание того, что здесь, на Узровье, у Бездонного колодца молились наши предки еще три тысячи лет назад, приводит ум в восторг. Здесь чуткая романтическая душа слышит голос предков, живущий в крови человека, и здесь она восстанавливает связь с духом Истории и черпает из Вечности историческую энергию.

Жизнь предков продолжается в почитании их традиций ныне живущими.

Виталий МАХАНЬКО



АТРУШКЕВИЧ Александр Михайлович. Родился в 1948 г. в Гомеле. Окончил химико-биологический факультет Гомельского государственного университета. Автор книг «Дорожками старого парка», «Четыре времени трудов», «Роза Азора», «Зори ветра». Живет в Гомеле.

ПИСАРИК Алесь (Писарчик Александр Владимирович). Родился в 1954 г. в д. Дукора Пуховичского района Минской области. Учился в Минском кооперативном техникуме и на филологическом факультете Белорусского государственного университета. Автор двадцати книг поэзии. Живет в Минске.

КАЛУЖЕНИНА Лариса Анатольевна. Родилась в Тбилиси (Грузия). Окончила Минский государственный лингвистический университет. Публиковалась в журналах «Волга», «Латинская Америка», зарубежной периодике, в том числе в Японии, США, Германии. Живет в Минске.

КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО (Гусаченко) Тамара Ивановна. Родилась в 1948 г. в д. Щепятино Брянской области (Россия). Окончила Московский автотранспортный техникум, филологический факультет Брянского государственного педагогического института и психологический факультет Минского государственного педагогического института. Автор многих книг. Лауреат Международной литературной премии имени Симеона Полоцкого и Всероссийской литературной Премии имени Ф. И. Тютчева. Награждена медалью Франциска Скорины. Живет в Витебске.

КАРПОВИЧ Екатерина Юрьевна. Родилась в г. Шяуляй (Литва). Окончила Белорусский государственный университет по специальности «психология». Печаталась в журнале «Нёман». Живет в Минске.

АНАНЬЕВ Олег Валентинович. Родился в 1955 г. в п.г.т. Мордово Тамбовской области (Россия). Окончил филологический факультет Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Поэт, искусствовед. Автор нескольких поэтических сборников. Живет в Гомеле.

ОСИНОВСКИЙ Александр Александрович. Родился в 1934 г. в Брянской области (Россия). Окончил Киевский политехнический институт. Печатался в республиканских газетах, журналах «Нёман», «Наш современник». Автор книги «Гипертайна Любомира Богова». Живет в Минске.

ШАШКОВ Николай Степанович. Родился в 1941 г. в д. Каменка Дзержинского района Минской области. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище. Автор поэтических сборников «Всесильная земля» и «Свет-глаза». Живет в Минске.

НЕМИРОВСКИ Ирен. Родилась в 1903 г. в Киеве. Училась в Сорбоннском университете. Французская писательница. Автор около 20 романов, самый известный из которых — «Французская сюита». Лауреат литературной Премии Ренодо. Умерла в 1942 году в Аушвице.

МЮНХГАУЗЕН Бёррис фон. Родился в 1874 г. неподалеку от Дрездена (Германия). Выдающийся немецкий поэт и фольклорист, доктор права, президент Германской академии поэзии. Посещал монастырскую школу иезуитов, затем учился в университетах Гейдельберга, Мюнхена, Геттингена и Берлина. Автор сборников поэзии «Книга рыцарских песен», «Сердце под кольчугой», «Книга баллад» и др. Умер в 1945 году в Германии.